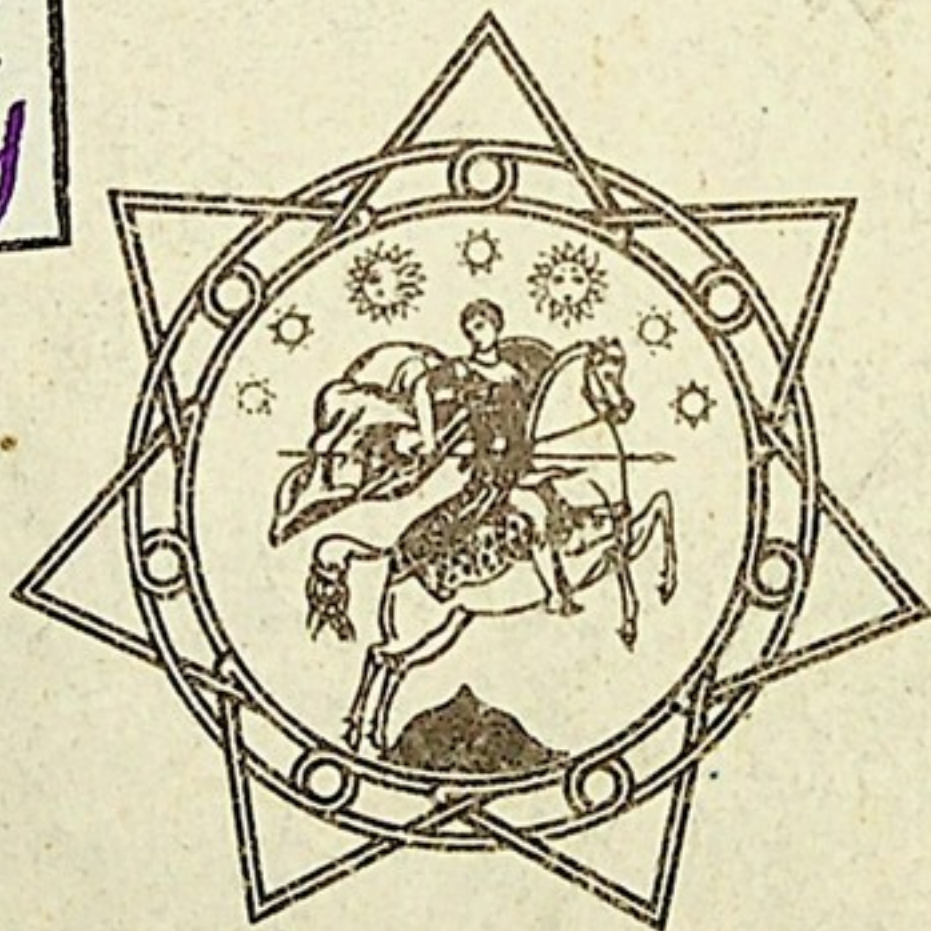




ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1991

10.3357
1991/4



11-12



საქართველოს
წიგნების კავშირი



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1991

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ТАМАР ДЖАВАХИШВИЛИ. Стихи. Перевод Владимира Еременко	3
ОТАР ДЕМЕТРАШВИЛИ. Форточка. Рассказ. Перевод Гиви Нижарадзе	7
ВАЖА ОТАРАШВИЛИ. Стихи. Перевод Вла- димира Саришвили	11
ДЖЕМАЛ КИРИА. Игра во взрослых. Роман. Окончание. Перевод Нелли Солод	13
ОТАР ТУРМАНАУЛИ. Стихи. Перевод Ма- рины Катус	78
ВИКТОР ЛИНЕЦ. Другая смерть	82

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

МАНАНА КВАЧАНТИРАДЗЕ. Обзор грузин- ской прозы (1990 год)	133
--	-----

11-12

Издательство «Самшобло», Тбилиси
Журнал выходит с июня 1957 года

МИХАИЛ БУЯНОВ. Поездка на родину ав-
тора «Трех мушкетеров»

152

ДИСКУССИЯ

Союз писателей: быть или не быть?! 171

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

РЭМ ДАВИДОВ. О друзьях-товарищах (Из кни-
ги воспоминаний) 186

ИЗ ИСТОРИИ ГРУЗИНСКОЙ ЦЕРКВИ

ГРИГОЛ ПАЧКОРИА. «Истина восторжест-
вует!» 199

РЕЦЕНЗИИ

ВИЛЬЯМ ХАЦКЕВИЧ. Любовь поры безмол-
вия 207

ГОЧА ДЖАПАРИДЗЕ. «Один год и тысяча
лет» 215

ХРОНИКА 6, 12, 77, 81, 151, 184, 185

НЕКРОЛОГ 185

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГРУЗИЯ» за 1991 г. 222



СНЕГ В ПОЛНОЧЬ

Сеет и сеет...
 И поет тишина,
 Силясь воспеть
 Снежинок полет.
 Тише, душа,
 Забота, смутись —
 Нет прекраснее
 Творимого в этот миг.
 Забудь обо всем.
 О веке своем забудь,
 Кто ты и откуда пришел.
 Забудь о тех,
 Кого бросил ты,
 И о тех,
 Кто бросил тебя.
 И тех, кто скребется в дверь
 Твоей памяти, позабудь.
 И если клявшийся в верности
 Изменит тебе,
 И ночь блаженства
 Пожелает другой,
 Думай об этом снеге, укрась
 Обиды адский огонь...
 Это белое дыханье Творца.
 Белый ветер сеет и сеет,
 Закутав ноги в метель.
 И, как всегда,
 Снежинка спешит к земле...

* * *

Любовь просторна,
 Словно вешняя ночь,
 Любовь мгновенна,
 Словно вешняя ночь.
 Не охватишь и не пленишь

143.023

Вешнюю ночь.
На запястье не наденешь
Вешнюю ночь.
Не присвоишь и не продашь
Вешнюю ночь...
И лишь с любовью сравнишь
Вешнюю ночь —
Сразу поймешь:
Дыханье любви
Сердце хранит...



* * *

Ты, вероятно, ошибка Бога —
Любовь,
Если же нет,
Ошибка — все остальное:
Зависть,
Измена,
Беспамятство,
Пустота...
О, любовь —
Апрельская ночь!
Цветущий миндаль
Под взглядами звезд...

* * *

Ветер мчит
И обнажает печаль.
Мчит бесцелен и крут.
Мчит,
Срывая одежды с дорог и душ —
Велика его власть.
Стынет нагая истина на ветру:
Покой покидает дом.

Бог знает,
Что связует двоих...
Любовь же
Всегда ни с кем.

* * *

Тот не умел играть
И не играл никогда.
Но все думали — лицедей.
А тот, кто не мог не лгать
И играл всю жизнь,
Всем казалось — не лгал.
Я знала обоих,
Не веря ни одному.
Но всегда ошибалась
В ком-то третьем,
Четвертом, пятом...

* * *

Я согласна с тобой,
С тобой и с другими,
Что стих
Это слиток
Формы и рифмы.
Но что поделать,
Когда младенцы-верлибры
Родятся от нашей будничной боли —
Эти беспомощные уродцы —
Вне сроков?
Что поделать —
Душа не держит.
Можно ли,
Подобно древним спартанцам,
Сбросить их со скалы,
Незрячих и слабых?
Может, по праву творца?!
Но по праву сердца...

* * *

Это нелепо — ненавидеть друг друга
И скалиться, подобно
Кафкианским шакалам.
Во времени
У каждого свое время
И свое пространство в пространстве.
Нигде сердцу не будет тесно

Главное —
Не выходить из себя.

Из книги «Пока помним»



36.1363-0
018-1110133

* * *

О, с каких пор
И ежесекундно
Голос переполняет сердце.
Но я молчу и слова
Храню в глубине,
Как угли в золе.
Может, однажды
Я раздую огонь
И отдам кому-то
Тепло и свет.

Перевод Владимира ЕРЕМЕНКО

ХРОНИКА

ТБИЛИСИ, ГОД 1991, СЕНТЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

Читателям известно, что большинство наших журналов в 1991 году выходили с опозданием. Не составила исключения и «Литературная Грузия». И пока готовился 11—12 номер, пока удалось его сверстать и подписать в печать, миновали не только ноябрь и декабрь, но и январь 1992-го. А тем временем в жизни Грузии произошли кардинальные изменения. Номер был уже сверстан, когда стало возможным дать хронику происшедших событий, потому пришлось разместить ее частями.

19 августа: по требованию главарей августовского путча в Москве президент Гамсахурдиа послушно распустил Национальную гвардию. Большая ее часть во главе с главнокомандующим Тенгизом Китовани, храня верность присяге, отложилась от президента.

2 сентября: разгон грузинским ОМОНОм мирного митинга перед Домом кино. Пролилась кровь. С этого дня оппозиционные партии начинают проводить ежедневные митинги, на которые собираются десятки тысяч тбилисцев. Противостояние оппозицион-

(Продолжение на стр. 12).

ФОРТОЧКА

РАССКАЗ

Мы сидели перед форточкой, которая годами была для нас закрыта, и ждали.

В приемной с высоким потолком царило молчание. Сердце ныло от страха, ожидания и гнетущей тишины.

Напротив нас на гладкой стене выделялась чуть продолговатая крохотная форточка, выкрашенная масляной краской в зеленоватый цвет.

Я и мама чуть-чуть опоздали. Нас задержали внизу.

Я был несовершеннолетним. Из-за того, что в комендатуре выясняли, записан ли я у мамы в паспорте, выдача пропусков несколько затянулась.

Поднялись на лифте. Надо было идти налево, потом направо, а там уже, насколько я помню, не сворачивая, прямо.

И вот мы здесь. Какой-то долговязый встал, уступил нам с мамой место, остальные потеснились и он тоже сел. Мы замерли, ожидая своей участи.

А форточка по-прежнему была закрыта.

Сначала я не заметил, но позже, когда мои глаза вольно или невольно постоянно натыкались на эту самую небольшую продолговатую форточку, я обратил внимание, что она перекошена вправо.

В приемной нас было несколько человек.

Молодая женщина с изрытым оспой и бледным как полотно лицом часто перекладывала ногу на ногу, глядела на форточку и вздыхала.

Рядом с ней сидел мужчина. Рядом с женщиной — опять женщина... Долговязый, уступивший нам место, сидел неподвижно, уставившись в пол.

Я уже знал, что в приемной скрипел один-единственный венский стул, на котором сидела женщина.

Представительная, сухопарая, с седыми выющимися волосами, в черном платье с длинными рукавами, хорошо сшитом, но довольно поношенном. Она сидела с высоко поднятой головой. Из темных глазниц ее печальные глаза глядели, по-моему, в никуда...

Форточка ожила как-то неожиданно. Сперва звякнул засов. Дверца качнулась. Потом, неожиданно дернувшись, распахнулась и со стуком ударилась о стенку.

Мы притихли. Секунды казались вечностью. Чувство страха, ожидание неизвестности стали невыносимыми — внезапно из раскрытой форточки раздался крикливый неприятный женский голос:

— Дидидзе!

Никто не шелохнулся. Я взглянул на мать. Она дрожала. Губы были сжаты, съежившись, она смотрела куда-то поверх очков.

Передо мной в стене было свежесрубленное отверстие. Из этого небольшого, чуть продолговатого и мрачного отверстия вторично послышался тот же самый резкий голос:

— Дидидзе!

Стул скрипнул. Высокая женщина, опустив голову, направилась в мою сторону. Когда она поравнялась со мной, я еще отчетливей увидел, что ее черное, с длинными рукавами платье изрядно поношено.

Женщина прошла мимо нас короткими, размеренными, усталыми шагами и остановилась перед форточкой. Оцепенев, она некоторое время стояла в нерешительности. Потом нагнулась, опершись левой рукой о гладкую стену, и подалась вперед, приложив лоб к верхнему наличнику форточки.

Они задерживали ненадолго.

Да. Так и было. Вызывали, тихим голосом сообщали известия и бесшумно выпроваживали.

Когда в приемной с высоким потолком прозвучала наша фамилия, мама подскочила, но тут же рухнула на стул.

Стояло лето... С утра была жара.

Мать тряслась как в лихорадке.

— Не могу встать, — мама стиснула мне руку, с трудом выговорила, — встань... Подойди к форточке...



В приемной, кроме нас, оставалось еще трое. Двое глядели на нас.

Подперев голову руками и опираясь уже на другое колено, долговязый сидел так же неподвижно и удрученно глядел на блестящий пол.

— Встань! — как мольбу услышал шепот матери возле своего уха. — Подойди... Ты ведь уже мужчина...

Я рано возмужал. А что еще оставалось делать? В семье я был «единственный мужчина». В то тревожное и смутное время, в отсутствие отца, все мужские вопросы должен был решать я.

Подойдя к форточке, я приподнялся на цыпочки и, вытянув шею, с вытаращенными глазами, заглянул. Слева от себя я увидел сейф, на противоположной стороне — стул с тремя ножками, четвертая, отломанная, валялась тут же.

Сидевшая у стола женщина средних лет в темном платье подняла голову и с удивлением взглянула на меня:

— Ты кто?

— Сын.

Женщина отвела от меня взгляд и больше ни разу не взглянула.

— Ты один?

— Мама здесь, ей плохо...

И все. Больше она ничего не спросила.

Секунды растянулись, словно вечность. Сейчас судьба нашей семьи зависела от слов этой женщины.

Да. Это было действительно так. Она могла сделать нас несчастными. Она же одним словом могла нас осчастливить — маму, бабушку, мою сестренку и меня она могла сделать самыми счастливыми людьми в мире.

Женщина колебалась. В ушах у меня звенело. Могильную тишину нарушил еле слышимый, но отчетливый голос:

— Твой отец скончался... В Хабаровском крае... от воспаления легких...

Потом она уткнулась своим длинным крючковатым носом в журнал и стала громко читать... Почти по слогам. Закончила чтение — и все кончилось.



Я должен собраться с духом, перебороть себя и вернуться назад. Но там мама!

В приемной с высоким потолком вновь раздался неприятный голос женщины:

— Чолокашвили!

Кто-то привстал и направился к форточке, с трудом волоча ноги по скрипучим половицам.

Встал за моей спиной. Я обернулся. Мама сидела как пригвожденная. Не останавливаясь, я подошел к ней, подбоченившись, вскинул голову и улыбнулся.

— Жив?

Не то, что услышал, догадался по ее губам.

— Да, жив.

— Не врешь?

Я опять улыбнулся.

Собрались уходить, но мама остановилась у форточки. Некоторое время она стояла задумавшись. Потом посмотрела в сторону долговязого, стоявшего у окошка. Вздохнула и с надеждой спросила:

— Ты ведь не врешь?!

Разве мама могла ошибиться! Она все поняла. Она прекрасно все поняла. Но боялась правды.

И все-таки хотела верить в неправду. К сожалению, это было так.

Я взглянул на форточку. И только сейчас осознал все, что услышал. Да.

В ушах у меня звенели подчеркнуто спокойные и почти по слогам выговоренные женщиной в темном слова:

— Отец твой реабилитирован... Ваша семья получит его двухмесячную зарплату...

Перевод Гиви НИЖАРАДЗЕ



Старость

Вновь пойдешь ты весною нарвать на опушке фиалок,
Но прохожие скажут: смотри, сумасшедший старик,
Воплощенье зимы, как согбен он и жалок,
Крови ток в его жилах одрябших поник...

Усмехнешься... Седая твоя борода
Расколовшейся льдиной покажется в зеркале...
Что бессонницы горше?
Рассвет не придет никогда...
То, что явью казалось, навеки, навеки померкло.
И в слезистое око, как в озеро хрупкий камыш,
Упадет одинокая и безнадежная старость...
Ветра слушаешь вой и молчишь...
Он былое раскрасит, а в будущем... что там осталось?

Подчас за червонец сойдет и пятак,
А стеклышко — за изумруд драгоценный.
Все вылечит время, вот только никак
Не станет мальчишкою старец согбенный.

* * *

Чего мне только не хотелось враз,
В минувших снах любил я женщин многих.
Все это грустью в предвечерний час
Осело в пыль на зимние дороги.
Распутье — пристань вечная моя,
Как труден выбор, если жажду разом
Всем сердцем — всей палитры бытия.
Но цвет небесный выбирает разум.
Седое время — ускоряет бег —
Афиши, новогодние программы...
Январский холод, заморозь навек
Печали все, сомнения и драмы.
Я знаю, звездный час уже пробил,

Душа моя гвоздикой заалеет.
Февральский снег последней грустью был,
Ах, скольких женщин я в душе лелеял...



* * *

Лишь тоска щемящая не погасит пламени.
Буду сны вымаливать, словно с неба милости,
Биться насмерть с легшими на сердце печальями,
Чтобы полюбила ты, чтобы покорилась ты...
И сгорю, истерзанный, как звезда падучая,
И с душой исколотой гаммами незримыми,
Разобьюсь о скалы я острые, могучие,
Только неприступное тело подари ты мне...
Должен я от бренного устремиться к высшему,
Грудь земли прохладную первым тронуть должен я,
Чтобы ты понять могла: все, с тобою бывшее
До меня и после — не одно и то же...

Перевод Владимира САРИШВИЛИ

ХРОНИКА

ных сил и правительства Гамсахурдиа обостряется резко и стремительно.

3 сентября: президент воздвигает на проспекте Руставели баррикады из автобусов, КамАЗов и т. п. автомашин и призывает своих сторонников к расправе с оппозицией.

К 9 сентября: проспект Руставели в районе штаб-квартиры Партии национальной независимости (в здании бывшего ИМЭЛа) перегораживают баррикады оппозиции и начинается мирная акция протеста против антидемократических, тоталитарных методов правления Гамсахурдиа. Акцию протеста начинают работники Департамента радио и телевидения, в университетском саду—профессора Университета. При огромном стечении народа идут непрерывные митинги. Президент и его сторонники, депутаты, министры, укрепившиеся в бункере Дворца правительства, усиленно нагнетают конфронтацию. Ежедневными речами на своих митингах, по узурпированному радио и телевидению они разжигают в людях ненависть к оппозиционной интеллигенции, ко всем инакомыслящим, играя на шовинистических и псевдорелигиозных чувствах, на дезинформированности и невежестве толпы. Призывают всех, кому


(Продолжение на стр. 77.)

Игра во взрослых

РОМАН

Я хоть и мужчина, тоже был неравнодушен к Дэви Цирдава. Сейчас, вспоминая его, я не могу понять, чем он так обворожил всех, особенно женщин. Милый, добрый, порядочный, но в общем — обычный парень, а они чуть ли не все были без ума от него. Скорее всего, это объяснялось тем, что он был человеком новым, да еще из столицы, а ведь сотрудницы «Радости» годами не видели посторонних мужчин, так и варились в собственном соку. Тянулись дни, и один, как две капли воды, был похож на другой и не приносил ничего нового, а если вдруг и приносил, то так тихо и незаметно, что и не понять было — то ли это уже было, то ли нет. И вот тут-то Дэви Цирдава и свалился на нашу голову, как посланец какого-то иного, далекого, а потому — совершенно волшебного мира. И ведь недалеко было до Тбилиси, да дальность расстояния измеряется не только километрами. Весь облик молодого человека — речь, одежда, очки (у нас никого в очках не было), хотя бы то, что он захотел — отпустил бороду, захотел — сбрил, — носил на себе отпечаток новизны... Говорили, что он владеет приемами карате, и, естественно, нас, мальчишек, это завораживало больше всего... Ну а девчонки? Вон Ануш и талипла к нему как банный лист. Подстережет где-нибудь и, глядишь, уже виснет на нем... Может, и вправду в этом проявлялась тоска по отцу, не знаю... У Сулико Антелава — она тогда училась в восьмом — аж

«Окончание. Начало см. №№ 8, 9.—10.



глаза загорались при виде Дэви, и появлялись какие-то новые повадки, взрослившие ее, на что, конечно, и были рассчитаны... Я видел, что Губошлеп и Прыщ сгорают от ревности и не знают, что бы такое выкинуть, чтоб только привлечь ее внимание. А Дэви и не подозревал, какие страсти кипят вокруг него. Да, впрочем, если бы и подозревал, вряд ли бы обратил внимание... Но он не мог не чувствовать направленные на него более сильные токи, тем более что они создавали взрывоопасную ситуацию. Без всякой видимой причины Элико Верулава взъелась вдруг на Мравалу Папаскири. Я своими ушами слышал, как она прошипела ей вслед: «И эта пингвинша туда же!..» Мравала, в свою очередь, невзлюбила директорскую дочку и с возмущением обмолвилась как-то при мне: «Замужняя женщина, а все никак не успокоится! Что она тягается со мной!»

...Элико ненавидела мужа. С той самой первой ночи, когда, охваченная стыдом и страстью, ждала подтверждения его мужской силы, а он вдруг заплакал и начал просить у нее прощения. «Отодвинься!» — сухо бросила ему Элико. Страсть у нее мгновенно прошла, а вот стыд мучал еще долго. С тех пор ночи превратились для нее в пытку, которой она подвергала себя добровольно, — ведь никто не заставлял ее ложиться в постель с Ипполитом. Достаточно было бы одного ее слова, чтобы Дианоз с радостью вышвырнул любимого зятя из дома, а может, сумел бы сделать так, чтобы тот и в деревню носа не казал. Но она так и не смогла перешагнуть через свое самолюбие... Винить ей было некого, сунула голову в петлю по собственной воле. Это и мешало Элико открыться Дианозу... Перед людьми она играла роль счастливой жены, даже в том, что у них нет детей, обвиняла себя. Постепенно Элико свыклась с судьбой и даже уговаривала себя, что постель и любовь в супружеской жизни не главное, лишь бы было взаимопонимание, но ее женское нутро не хотело смиряться, бунтовало, требовало любви, мужской ласки. А тут еще и Ипполит закуролесил. Могло ли ей прийти в голову, что ее никчемный муженек вдруг начнет хороводиться с сопливыми девчонками? Отделав мужа лопатой, она вроде бы отвела душу, но сердце ее наполнилось ядом, потухшая было ненависть вспых-

нула с новой силой. Эта ненависть душила ее, требуя выхода, вот тогда-то она впервые и подумала с пугающей отчетливостью, что такому мужу и изменить не грех. Это было не в ее натуре, да, впрочем, если б и в ее, вокруг не было ни одного мужчины, который мог привлечь ее внимание. В каждом ей мерещился Ипполит, от каждого она ждала унижения той, первой ночи. Элико не скрывала своего презрения к мужчинам и вела себя с ними так грубо, что, если б кто из них и проникся к ней нежными чувствами, ни один не решился бы признаться в них. Тем не менее мысль об измене крепко засела у нее в голове. Так оно всегда и бывает: самая криминальная мысль, коли она раз допущена сознанием, во второй раз уже не кажется столь ужасной, а потом и вовсе обретает статус легальности. Отныне Элико уже не краснела, не ужасалась, все чаще думала об этом и даже рисовала себе в уме, как это может произойти, хоть и отвлеченно, не имея в виду никого конкретно. И рушить семью она вовсе не собиралась. Вот тогда, в тот горький медовый месяц, она могла бы решиться бросить мужа, но тогда не бросила, теперь же, когда прошло столько лет, ей было страшно стать предметом насмешек или еще того хуже — жалости окружающих, и не было силы, которая могла бы заставить ее признаться в том, каково ей живется на самом деле. Вот в это самое время, когда Элико обуревали самые противоречивые чувства, и появился в «Радости» Дэви Цирдава. Трудно сказать, сразу ли она обратила на него внимание. Элико была из тех женщин, которые не поверяют другим своим мыслям... Она помнила его с детства, вернее, запомнились фамилия, веснушчатое лицо и рыжие волосы. Теперь, хоть фамилия и оставалась той же, перед ней предстал совершенно новый человек, и трудно было в этом представительном, уверенном в себе молодом мужчине узнать худенького парнишку, который волновал — а может, это только казалось? — ее в детстве. «Ах, если бы он тогда задержался здесь еще немного!» При этой мысли у нее к глазам подкатывались слезы, и, чтобы скрыть их, она напускала на себя развязность видавшей виды женщины. Знал бы кто, как тяжело ей, с ее характером, давался тот легкий флирт, который с ее же подачи завязался у нее с Дэви. При всем при

том, взбаламученная сама, Элико начала зорко ^{вгля-}глядываться в окружающих — нет ли рядом еще ^{кого,} чье сердце билось бы так же неровно при виде Дэви? Безошибочное женское чутье быстро указало ей на Мравалу Папаскири, эту недотрогу, «эту пингвиншу», которая туда же. Скажите, как официально она себя держит с ним — «Да, батоно Дэви! Нет, батоно Дэви!», а сама, небось, так и тает!.. В неизменно холодноватом тоне Мравалы Элико уловила что-то такое — теплое, женское, что не могло обмануть.

Никто, кроме Элико, этого не замечал.

При первой встрече Мравала даже не разглядела Дэви как следует, но почему-то ее охватило тяжелое чувство. Всю ночь напролет ее душили кошмары, она вскакивала, металась на постели, не могла унять гулко колотившееся сердце, клала под язык валидол, но и он не помогал. Встала, выпила холодной воды, снова попыталась уснуть, но тщетно... «Что это со мной?» — думала Мравала и не находила ответа. Если бы кто посторонний увидел ее в таком состоянии, может, и догадался бы что к чему. Но рядом никого не было. Все следующие ночи она провела не лучше. Наутро же на работе держалась как всегда, так сдержанно и неприступно, что никому и в голову не могло прийти, что эта гордая женщина способна испытывать такие муки. Даже Элико как-то усомнилась — может, показалось и ничего такого нет? По утрам Мравала собиралась на работу так, как, наверное, люди собираются на войну. Каждый разговор с людьми давался ей с таким трудом, требовал такого напряжения, что, казалось, — не выдержит, сорвется. Мравала старалась избегать Дэви, но получалось так, что постоянно оказывалась поблизости от него. И все боялась, что кто-то заметит это. Странно! После нескольких, нужно сказать, довольно легковесных и неудачных романов в молодости она поставила на этом деле крест, даже не смотрела в сторону мужчин, они для нее попросту не существовали. Что же произошло с ней теперь, на пороге старости, что за исполненные соблазна фантазии напроочь выбили ее из колеи? Мравала не понимала себя... А Дэви, естественно, ничего не замечал и ни о чем не догадывался. Ему и в голову не могло прийти, что он что-то значит для кого-для кого — для Мравалы.

Поэтому он и вел себя с ней запросто, даже чуть-чуть-фамильярно... Изнемогая от ежедневного напряжения, на пределе Мравала возвращалась вечером домой. Бросалась одетая на неразобранную постель и долго плакала. Потом незаметно для себя проваливалась в сон. Но в середине ночи резко, как будто кто ее толкнул, просыпалась и до самого утра лежала без сна, с открытыми глазами, до боли в висках всматриваясь в потолок — словно ожидала увидеть там дорогой образ. Днем она только и мечтала, чтобы Дэви поскорее уехал, а ночью страшилась даже подумать о том, что будет с ней, если он действительно уедет... Элико она недолюбливала всегда, но здравый смысл подсказывал ей, что Элико здесь ни при чем, просто у нее самой нет и не может быть никакой надежды...

— Как отец? — сухо, безразлично спрашивала она Элико.

— Лучше! — коротко и так же сухо отвечала Элико.

Обе они хорошо понимали, что кроется за этими скупыми фразами, и быстро разошлись в разные стороны.

...Я написал эти слова и задумался. Зачем я рассказываю все это? Ведь я тогда был еще маленьким и мало что понимал в таких делах. Это сейчас, в кубрике на «Охотском», я пытаюсь припомнить малейшие детали и делаю свои выводы — уже задним числом. И всех поминаю добром, всем хочу хорошего. Но разве это в моих силах?! Будь люди, о которых я рассказываю, вымышленными персонажами, я бы хоть одного из них сделал счастливым! Рассказал бы, как однажды ночью, переломив свою гордость, Элико пришла в комнату Дэви, оросила слезами его подушку, открыла душу — не могу больше, нет моих сил! И Цирдава понял бы ее, приласкал, обогрел душу. И эта единственная ночь стала бы для нее наградой за все выпавшие на ее долю — с самого рождения — страдания... Но я ведь знаю, что ничего такого не будет. Элико не сумеет превозмочь свою гордость, ночное свидание с Дэви произойдет лишь в мечтах, и она на всю жизнь останется с постылым мужем, не по своей воле ставшая монашкой, озлобившаяся, от всего света отгородившаяся стеной своего самолюбия... Вернувшись с работы, она, как

всегда, сядет у постели Дианоза, поправит подушку, виноватым тоном ответит на какие-то его слова: «Как хочешь, отец!» Но если не Элико, может, я сумел бы помочь Мравале Папаскири? Чем она была плоха для Дэви, разве что немного старше! Еще и тогда она притягивала к себе взоры мужчин, а в женщинах вызывала досаду и зависть. Будь моя воля, заставил бы я Дэви Цирдава плясать под мою дудку. Опомниться бы не успел, как уже стоял бы под окнами Мравалы и пел ей томные, страстные серенады. Но нет на то моей воли, и никуда мне не деться от правды. Дэви Цирдава так никогда и не узнает тайну Мравалы Папаскири...

Как редко встречается в жизни счастливая любовь! Полное, гармоничное слияние двух существ! И к сожалению, именно робкие почти никогда не получают желаемого. Потому и невдомек было Дэви Цирдава, как гулко стучит сердце Цисии Девдариани. Даже помыслить не мог он, что нравится Цисии, совсем ребенку по сравнению с ним. Ее, видное даже невооруженным глазом, волнение при встречах с ним он объяснял девичьей застенчивостью. И ласково улыбался в ответ, как улыбаются очаровательной малышке...

Сколько любовных треугольников или даже многоугольников мог бы я составить! Человеческое сердце не может без любви и всегда, как давно уже подмечено мудрецами, мечется в поисках своей половинки. На что уж Прыщ, и тот ведь сох по Пунтуше, и сколько ни колотили его братья Цкипуришвили, так и не смогли выколотить из него это чувство. Уже через много лет, став на ноги, овладев специальностью электромеханика, он вновь попытался завоевать сердце своей детской зазнобы. Но к тому времени Пунтуша была уже женой колхозного бригадира и матерью двоих детей. Эх, каждый ищет свое счастье, да не каждый находит! К нашему общему изумлению, счастливо завершился роман только у Губошлепа с Цицино Кордзахия. Была Цицино невысокой, ширококостной, с толстыми золотыми косами, проказливой и драчливой, как мальчишка. Видела она, плутовка, что Губошлеп неровно дышит, и издевалась над ним как могла. А он в ответ только поглядывал на нее преданным взглядом и просительно говорил: «Ну ладно, хватит тебе, успокойся!» Так это продолжалось немало лет. Губошлеп не отсту-

пался, а она продолжала подстраивать ему всякие каверзы... Воспитатели, понимавшие во всех этих делах больше нашего, иногда всерьез опасались, как бы эта щенячья возня не привела к серьезным последствиям... И ведь привела-таки. Сейчас, когда я плаваю по Охотскому морю, их первенцу уже исполнилось два года...

Не помню, сколько мне тогда было. Амбако Цомае больно дернул меня за волосы и с издевкой спросил в присутствии других ребят:

— Ну что, брат Никанор, жениться не собираешься?

Я залился жаркой краской:

— Еще чего!

Все захохотали.

Потом меня усыновили «эти», Гулисашвили, и жизнь потекла по новому руслу. Как-то папа Тариел тоже пошутил: — Ну что, Никанор, не пора ли жениться?

Помню, я тогда воспринял этот вопрос всерьез. Подумал немного и ответил, что жениться, мне не резон. Зачем? Семья у нас небольшая, и мама Тамар вполне справляется с хозяйством. А вот когда мне стукнуло двенадцать, я будто прозрел. И что же это творится вокруг? Все в кого-то влюблены! Не отставать же от других, и я огляделся. Вообще-то мне может понравиться разве что сказочная фея. Так я всегда считал. Но оказалось, что это не совсем так. Если уж пришла пора влюбиться, объект всегда найдется... На пороге дома я со всего маху налетел на Мимозу Кация. Она вскрикнула от неожиданности, и ее голос какой-то сладкой болью отозвался в моем сердце... Так и у меня появилась своя тайна... «Никанор, какой ты странный!» — сказала мне как-то Мимоза, вот тут-то я впервые за последнее время осмелился взглянуть ей прямо в лицо и обомлел... До чего же хороша, точно фея из какого-то неземного, призрачного мира! С того дня я постоянно строил в воображении хрустальные дворцы для Мимозы Кация, защищал ее от отвратительных и страшных чудовищ... Даже сейчас у меня щемит сердце, когда я вспоминаю об этом... Но какие уж там хрустальные дворцы, если мне в ближайшем будущем не светила даже собственная, пусть жалкая, хибарка. Да и с чудовищами тоже все было не так просто. Я хоть и побеждал их, но порой как раз побежденный и остается-

ся в выигрыше. Если бы в тот день Бычок побил меня, а не наоборот, может, Мимоза подошла бы ко мне, поправила изголовье, положила ладонь на пылающий лоб. Но я жаждал подвигов, рукоплесканий, геройства. А героев ведь не за что жалеть. Знать бы тогда, что женская любовь часто начинается с жалости... А мое столкновение с Бычком произошло так...

* * *

Я оставил Мариху с дядей Элефтером, отнюдь не надеясь устроить ее судьбу. Просто рассчитывал, что в худшем случае Элефтер посадит девочку в машину и привезет — на зависть всем! — в «Радость». А там никто не станет дознаваться, почему они оказались вместе. Тем временем и «эти», Гулисашвили, уберутся, не будут же они дожидаться вечно...

В детдоме творилось что-то невообразимое. Ипполит бушевал, брызгал слюной, орал, чтобы ему немедленно доставили Мариху, а не то он всю милицию на ноги поднимет. Тариел Гулисашвили еще подбавил масла в огонь, презрительно бросив Ипполиту: «А еще корчишь из себя начальника!» Только чета Гулисашвили отбыла, деревенский парнишка принес известие, что Мариха — у Элефтера Лагвилава. Ипполит набросился на Мавру — распустились-де, каждый делает что хочет, никакой дисциплины, как малолетняя девчонка могла очутиться так далеко от дома! По существу, он был прав, и Мавра слушала его брань молча, с виноватым выражением. Она так и не поняла, ни как Мариха оказалась с Элефтером, ни зачем понадобилось ему тащить ее с собой. «Горе совсем помутило ему рассудок!» — расстроено думала Мавра и злилась на весь свет — и на маленькую Мариху, и на Элефтера, и на Ипполита — «смотри-ка, еще не директор, а уже как заговорил!» А пока Ипполит отчитывал Мавру, ребята, посланные на поиски Марихи, продолжали обшаривать лесок и кустарник. По правде говоря, они не очень-то и усердствовали, просто радовались, что вырвались на свободу, ибо даже это, не бог весть какое, происшествие скрашивало унылое однообразие их детдомовского существования.

А меж тем все окружные тропинки вели к скале Верасула...

По одной тропинке во весь дух мчался к «Радости», еще не зная, что там происходит после исчезновения Марихи, и не ожидая кого-либо встретить у подножия скалы...

По другой чуть не бежала Цисия Девдариани. Это она вывела ребят на поиски. Малыши остались во дворе под присмотром опухшей от слез Татьяны Каличава. Она пыталась собрать их всех около себя, как квочка, и то и дело пересчитывала — все ли на месте?

Без Марихи их осталось семь девочек и десять мальчиков. Девочки столпились у забора, усердно глядят в щели и отверстия, время от времени, когда им кажется, что они углядели Мариху, издавая ликующие возгласы. Мальчишек у забора не удержишь, они носятся взад и вперед, особенно Важика-Кнопка, так и мелькает перед глазами. Бедная Татьяна то посчитает его дважды, то не посчитает совсем и все время сбивается. Ушастик, не вынимая пальца изо рта, жалобно канючит: «Пуу-стите меня! Я тоже буду искать!» — «Отстань», — огрызается расстроенная Татьяна и дергает его за вихры...

Девочки под предводительством Цисии Девдариани уже углубились в лес. Им немного не по себе — тут можно встретить и шакала, и лису. А Наташа Менабде, которая сама никого и ничего на свете не боится, еще и страшает их — своими глазами видела, как Мариху сожрал шакал...

Мальчишки смелее, да еще и подзадоривают друг друга. Они здесь не впервой. Не раз устраивали вылазки за птичьими гнездами и лесными орехами. Кое у кого из них сердце тоже не совсем на месте, но они хохорятся перед девчонками и даже убегают в сторону от тропинки, правда, на такое расстояние, чтобы не потерять пионервожатую из виду.

Цисия же идет по тропинке дальше, время от времени окликавая Мариху и сердито призывая мальчишек не уходить далеко...

В часовне собрались «парни Верасулы» — Папучи, Мамука и еще двое-трое. Услышав в лесу шум и голоса, они вышли из своего укрытия и двинулись к скале. Идут, осторожно оглядываясь, соблюдая конспира-

цию, поэтому я, конечно, оказываюсь на месте раньше. Еще по одной тропинке неторопливо трусят «серые волки», впереди — вожак стаи. Он не самый высокий из всех, но сознание своего первенства будто придает ему роста. Бычок крепко держит власть в своих руках, стая беспрекословно подчиняется ему... Преданнее всех служит ему брат, прозванный Прыщом. Вот и сейчас он бежит след в след. За ним, как всегда с открытым ртом, Раззява — такое впечатление, что у него не помещаются во рту зубы, вот он и открывает рот, чтобы им было попросторнее. Следом пыхтит Губошлеп, Гизо Шамугия, яркое подтверждение того, что сила не всегда ходит рядом со смелостью... С ними еще несколько «волков». Пользуясь тем, что вожак далеко впереди, они ведут себя совсем не по-волчьи — весело пинают друг друга на ходу, задираются, хохочут. В аръергарде тащится Куцна Чедия, он весь ушел в себя, видно, замышляет какие-то новые каверзы... Некоторые уже достигли края леса и деловито рыщут вокруг. Видно, еще не знают, что Мариха нашлась...

Впрочем, пока этого не знает никто. Мы все поспешаем каждый по своей тропинке и не знаем, что делается на других.

Раньше всех у подножия Верасулы оказались «волки». Вожак прошелся по площадке на руках, пружинисто вскочил на ноги, погрозил кулаком невидимому врагу и, довольный собой, шлепнулся на камень. Остальные тоже всячески выражали свое торжество — боролись, поддевали друг друга, издавали воинственный клич, кто — искренне, повинувшись животной радости бытия, а кто — и нехотя, просто, чтобы не отставать от других.

Бычок хлопнул себя рукой по колену и, не повышая голоса, повелительно бросил:

— Хватит!

Все моментально уgomонились. Расселись вокруг вожака — кто на камни, кто прямо на землю.

— Есть кое-какие новости! — мрачно усмехнулся Бычок. — Куцна, сообщи им!

— Воззвания пишет этот чокнутый, Бжалава, рисует Эдзгверадзе, им помогает Гиоргадзе и еще кое-кто...

— Я им покажу где раки зимуют! — Бычок снова погрозил кулаком.

— Я думаю, им помогает и пионервожатая, — с сомнением промолвил Куцна. — Вот как укоротить ее?

— Не знаешь? — многозначительно ухмыльнулся Бычок. Вокруг загоготали, хотя и не все — некоторым было явно не по себе.

— Ты что? — испугался Губошлеп. — Это же тюрьмой пахнет!

— А что, не стоит тюрьмы? — спросил Бычок. Его смелость будто нарушила запрет. Мальчишки встрепенулись, загомонили. Ведь то, что они знали об «этом», не выходило за рамки сновидений и мечты, тайное ожидание, вернее, предвкушение наслаждения кружило им головы, путало воображаемое с реальным, взлелеянное мечтой с доступным. Смелое слово было равнозначно делу, и, опережая и прерывая друг друга, они, захлебываясь, торопились теперь выплеснуть заветное...

В этот момент и появилась из лесу Цисия Девдариани. Дети рассеялись еще по дороге, откуда-то из кустов и перелеска раздавались их перекликающиеся голоса. Только сейчас она обнаружила, что осталась одна. Вокруг стеной стояли деревья. Шелестели листвой. Может, маленькая Мариха где-то совсем рядом? Сжалась в комочек и поскуливает от страха? Или заснула от усталости и не слышит, что ее разыскивают? Цисия напрягла слух. Приглушенные ребячьи голоса доносились откуда-то издалека. Ей вдруг стало страшно, как будто заблудилась не Мариха, а она, Цисия, и ей никогда уже не выбраться из леса.

Она ускорила шаг, будто убегая от одиночества, и вдруг, у подножия Верасулы, увидела старших ребят. Вздохнула с облегчением, словно действительно избежала какой-то неведомой опасности. Но уже в следующее мгновение ее снова охватил страх, сердце куда-то провалилось.

Ребята смотрели на нее как-то странно, молчали, и в этом молчании было что-то жутковатое.

Цисия хотела что-то сказать, помахать рукой, улыбнуться... Но горло перехватило, и она не сумела издать ни звука. Неожиданно мелькнула мысль, что она не должна выдавать себя, показывать, что боится. Что-то

подсказывало ей, что, выдай она свой страх, они сразу же осмелеют.

А ребята все еще сидели неподвижно, будто позировали фотографу для группового снимка, когда пошевелиться никак нельзя.

Цисию охватило безудержное желание повернуться и бежать — куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда... Но она сдержала себя — все равно далеко не убежишь, собрала всю свою волю и решительно двинулась к ребятам. Подойдя, выдавила из себя улыбку.

— Я думала, вы ищете Мариху, а вы, оказывается, сидите тут!

Все как один они посмотрели на вожака, потом снова на Цисию. В их глазах было что-то такое, недетское, хищное. То, что они вместе, придавало им храбрости. Вдруг Бычок вскочил, скорчил гримасу, мотнул головой:

— Ты только прикажи, солнцеликая!

— Не кривляйся! — хрипло одернула его Цисия и сделала шаг назад.

Это было ошибкой. Мальчишки подались вперед... Изготовившиеся к прыжку, не знающие пощады волки. Теперь у них в глазах Цисия прочла неприкрытое, мужское желание и догадалась, что кто-то уже успел заронить в этих полумальчиков-полуоюношей ядовитое семя.

Бычок почувствовал поддержку стаи. Теперь отступать уже нельзя, иначе — вечный позор. Он схватил девушку за тонкие запястья, ощутил их хрупкость, будто даже услышал хруст.

— Пусти, мне больно! — жалобно вырвалось у Цисии, но этот жалобный тон, казалось, еще больше раззадорил стаю.

Один только Губошлеп не двинулся с места. Он сидел все в той же позе — уставившись в землю, не поднимая головы.

— Это пахнет тюрьмой! — упрямо повторил он.

— Убирайся отсюда! — зарычал на него Гугули Джикия.

— Да она звука не издаст, стыдно будет! — пропихнул Куцна Чедия.

У обоих были какие-то чужие голоса, остальные же

вообще только сопели от волнения и захлестнувшего вдруг возбуждения.

У Бычка закаменело лицо, он притянул Цисию к себе, и она поняла, что никакие мольбы не помогут. Попыталась вырваться, не отрывая ненавистного взгляда от его лица, но силы были слишком неравны... Остальные, одурманенные страхом и нетерпением, переминались с ноги на ногу, предвкушая исход этой неравной борьбы...

Именно в этот момент я и оказался у подножия Верасулы...

Выскочив вприпрыжку на поляну, я увидел оцепеневшую стаю и вдруг как-то сразу понял, что происходит.

— Сюда-а! — заорал я во весь голос, хотя отнюдь не был уверен, что поблизости кто-нибудь есть. — Сюда, дядя Дэви, здесь они!

Стая стремительно повернулась ко мне. На лицах читались страх и ненависть. Дорого обойдется мне сегодняшней порыв! Бычок непроизвольно выпустил Цисию, и тут раздался такой звук, как будто треснула скала Верасула.

Это Цисия залепила пощечину обидчику. Пять пальцев так и отпечатались на его щеке. А потом бросилась бежать, но, не пробежав и десяти метров, с глухим рыданием упала лицом в траву...

Я схватил камень, сердце гулко стучало, но тут... откуда ни возмись из кустов выскочили Сико и Омико, за ними Блоха, потом вперевалочку подошел Утенок, еще кто-то, я не разобрал...

— Брось камень, Никанор! — зло прошипел Бычок.

— Не подходи, размозжу голову! — подался я вперед, хотя колени подкашивались от слабости.

— Ну, погоди! Ты у меня получишь! — Но в голосе Бычка я уловил неуверенность, а глаза его воровато глянули в сторону леса.

И... вот оно, чудо! С той стороны появился Папучи Эдзгверадзе, а с ним Мамука Гиоргадзе, братья Гурцкая... Бакури оглянулся назад и повелительно бросил: — А вы ждите там! — как будто в кустах было навалом наших.

— Пойдем отсюда, Никанор! — всхлипывая, обратилась ко мне Цисия.

Но разве отпустят они вот так, за здорово живешь!

— Никанор, брось камень! — повторил Бычок. — Видишь же, я не собираюсь драться. Давай сядем, поговорим!

Слова были вроде ласковые, но глаза смотрели холодно, и я не поверил ему.

— Не о чем нам говорить, вожак. Не быть нам с тобой друзьями! Лучше вон извинись перед Цисией, может, я и поobreю, — сурово произнес я.

— А плевал я на твою дружбу! — Несмотря на вызывающие слова, в голосе Бычка не было уверенности, он явно не знал, чего от меня можно ждать.

— Ну что ж, другого пути нет... Я вызываю тебя на поединок!

— Что, драться? — спросил он удивленно.

— Драться!

— Нам с тобой? — не верил своим ушам Бычок.

— Нам с тобой!

— Прямо сейчас? Здесь?

— Сейчас и здесь! — Я видел, что и у противников и у сторонников вытянулись лица. — Ну, не совсем здесь, конечно, вон там! — и я показал на острый выступ скалы.

Бычок проследил за направлением моего пальца. Верасула надменно и неприступно высилась перед нами.

— Смеешься? — от злости у Бычка перехватило дыхание.

— Сила есть и у осла, а вот мужество... Померяемся! Если ты и вправду вожак, следуй за мной!

Я повернулся и пошел к скале.

— Никанор, не надо! — бросилась за мной Цисия.

Не знаю, на что я надеялся. Теперь, когда я бросил вызов, мне лучше было умереть, чем отступить. Я подошел к тому месту, откуда не раз пытался покорить Верасулу. Сразу вспомнил, где на голом камне сохранялся залежалый снег. Должна же где-то там быть тропинка, пусть даже стертая и неразличимая. Всю мою жизнь я мечтал взобраться на вершину и внутренне готовился к восхождению...

И все же в последнюю секунду дрогнул, испугался собственной смелости. Но тут почувствовал, что кто-то тронул меня за локоть, подтолкнул вперед и прошептал на ухо: «Вперед, мой мальчик! Не бойся!» И сразу пропал страх, ноги перестали дрожать, тело сделалось послушным. Я сунул руки в излом скалы, нашел ногами точку опоры и подтянулся.

За спиной стояла могильная тишина, будто все куда-то исчезли и я остался у подножия Верасулы один... Даже лес притих, ветер не шелестел листвой, деревья и травы замерли в ожидании... Я знал, никто не верит, что мне удастся взобраться на вершину, никто, кроме того, кто, незримый, в минуты беды или малодушия трогал меня за локоть и ласково шептал на ухо: «Вперед, мой мальчик! Не бойся!» И я шел вперед и ничего не боялся. Вот и теперь я пополз вверх. Правда, медленно, без суеты, преодолевая каждый сантиметр не столько силой, сколько упрямством и взявшейся откуда-то волей. Голова работала четко и ясно, зрение приобрело остроту. Я смотрел на поверхность скалы будто через увеличительное стекло. Если издали она выглядела гладкой и ровной, то теперь я замечал многочисленные трещины и расселины. Лишь бы не закружилась голова, лишь бы не нахлынул опять страх! Тогда я найду, за что уцепиться, обо что опереться!.. Так, сантиметр за сантиметром, я взбирался по отвесной скале все выше и выше. Тело было упругим и легким...

Видно, телу придает легкость дух. И не взобраться на крутую скалу Верасулу тому, кем не движет благородная цель! Оказывается, главное — желание и воля. Нужно только по-настоящему захотеть, найти в себе смелость, бросить свою жизнь на чашу весов. Одолеть Верасулу можно только на грани жизни и смерти. Ведь Бычок намного сильнее и выносливее меня. Вообще он весь какой-то нестигаемый, а разозли его как следует, так он, наверное, в гневе и человека убить может. А вот выше себя не взлетит, не дано ему почувствовать ту грань, за которой все становится под силу, не дано пройти по краю пропасти, по шаткому мостику между жизнью и смертью. И все потому, что слишком любит он свое сильное и ловкое тело и не подозревает, что, кроме тела, есть еще и дух...

Вначале взбираться было довольно легко. Первые

четыре — пять метров мне были уже знакомы. Я знал, куда ступить, за что ухватиться. Следующие десять метров тоже дались нетрудно, я преодолел их как-бы по инерции. Это я так только говорю — десять метров, на самом же деле откуда мне было знать, сколько я прополз, измерять-то нечем. Я старался не оглядываться, не смотреть вниз, ведь с высоты расстояние кажется куда бóльшим. Внезапно я почувствовал, что пути дальше нет, и судорожно вцепился руками в край трещины. Но выступ, на который я опирался, вдруг ушел из-под ног, и я повис в пустоте. Сердце бешено заколотилось, пальцы онемели, голова закружилась. А снизу раздался общий вздох — «О-ох!» Я напряг все силы, чуть подтянулся и, когда мне уже казалось, что надежды нет, вдруг ощутил под ногами опору, маленький пяточок величиной с ладонь. Я перевел дух. Дрожь постепенно улеглась, я попытался выпрямиться, а снизу снова раздалось дружное «О-ох!» Вот тогда я позволил себе в первый раз взглянуть вниз, всего на секунду, поэтому почти ничего не разглядел. Все лица смешались в одно — «волки» и «парни Верасулы», большие и маленькие. Мне показалось, что их очень много, а из лесу выходили еще и еще...

«Спокойно, Никанор! Без паники, мой мальчик!» — прошептал мне знакомый голос, и кто-то тронул меня за локоть. Я слышал, как в ухо мне дышит Большой Никанор, сил прибавилось, и осторожно, размеренно я продолжил восхождение. Тщательно прощупывал каждую трещину, каждый выступ, каждую неровность, чтоб только можно было ухватиться, упереться ногой, подтянуться. Тело тянуло меня вниз, но дух стремился ввысь, и это стремление было не из легких.

А вокруг по-прежнему царило безмолвие, словно на свете не было никого, кроме меня и скалы Верасулы, неба наверху и рощи внизу... Мелькнула какая-то тень. Это ласточка пронеслась прямо над моей головой и исчезла в необозримом пространстве...

Время шло, и каждый шаг давался мне все с большим трудом, колени ослабли, но обратно пути не было.

Внезапно на меня упала тень. Снизу это место выделялось темным пятном. Надо мной нависла скалистая глыба. Дальше ходу не было. Один лишь шаг — и я сорвусь вниз. Вот когда я по-настоящему испугал-

ся. Чуть не разжал руки, но снова услышал предостерегающий шепот: «Осторожно!» — и, чуть-чуть придя в себя, еще: «Спокойно, мой мальчик! Возьми себя в руки!»

Я взял себя в руки. С трудом повернув голову, поглядел налево. Здесь были отроги, острые и узкие, как лезвие ножа. Направо... здесь тоже... Впрочем, чуть поодаль черной нитью выделялась расселина... Может, дотянусь рукой! Я перекатился на бок. Еще... еще немного, все... дотянулся. Тело у меня напряглось, превратилось в сплошные мускулы, с головы до ног пронизала дрожь... Еще секунда — и занемевшие, посиневшие пальцы не выдержат. Я заторопился, ухватился за край второй рукой. Держаться было трудно. Силы почти иссякли... Подтянулся на руках, не разжимая пальцев, уперся локтем и перекинул тело на край выступа... Ого-о! Выступ оказался не таким маленьким, каким казался снизу. На него можно было даже сесть... Пот катился с меня градом, долго я здесь не продержусь — и всю оставшуюся силу я вложил в последний рывок... Штаны на мне треснули, ногу обожгло царапиной, но все это уже не страшно... Я прочно сижу в расселине и стараюсь сдержать учащенное дыхание... От этого места отходит узкая, едва заметная глазу тропинка.

Я оглядываюсь. Что же, полпути позади. Бросаю взгляд вниз. Там собрался почти весь детский дом.

Вон стоят «волки». Бычок как будто стал меньше ростом, а члены стаи, всегда жмущиеся друг к другу, теперь вроде бы держатся поодаль один от другого, словно стыдятся чего-то. На противоположной стороне мои друзья — Папучи, Мамука, Бакар, Цотнэ, братья Цкипуришвили... Тут и девочки из старшей группы... Между двумя враждующими сторонами столпились остальные, так сказать, нейтралы. Я различаю Цисию Девдариани. Она, как маленькая, кусает пальцы, нервничает. А вот и мои одноклассницы — Циру и Пепела. Рядом с ними Мимоза Кация. Смотрит на меня так, будто размышляет — «Какой же ты есть, Никанор?»

Тропинка облегчила мне восхождение. Теперь я не тороплюсь, медленно считаю шаги. Тропинка вьется белой змейкой. Иногда она обрывается, и тогда на помощь мне приходят ловкость и терпение.

До вершины остается совсем немного, когда мне вдруг приходит мысль — «Куда же ведет эта тропинка?» И сразу же перед глазами возникает что-то темное, откуда меня обдает прохладой и сыростью. Передо мной небольшое отверстие. У меня подпрыгивает сердце — а вдруг и впрямь я обнаружу сейчас сокровища! Отверстие наполовину закрыто кирпичной кладкой. Я проникаю в пещеру, там темно, но глаз постепенно привыкает, и я лихорадочно оглядываюсь по сторонам. Ничего нет. Пещера пуста.

Я выбираюсь из нее и снова смотрю вниз. Не знаю почему, может, потому, что чаши весов колеблются, но мне сверху кажется, что волчья стая заметно поредела, а большинство детдомовцев столпились вокруг наших... Вот серебрится между деревьями Хрустальный ручей, и там, где через него перекинута ольховые мостки, быстрым шагом идет Дэви Цирдава...

Сколько же мне осталось? Каких-нибудь десять метров!.. Тропинка опять исчезла, я продолжаю взбираться на ощупь... Кое-где попадаются чахлые травинки и какие-то незнакомые мне бледные цветы. Я цепляюсь за них, но осторожно, не доверяясь до конца... Коленки содраны до крови, горят... Локти тоже содраны, ладони изрезаны, по спине течет пот, но зато цель — вот она, рукой подать!

Еще немного... Еще... И я вижу перед собой ветку вербы. Хватаюсь за нее и делаю последнее усилие...

Я стою на вершине скалы Верасулы и смотрю вниз.

Вожак стаи в полном одиночестве. Даже его брат, Прыц, отодвинулся подальше, наполовину уже совершив предательство.

Вдруг я вижу, что Бычок опускает голову и медленно, будто ноги не слушаются его, направляется вниз, к детскому дому.

— Ни-ка-ноор!

Это Дэви Цирдава. Он стоит рядом с Цисией и машет мне рукой.

Я тоже поднимаю правую руку, машу в ответ — «Эге-гей!»

Сверху, как на ладони, я вижу зеленую рощу, Хрустальный ручей, корпуса «Радости»... всю деревню... А там дальше еще деревни и города... Еще дальше —

бескрайняя синяя гладь моря. И на этой глади белым видением мелькает идущий на всех парусах корабль Большого Никанора...

Экз. № 111111
1111111111

* * *

Ночь. Стою на вахте... На море штиль.

«Охотский» неслышно скользит по зеркальной глади, оставляет за собой белый пенный бурун. Свет прожектора отражается от поверхности воды, освещает путь.

Над головой необъятное небо. Кажется, что сегодня звезд особенно много — раз в десять больше, чем обычно. И все они сияют, мерцают, трепещут, подмигивают мне. Созвездие Большой Медведицы даже хвостом помахивает, как верный сторожевой пес. Полярная звезда повисла прямо над головой. По ней мы и держим путь...

От ночного моря, с его трудно поддающимся определению цветом, веет тайной. Пространство теряется во тьме. Вблизи же отражения звезд наплывают друг на друга и смешиваются со светом бортовых огней. Скоро рассвет. Веет предутренней прохладой.

И вот постепенно рассеивается тьма, тускнеет свет звезд, некоторые из них гаснут, рассыпаясь золотой пылью.

Пространство подергивается серым, вода тоже сереет, будто покрывается слоем пепла. С ее поверхности медленно взмывают легкие облачки тумана.

Восток начинает серебриться. Это еще робко и несмело выплывает солнечный диск.

Откуда-то доносятся непонятные звуки — хрюканье, перемежаемое всплесками и протяжным подвыванием. Это мимо нас проплывает стадо морских львов...

Теперь море тоже покрывается холодным серебряным блеском. Расширяется пространство, отчетливо проступает горизонт... Над горизонтом виднеется черная линия... Это восточное побережье Камчатки, вдоль которого пролегает наш курс.

Впереди нас ждет мыс Южный. Еще сутки — и «Охотский» приветствует его могучим гудком...

Стенгазета у меня готова: мыс Южный пожимает руку нашей славной посудине. Корпус «Охотского»

гирляндами обвивают пышные усы нашего боцмана, а на макушке мыса лихо напялена фуражка помощника капитана...

— Далеко пойдешь, матрос! — как-то сказал мне капитан.

— Надеюсь, капитан! — браво ответил я.

А в той стороне, где виднелась темная полоса, уже окидывает нас взглядом солнце...

* * *

На востоке, вдоль горизонта, целый день виднеется темная узкая полоса. Довольно унылое зрелище — ничего отрадного для глаза. Удивительно, почему же тогда вызывает интерес и это свинцово-синее водное пространство и эта темная полоса. Наверное, потому, что воображение окрашивает их в причудливые, капризные тона.

Волнение на море становится сильнее. С юга порывами, будто играя, налетает ветер, вспенивает пока еще небольшие волны. Они налетают друг на друга, покрываются белыми гребешками пены...

Снова неподалеку проплывает стадо морских львов. Может, это то самое, что я видел ночью, а может, и другое. Крупные гибкие тела лоснятся на солнце... Кто-то останавливается у меня за спиной. Я вижу на палубе округлую тень. Значит, боцман. Я уже вышел из его подчинения. Поднялся, так сказать, по служебной лестнице. Теперь я рулевой и подчиняюсь непосредственно капитану. Боцману пришлось примириться с этим. Догадался, видно, что я птица высокого полета и покорять мне другие, недосыгаемые для него пространства. Теперь он уже не смотрит на меня сверху вниз, как когда-то, и даже полушутливо-полууважительно величает Никанорычем, а если в духе, то и вообще держит себя со мной на равных. «Мать их так... Ну и красавцы!» — так он выражает свой восторг при виде морских львов. По-другому не умеет...

Солнце клонится к западу, вот-вот укроется за горизонтом. Полоска суши постепенно сереет, темнеет и вскоре окончательно теряется в черном тумане.

Опускаются сумерки, зато, как бы в утешение, небо вспыхивает мириадами звезд. Их так много, что, ка-

жется, всем недостает места, поэтому некоторые срываются вниз и пропадают в черных, как деготь, волнах. Вот так и мои детские воспоминания. Срываются в волны памяти и пропадают в них. Память человеческая — не сплошная линия, а пунктир, хорошо если она сохраняет нам хотя бы отдельные фрагменты существования.

Помню как сейчас: стою я на самой вершине Верасулы. Внизу, у подножия скалы собралась вся ребятня из нашей «Радости». Закинув головы, смотрят на меня. Но лица я различаю с трудом...

Вот Бычок круто поворачивается и бегом бросается в сторону детского дома...

Дэви Цирдава машет мне рукой:

— Ни-ка-но-ор!

— Эге-гей! — кричу я в ответ и тоже приветственно взмахиваю рукой. Потом поворачиваюсь и пускаюсь по тропинке в обратный путь.

...Сколько раз я наблюдал, как созревает на дереве плод. Совсем недавно, каких-то два месяца назад он проглянул из цветка маленьким, неприметным катышком. И не уследишь, когда и как он увеличивается, приобретает форму. Природа вначале не торопится, ее движения незаметны для глаза. Потом вдруг как бы спохватывается, вспоминает, что жизнь преходяща, не поспешишь — упустишь время. И плод начинает расти не по дням, а по часам. Как-то сразу желтеет, наливается соком. И в один прекрасный день вдруг замечаешь, что все... готов, не сорвешь — прозеваешь момент, перезреет... Вот так, по-моему, и события, они подготавливаются незаметно, исподволь. Потом к ним приходит зрелость, и в короткое время вмещается так много...

Может, конечно, я упрощаю. и все происходило по-другому... Ведь в то самое время я шел по скалистой тропе и не мог видеть, как оно было. Впрочем, когда мы не бываем свидетелями происшедшего, представить его нам помогает воображение. Надо только соединить отдельные звенья, обрывки сведений в единую цепь. Что ж, попробуем...

Бычок бежит к «Радости». Им владеет странное чувство. На душе горечь. Возможно, он даже предпочел бы поражение в драке. И чего он связался с этим



чокнутым Никанором! Лучше было бы подстеречь Дэви Цирдава и схлестнуться с ним. Вот это был бы поединок, достойный мужчины. Победи в нем он, Бычок, и навсегда за ним осталась бы слава — еще бы, взять верх над взрослым. Но даже если бы Дэви побил его, тоже особого срама не было бы. Ведь он и по возрасту старше, и приемы карате знает, и опыта у него побольше. А теперь что?.. Победили тебя, Бычок, не силой, а смекалкой.. Сердце у Бычка чуть не лопається от обиды и злости, неудержимо хочется тут же, не сходя с места, что-то предпринять, доказать им всем, вернуть себе уважение. Но что предпринять, он не знает. И почему-то ноги сами приводят его к кабинету Ипполита Квирквелия...

Впрочем, было ли все так на самом деле, не знаю, а врать не хочу. Начнем с того, что все обитатели «Радости», как я уже говорил, собрались у подножия Верасулы. С чего бы Ипполиту оставаться одному в своем кабинете?! Но тогда где же он встретился с Бычком? У забора? В огороде? На опушке леса?.. Нет, наверное все же в кабинете. Так лучше! Лучше потому, что в кабинете Ипполит смотрится солиднее и, конечно, знает это. Там его речи звучат более весомо. Даже какому-нибудь заморышу обстановка кабинета придаст вес. Отсюда вывод: весь детский дом опустел, но Ипполит остался сидеть в кабинете, так сказать, не покинул своего боевого поста. Причина: Ипполит и Боцо Какулия нос к носу склонились над какими-то разложенными на столе бумагами и тихонечко хихикают... Прошли времена, когда Боцо катал анонимки на Дианоза и высмеивал Ипполита. Теперь положение изменилось, и Ипполит дружески обнимает Боцо за плечи.

— Боцо, ну ты и жук, надо же, придумать такое! — Ипполит от восторга аж проглотил обсосанную всего лишь наполовину карамель. Пришлось сунуть в рот другую. — Вот здесь надо немного усилить! Плохо, мол, влияет на детей, подстрекает к нарушению порядка, совсем развалил дисциплину... Любит маленьких девочек. Боимся, мол, не дошло бы до беды! Говоришь, чересчур?.. Ладно, про девочек не надо!.. Пиши: часто, мол, видим его с пионервожатой Девдариани, совсем вскружил девушке голову. Кто знает, может, между ни-

ми что-то и было, а мы прошляпили! Ведь эти горожане не такие тертые, ого-го, врагу не пожелаю...—Боцо слушает молча, только хихикает... На чистые листы бумаги укладываются вырезанные из газеты слова. Рядом заранее надписанные конверты с адресами: один — редактору газеты, второй — районному начальству, третий — в министерство... «Пусть себе читают и ломают голову», — смеется Ипполит.

Вот тут и застает их Бычок... Нет, Боцо в кабинете уже нет. Ипполит сидит один, глубоко уйдя в кресло и уставившись холодным взглядом в стену. У него вид человека, честно исполнившего свой долг. Какие еще претензии к нему могут быть? Ах да, Бычок!.. Что ему нужно? Не иначе что-то случилось, просто так не пришел бы. Гордый очень! «Входи!» — окликает он мальчика.

Бычок входит, мнетя у дверей. Ипполит окидывает его изучающим взглядом — сильный, крепкий парень. Такой, пожалуй, и его положит на лопатки, впрочем, что за чушь лезет в голову... Крепкий-то крепкий, да умом не вышел. Где ему тягаться с Ипполитом?!

— Хочешь? — Ипполит протягивает мальчику карамельку.

Лицо Бычка морщится в брезгливой гримасе — «Нет!»

— Садись! — показывает на стул Ипполит. Потом встает, делает несколько шагов, останавливается за спиной у Бычка, наклоняется и что-то шепчет ему на ухо...

Ипполит Квирквелия — мастер нашептывать. Таковую сеть сплетет, что не выберешься, и все шепотком, шепотком. От его шепота кружится голова, клонит ко сну, но заснешь — можешь и не проснуться...

Я в это время продолжаю спускаться по тропинке со скалы. Радость победы постепенно ослабевает. Впервые приходит в голову, что радость приносит не столько сама победа, сколько борьба, а достижение цели влечет за собой усталость и какую-то странную пустоту...

А внизу, у подножия скалы, беснуются ребята. Мое единоборство с Верасулой для них — зрелище, чуть ли не цирковое, переходящее в праздник, во всенародное



ликование. Они прыгают, орут, тузят друг друга, ходят на руках, валяются в приступе смеха на ^{землю,} девочки визжат, хлопают в ладоши...

А я продолжаю спускаться по лесистому склону, и спуску этому что-то конца не видно. По моим расчетам я давно уже должен был достичь окраины деревни. Те холмики, которые я прошел, лежат на границе между горой и долиной, и, откуда бы ни спускаться, тропинка должна вывести меня к Хрустальному ручью. И все же в мою душу закрадывается подозрение, что я умудрился сбиться с пути. Стоп, главное — не поддаваться страху, не думать о том, что из молчащего леса вдруг появится некое, рожденное моим воображением, чудовище, подстерегающее заблудившихся в лесу детей. Может, позвать Большого Никанора? Чтобы он ободрил меня, похвалил за храбрость? Впрочем, какая уж тут храбрость, и Большой Никанор сразу смекнет в чем дело — тихонечко усмехнется в усы, неторопливо набьет трубку и с упреком скажет: «Что же ты, герой! Скала Верасула это тебе не Джомолунгма, а вожак стаи никакой не волк, а жалкий шакал из зоопарка!» И мне нечем будет крыть. И я сразу же, чтобы переменить тему, начну говорить о чем-нибудь постороннем — хотя бы о Дэви Цирдава и Цисии Девдарини. Как это они оказались вместе?

...Дэви и Цисия возвращались в детский дом как заговорщики. Даже не вспоминали о ребятах, оставшихся у подножия Верасулы. Девушка все еще не пришла в себя от пережитого унижения, ее была внутренняя дрожь, но то иступленное желание отомстить обидчику, которое охватило ее в первый момент, постепенно улетучивалось... Дэви испытывал рядом с Цисией какую-то не свойственную ему вообще и странную для тертого столичного журналиста робость. Никто не видит их, никто не поднимает на смех, и все же чувство неловкости не отпускало его. Не думать об этом, переключиться на что-либо другое, на того же Никанора Бжалава — вот уже неисчерпаемая тема для такой пары, как они с Цисией: один — журналист, искатель сенсаций (а впрочем, чем не сенсация, только представить себе — «Двенадцатилетний Никанор Бжалава покорил вершину Верасулы, считавшуюся до сих пор неприступной!» А вель застань он этого покорителя рань-

ше, до начала восхождения, надрал бы ему уши, это уж точно!), другая — пионервожатая детского дома «Радость», сама еще вчера сидевшая за партией (но сегодня она может гордиться собой и своим воспитанником, если бы не она, разве сумел бы Никанор Бжалава покорить вершину?)...

Я знаю, что они действительно говорят обо мне, как знаю и то, что за их словами кроется нечто совсем иное. И перевести их беседу совсем даже нетрудно, был бы переводчик. Вот примерно так. Он: «Цисия, девочка моя, рядом с тобой я чувствую себя стариком. Если бы я только посмел, если бы ты позволила, я бы схватил тебя на руки, прижал к груди и поднял на вершину Верасулы!» Она: «Дорогой мой, неужели ты не чувствуешь! Стоит тебе прикоснуться ко мне рукой — и я уже на вершине!»

А тропинка все никак не кончается. Такое ощущение, что за спуском снова начинается подъем. Лес то сгущается, темнеет, то светлеет, испещренный лучами солнца... Я порядком устал, силы на исходе. Хочется есть и пить. Кажется, все-таки сбился с пути, а главное — потерял счет времени...

Но, чу!.. Откуда-то доносится какой-то шлепающий звук, будто волны лениво, нехотя, хлюпаются на берег. Конечно, это волны...

Я пускаюсь бежать, и вскоре за деревьями мелькает полоса... Море!.. Немалое же расстояние я протопал! Я сбегая со склона на берег, ступни ног погружаются в теплый песок. Сажусь. Колени охватывает приятная дрожь. Прохладный ветерок обвеивает разгоряченный лоб. Медленно, с облегчением перевожу дух...

Далеко к югу, у самой кромки воды лежит громадный валун. Отсюда он кажется крохотным, но я узнаю «Никаноров камень», тот самый, который неизменно и непоколебимо стоит на страже далеких просторств...

Раздается шум мотора и вслед за ним неподалеку поднимается туча пыли. К пляжу ведет автомобильная дорога. Я подхожу поближе и вижу синюю «Ниву» Элефтера. Машина останавливается, из нее выпрыгивает Дэви Цирдава...



Я увидел Дэви, и все нарисованные моим воображением картины сразу оказались перечеркнутыми. Трудно предугадать правду. Иногда сомнительно даже то, что видел собственными глазами, а я ведь вообще распределил роли, как мне хотелось, и все, конечно, было не так... Когда я начал спускаться по тропинке, ребята, скорее всего, разошлись, а потом их загнали в классные комнаты. Бычок, вероятно, не заходил к Ипполиту, а Дэви Цирдава и Цисия Девдариани не прогуливались рядком по узкой тропинке. Дэви было не до того, он искал меня, и вот — наконец нашел...

— Как вы нашли меня, дядя Дэви?

Цирдава бухнулся на колени рядом со мной, поправил очки и взглянул на солнце.

— В твоём возрасте я очков не носил!

Так вот оно что! Он ещё с тех пор знает тут каждую тропинку.

— Обошел ты меня! — продолжил он с улыбкой. — По правде говоря, мне никогда даже в голову не приходило, что можно подняться на Верасулу с той стороны! Я ходил отсюда, с берега!

Раздался гудок машины. Дядя Элефтер, облокотившись на кузов, смотрит в нашу сторону. Значит, на клаксон нажал кто-то другой.

— Мариха! — Дэви упруго вскочил на ноги. Я тоже поднялся.

Водная гладь равномерно колыхалась. Оттуда, с далекого горизонта должен был появиться Большой Никанор. Я никому не говорил об этом. Зачем? Все равно никто, кроме меня, его не увидит. Дядя Элефтер протянул мне руку. Я посмотрел ему в лицо и удивился. Что-то в нём неуловимо изменилось. Нет, в глазах по-прежнему застыла печаль, но в уголках губ теперь таится улыбка. И лицо сразу стало другим, как бы осветилось изнутри. Я протянул руку, и он крепко стиснул её, будто без слов поблагодарил за что-то.

Из машины высунулась голова Марихи. Она весело засмеялась, обнажив мелкие, как у мышонка, зубы.

Мы расселись, и машина тронулась с места. Ехали медленно. Мариха болтала без умолку, все рассказывала нам о каких-то своих важных ребячьих делах.



Но вскоре ее щебетанье стало перемежаться паузами, и, убаюканная неровными дерганьями «Нивы», она уснула.

Когда мы остановились у ворот «Радости», было еще светло, хотя весь двор уже накрылся тенью.

Дядя Элефтер выключил мотор, и стало тихо-тихо.

Мы не торопились выходить из машины. Элефтер, облокотившись на руль, смотрел прямо перед собой.

Дэви Цирдава легко коснулся головы Марихи: «Как крепко спит! Набегалась! — потом, взглянув на Элефтера, тронул его за плечо: — Элефтер, если хочешь знать мое мнение, — не торопись! Я ведь знаю, что в глубине души ни ты, ни Мавра еще ничего не решили, сомневаетесь... Так послушай меня, пока оставьте девочку в покое!»

Элефтер тяжело вздохнул, медленно вылез из машины и выпустил нас. Дэви обошел машину, открыл переднюю дверцу, взял на руки спящую Мариху. Мы шли к корпусу и спиной чувствовали взгляд дяди Элефтера. Потом раздался звук включенного мотора.


Дэви прижимал девочку к себе, и, чтобы не споткнуться, ступал осторожно, с неловкостью мужчины, который никогда не был отцом. Такой с легкостью таскает тяжеленные ящики или мешки, но страшится взять в руки маленькое существо. — вроде и стыдится своей новой роли, но и не скрывает, что она ему приятна...

На крыльцо первого корпуса высыпала стайка девочек.

— Ой! — воскликнула Шовна Чартолани при виде нас и подбежала к Дэви: — Дайте я понесу.

— Дайте ее нам! — подхватила Пунтуша Цкипуришвили.

Дэви заколебался, но затем решительно протянул Мариху Мимозе Кация. Девочка стояла у лестницы молча и широко раскрытыми глазами наблюдала за происходящим. Теперь лицо ее зарделось, а губы стали прямо-таки пунцовыми, как будто их намазали помадой. В этот миг Мимоза была такой привлекательной, что я аж испугался — а вдруг Дэви что-то почувствовал? Иначе с чего бы ему из всех девчонок выбирать именно Мимозу? Она ведь его ни о чем не просила, а он, обойдя более смелых девчонок, протянул спящую Мариху именно ей. Мимоза, не поднимая глаз,



приняла ребенка. При этом лицо ее запылало еще пуще. Повернувшись, чтобы войти в дом, Мимоза чутко летела на Бычка — бывший вожак распавшейся стаи как раз выходил из дверей. Возникло замешательство. Не знаю, что подумал Бычок, лицо его все еще сохраняло обычное — отчужденное и замкнутое — выражение. Окинув взглядом девчонок, Бычок заметил нас с Дэви, на лице промелькнула досада, смешанная с чем-то еще. Казалось, он готов был разорвать меня, но его остановило присутствие Мимозы. Девочка мигом оценила ситуацию и — вот уж чего не ожидал от этого робкого, всегда молчаливого существа! — вдруг обратилась к Бычку капризным, властным и в то же время ласковым тоном взрослой женщины: «Возьми-ка, а то руки отваливаются!» И буквально всучила Мариху ошарашенному Бычку, который безропотно принял пощу. Меня вдруг охватил страх. Я чуть не закричал и инстинктивно вытянул руки вперед. На мгновение показалось, что ослепленный ненавистью Бычок сейчас бросит ребенка на землю...

Лицо Бычка выражало сложную гамму чувств. Он побледнел, подбородок у него задрожал, плечи опустились, будто в руках у него была какая-то страшная тяжесть. Потом повернулся и пошел в дом, ступая так осторожно, словно боялся разбить свою драгоценную ношу. Напуганная собственной смелостью, Мимоза пошла следом со все еще протянутой вперед рукой, как будто была не в силах разорвать связавшую их с Бычком невидимую нить.

Все это заняло считанные секунды, а мне казалось, что прошла вечность. В ушах у меня звенело, хотя все произошло почти без слов. Я огляделся и с удивлением обнаружил, что у входа в дом нас осталось только двое — я и Дэви Цирдава. Он взял меня за подбородок, внимательно оглядел через очки своими умными глазами, и я почувствовал, что мне никуда не деться от этого пронизательного взгляда. Дэви видит меня насквозь. Он ничего не сказал, да слова были и не нужны. «Не расстраивайся, дорогой мой Никанор!.. Не мы с тобой, а Мимоза Кация усмирила неустрашимого вожака стаи!» — вот что прочел я в глазах Дэви.



— Погоди, — окликнула Мимоза Бычка. Быстрыми движениями подтянула одеяло, оправила простыню, взбила подушку. Потом сняла с ног Марихи сандалии — так ловко и осторожно, что девочка даже не пошевелилась.

Бычок осторожно опустил Мариху на кровать.

— Гия, помоги мне снять с нее платье!

«Гия!» — Давно его никто так не называл, он и сам почти забыл собственное имя.

Навязанная ему роль няньки тяготила Бычка, он испытывал неловкость, но в то же время и какую-то непонятную ему самому радость — от того, что может продемонстрировать этой хрупкой слабенькой девочке свою силу и ловкость.

Мимоза стянула с Марихи платьице, одернула рубашку, заботливо прикрыв мягкий белый животик, накрыла ее одеялом и выпрямилась.

Только теперь она в первый раз взглянула на своего помощника и вдруг почувствовала, что силы покидают ее, словно до сих пор источником их служила маленькая Мариха. Лицо ее залилось краской.

— Чего ты краснеешь! — грубовато бросил ей Бычок, хотя и сам чувствовал себя неловко.

— Не знаю, — едва выдавила Мимоза и сделала шаг по направлению к двери. Бычок преградил ей дорогу. Не специально, нет! Просто он тоже сделал шаг в сторону. И оказался у нее на пути. Не собирался он пугать девочку, очень нужно! Но Мимоза содрогнулась всем телом, и Бычок впервые в жизни испытал что-то похожее на жалость.

— Боишься?

Мимоза подняла глаза. Они быстро наполнились слезами. Выражение их было такое, словно она хотела сказать — что ты пристал ко мне? Что вам всем от меня надо? Но в глазах Бычка ей почудилось сочувствие, и Мимоза сразу успокоилась, хотя руки продолжали дрожать, и она тщетно пыталась скрыть это.

— Нет! — Ответ явно запоздал.

— Правда не боишься?

— Нет! — с сомнением повторила Мимоза и внезапно добавила: — Только зачем ты обидел Цисию?

— Меня тоже обидели! — Лицо у Бычка окамене-
ло. — А я никому не позволю смеяться над собой! Ни-
кому, поняла?

Он быстро пошел к дверям, но, еще не открывших,
обернулся, и в глазах его Мимоза снова увидела тепло.

— Если тебя кто обидит, ты скажи... — и он так
взмахнул рукой, что стало ясно — обидчику не подо-
рвится.

В коридоре было пусто. Видно, дети ужинали.

Бычок гордо выступал впереди. Мимоза покорно
следовала за ним и все не могла понять — страшно ей
или нет? В еще округлых по-мальчишечьи плечах и
крепких руках Бычка чувствовалась сила.

Он остановился и снова заговорил о том же:

— Пионервожатая сама виновата! Чего она вя-
жется ко мне? Голову продырявила своими наставле-
ниями! — Это уже было похоже на самооправдание и,
обозлившись на себя, Бычок хвастливо заявил: — Я
сам могу поучить кого угодно. Со мной взрослые люди
советуются! Вон Ипполит Квирквелия...

— Кто?! — вырвалось у Мимозы. До сих пор она
стояла с опущенной головой и слушала Бычка молча,
только ковыряла ногтем рисунок на обоях. Всею ду-
шой она была на стороне Цисии, но сказать об этом
вслух не осмеливалась. Свет бил Бычку в спину, лицо
было затенено, и Мимоза не могла разобрать его вы-
ражение. Но теперь, преодолев застенчивость и страх,
она брезгливо произнесла: — Так вот ты, оказывается,
какой! Против Цисии и заодно с Ипполитом?!

У Бычка упало сердце. В голосе Мимозы он услы-
шал горечь, причины которой понять не мог, но тем не
менее почувствовал себя оскорбленным. В другое вре-
мя эта пигалица и пикнуть бы не посмела, от одного
его взгляда душа бы в пятки ушла, а теперь смотри
на нее... Но одновременно Бычок ощутил, что в слабос-
ти девочки таится какая-то скрытая сила, которую ему
не одолеть. Тут кулаками не поможешь. И Бычок по-
давил в себе оскорбленное чувство.

Он принужденно усмехнулся, но сделал вид, что
не понял, почему Мимоза противопоставила Цисию Ип-
политу.

И тогда Мимоза впервые в жизни произнесла це-
лую речь. Выложила ему все, что накипело на душе.

Более того — неожиданно для себя рассказала всю свою историю. Бычок слушал исповедь девочки и чувствовал, что у него холодеет внутри все больше и больше, пока сердце не превратилось в ледяной ком.

Мимоза замолчала. Положила руку на грудь. Откуда-то издали подкралась глухая боль и внезапно стиснула сердце. Лицо горько скривилось. Ей хотелось попросить о помощи, но стыд не давал поднять глаза, и она лишь молча прислонилась лбом к стенке.

Ее душило отвращение.

Бычка тянуло погладить ее по голове, приласкать, успокоить, но он не посмел. Вместо этого он бросился к двери, выскочил во двор и только там глубоко перевел дыхание.

Из столовой доносились ребячьи голоса. Но ему теперь кусок не полез бы в горло. Он посмотрел в сторону верулавовского дома. И во взгляде у него было такое, что удивительно было, как только тот не загорелся.

Никого не хотелось видеть. Бесшумно ступая, Бычок двинулся вдоль забора и, дойдя до раскидистой магнолии, вскарабкался на дерево.

Там у него была на примете ветка, откуда его не могли заметить, зато у него все было как на ладони — двор, дорога, ворота верулавовского дома.

Во двор высыпали отужинавшие дети, и Бычок почувствовал, как у него от голода свело желудок. Среди ребят он заметил Прыща. Тот вертел головой во все стороны, явно обеспокоенный его отсутствием, — где ему было понять, что человек может добровольно отказаться от ужина или просто забыть о нем! Потом Прыщ заметил среди девчонок Пунтушу и, видно, сразу забыв о нем, начал прохаживаться возле нее. А Пунтуша, распустив павлиний хвост, принялась оживленно что-то рассказывать товаркам. Те дружно захихикали, исподтишка поглядывая на Прыща, — видимо, потешались над неудачливым воздыхателем.

Чуть подалее что-то выясняли между собой Цицино Кордзахия и Губошлеп. Вдруг девочка, видно, разозлившись, ущипнула собеседника за руку. Тот вскинулся — не заметил ли кто, но, убедившись, что нет, успокоился.

Куцна Чедия стоял, подняв свой маленький носик

вверх, будто нюхал воздух. Бычок насторожился, — уж не его ли унюхал Куцна, но потом увидел, как Чипо Квирикадзе вытащил из кармана бутерброд с колбасой, и понял — вот к чему принюхивался Куцна.

Раззява и Паата Кецбая приставали к Шукри Цецхладзе, строили ему рожи, дергали за рубашку. Раньше Бычок и внимания бы не обратил на это, а сейчас вдруг подумал — ну, погодите, вот слезу, дам вам жару!

Судя по всему, члены стаи даже не вспоминали своего развенчанного и низложенного вожака, и Бычок в душе карал их за предательство — каждого по заслугам.

Вдруг он услышал плач. Это Манана Читая, которую дернул за косы Гугули Джикия. Большой Важика замахнулся на него, но тот не стал дожидаться справедливого возмездия и быстренько ретировался, перемахнув через забор.

Сестры Цкипуришвили устроились как раз под магнолией. Сверху Бычку их не было видно, только слышен шепот. Вдруг Жужуна и Дудуна громко рассмеялись. Это Бичико строгим голосом окликнул Пунтушу и, когда та, переваливаясь как утка, приблизилась, недовольно спросил:

— Ты чего ржешь, как лошадь?

— Перед женихом выламывается, — пискнула из-за чьей-то спины Нанули...

Вскоре девчонки, как понял из их разговоров Бычок, отправились в музыкальный класс. Оттуда слышались звуки раздолбанного пианино, на котором играла, наверное, Цуцу Маргания, и голоса. Это Циру, Пепела и Нани в лад и с душой пели о любви, измене и безвременной смерти.

В уголке у забора примостилась маленькая Мокона. К ней сразу же подбежал Цкипурта, пихнул ее — подвинься! Мало ему места в целом дворе.

— Дети, «Спокойной ночи!» — крикнула Татьяна Каличава, и малыши, побросав свои дела, дружно устремились к телевизору смотреть передачу. За ними потянулись остальные. Двор опустел.

Из столовой вышла Варвара с огромной сумкой в руках и с виноватым видом огляделась по сторонам.

С заднего двора к ней уже поспешал Бондо Чахнакия. Поравнявшись с женой, он взял у нее сумку.

В кухне погас свет. В темном проеме дверей возникло шевеление, и появилась чья-то фигура. Приглядевшись, Бычок узнал Писти Кардава. На ней болтался длиннющий халат, руки были засунуты в карманы, и по какому-то неестественному напряжению тела Бычок догадался, что под халатом Писти что-то тащит, при этом тяжеленное.

На дороге показалась Агати Эджибия. Она шла медленно, опираясь на палку. Выбившиеся из-под косынки волосы серебрились в темноте.

Зазвенел звонок, и вскоре шум переместился в спальни.

Быстрым шагом прошла Татьяна Каличава. У ворот ее ожидал муж.

Вслед за ней к воротам потянулись и остальные. Вардико Чкванави и Чито Хухуа с ворчаньем заперли за сотрудниками ворота. «Интересно, чего это они разворчались!» — подумал Бычок.

В доме Верулава свет еще не погас. Чего им не спится!

Из двери выглянул Прыщ, внимательно оглядел двор, тихонечко позвал: «Гия!» Бычок не ответил. Прыщ подошел к забору, оправился и пошел назад. Дом постепенно затих. Сначала оттуда еще доносились отдельные голоса, но потом смолкли и они. Стало совсем темно, только в ветвях магнолии изредка мелькали какие-то причудливые блики.

В окнах Верулава все еще горел свет и иногда мелькала тень, как будто кто-то ходил по комнате взад и вперед.

У Бычка занемела вся нижняя половина тела, — сидеть было тяжело, он совсем уже приготовился покинуть свой сторожевой пост, но в это время в окне Цисии Девдариани вспыхнул свет.

«Не спит!» — подумал Бычок и почувствовал, как снова запылала щека, по которой его ударила Цисия.

Девушка распахнула окно и села на подоконник. Свет бил ей в спину, и, хотя до окна было довольно далеко, по каким-то неуловимым признакам Бычок догадался, что она плачет.

«Так ей и надо!» — с привычным злорадством по-

думал он, но в душе шевельнулось какое-то беспокойство.

Как она сказала? Против Цисии и заодно с Ипполитом?! Да еще каким тоном! Как будто перед ней не он, Гия Хатнашвили, а слизняк какой-нибудь... Впрочем, если уж говорить начистоту, что плохого сделала ему Цисия Девдариани? Вот сидит себе и тихонечко, почти беззвучно, плачет. И ведь никому не пожаловалась... А какое у нее тогда было лицо!.. Жалкое, молящее... Наверное, думала — не будь я сиротой, небось, не посмел бы, а так некому защитить!

Сирота, сирота... Слово застряло в голове, и он уже не мог от него отвязаться. Ведь и Мимоза Качия сирота, потому и посмел этот грязный насильник... Будь у нее отец или старший брат, они бы убили его за такое... Бычок задохнулся от ненависти...

Цисия слезла с подоконника, выглянула во двор — будто почувствовала, что за ней наблюдают. Потом быстро, пугливо закрыла окно, и свет в комнате погас.

Теперь освещенными остались только окна Верулава. Бычок осторожно спустился с дерева. Прилег на стоящую под магнолией скамейку. Крона дерева закрывала небо, и не видно было, есть ли на нем звезды.

Он и не заметил, как провалился в сон. Спал крепко, без сновидений и проснулся только от предутренней свежести.

Легкий туман рассеивался, с листьев изредка со стуком срывались капли росы. Бычок почувствовал, что продрог...

В окнах Верулава все еще горел свет. «Интересно, что там происходит?» — подумал он.

А что происходит с ним самим? Бычок взглянул на окна девчачьей спальни, подернутые прохладным серебристым отсветом раннего утра. Почему из головы не идет Мимоза Качия? Вот и сейчас — представил себе, как она спит, свернувшись калачиком, — и мороз пошел по коже.

Заскрипела калитка. Во двор вошла Медико Самушиа. Судорожно зевнула. Звякнула ключами, отпирая кухонную дверь. «Интересно, что будет на завтрак, то же, что и всегда? Хлеб с повидлом, чай и «кот наплакал?»» — беззлобно подумал Бычок.

Вскоре, запыхавшись, вошел Бондо Чахнакия и

сразу направился на задний двор — наверное, кормить скотину.

Почти следом появился Боцо Какулия — в спортивных рейтузах и ботасах, на голове, как всегда, шапочка домашней вязки. Дойдя до порога, Боцо вдруг остановился, осторожно огляделся, но, не заметив ничего подозрительного, на цыпочках подобрался к окну Дэви Цирдава и попытался заглянуть в комнату. Окно было довольно высоко, и Боцо, чтобы дотянуться, встал на носки, но все равно не достал до рамы. Досадливо махнув рукой и согнувшись в три погибели, он вернулся к крыльцу и только там выпрямился во весь рост. «Интересно!» — заинтригованно подумал Бычок и решил, что разумнее снова взобраться на магнолию.

Во двор вошла Писти Қардава — все в том же своем засаленном балахоне, как будто не снимала его со вчерашнего дня, только полы на этот раз свободно болтались, приоткрывая тощие раскоряченные ноги.

Вскоре появились и остальные сотрудники. Қалитка беспрестанно хлопала, как будто входящие пытались сорвать на ней зло за то, что надо начинать новый день...

Из первого корпуса раздались удары палкой по железу — это Агати Эджибия колотила по прутьям кроватей, чтобы вытащить из постелей не в меру заспавшихся ребят.

Потом Боцо Какулия засвистел в свой свисток и во двор выскочили охотники до утренней гимнастики. Их было не так и много, энтузиастов физической культуры. Остальные, лентяи, предпочитали набираться здоровья глазючи из окон. Судя по всему, многие вообще еще досыпали и разбудить их мог разве что звонок, призывающий в столовую.

Двор наполнился шумом и гвалтом. Тогда на крыльце дома Верулава появился Ипполит Қвирквелия. На нем был новый, с иголочки, костюм, строгий, приличествующий должностному лицу галстук. Волосы, по-видимому, были набриолинены, так как голова масляно поблескивала на солнце. Уверенным, хозяйским взглядом он окинул «Радость» и, убедившись, что все в порядке, заложил руки за спину и двинулся к воротам неторопливой, исполненной чувства собственной значимости, поступью. Выйдя на дорогу, он подождал

подходивших Амбако Цомая и Мравалу Папаскири, и дальше они пошли втроем. Амбако, оживленно жестикулируя, что-то рассказывал, лицо у Мравалы было спокойным и умиротворенным.

У калитки они замешкались, пропустили вперед Мравалу. Потом Ипполит, сделав широкий жест, пропустил вперед себя и Амбако. Бычок быстро соскользнул с дерева. Никто не обратил на него внимания. Троица неторопливо прошествовала мимо. Он уловил обрывок разговора. «Вчера не спали всю ночь!» — говорил Ипполит. Впрочем, по нему этого не скажешь, как и того, что чем-то озабочен. Амбако в ответ на фразу Ипполита сочувственно заохал, Мравала сделала печальное лицо, но ничего не сказала.

Бычок вдруг почувствовал, что его опять душит злость. Именно она заставила его просидеть всю ночь на дереве, под открытым небом. Он вспомнил тихую исповедь Мимозы Кация, и сердце у него чуть не разорвалось.

— Ипполит! — громко позвал он. Голос прозвучал неожиданно резко и всполошил всех. Троица остановилась как вкопанная. Боцо Какулия как стоял с поднятыми руками, так и застыл. Шеренга ребят смешалась и произвольно, словно под влиянием магнитного поля, сдвинулась в сторону Бычка.

Амбако неловко потоптался на месте. Мравала, будто она и вправду отлита из льда, всем телом повернулась на голос и теперь смотрела холодно и надменно.

Ипполит стоял растерянный, потирал руки. Очень уж неожиданно прозвучал окрик — не «уважаемый», не «батано», даже не «дядя», а коротко и грозно — «Ипполит!» Что скрывалось за ним? Элементарная невоспитанность пацана, который сейчас смотрит на него так непримиримо, или что-то более серьезное? Если б знать... тогда и ответить можно достойно... Но сознание на мгновение отключилось, и в голову ничего не приходило.

А Бычок тем временем оторвался от ствола магнолии, разбежался... и — никто опомниться не успел — головой изо всей силы боднул Ипполита прямо в нос. Последовал странный хлюпающий звук, будто лопнул воздушный шар. Из носа хлынула кровь, и Ипполит брякнулся на землю. Не дав ему прийти в себя, Бычок

уселся на него верхом, схватил за галстук и сдавил Ипполиту шею.

— Убил! — пронзительно закричала с крыльца Вардико Чкванавა.

Амбако и Мравала попытались оттащить Бычка, но рука, державшая Ипполита за горло, была так напряжена, что они не могли ухватить ее.

— Помогите, люди, задушит ведь! — от испуга у Мравалы изменился голос, теперь в нем не было и следа былой надменности, лед вмиг растаял. На крик из окна выглянул Дэви Цирдава. Мгновенно оценив ситуацию, он спрыгнул вниз, в два прыжка оказался рядом с Бычком и, схватив его за плечи, оторвал от Ипполита.

Отпустив свою жертву, Бычок повернулся, готовый наброситься на Дэви, но где ему было опередить знающего множество приемов противника? Молниеносным движением Дэви бросил Бычка на землю, лицом вниз, и скрутил ему руки за спиной...

Тем временем Ипполита заботливо поставили на ноги, лицо и грудь у него были залиты кровью, из глаз текли слезы.

Молча он оперся на руку Амбако, и тот бережно повел его к умывальнику.

— Пусти! — тихо произнес Бычок. В его голосе уже не было злости. Цирдава поднял Бычка с земли, потом отпустил его и укоризненно покачал головой...

* * *

В ту ночь Дианозу снова стало худо... В последние дни появилась была надежда на улучшение, даже речь стала более внятной. Казалось, выкарабкался! К нему даже начали допускать посетителей, единственно Элико просила не заводить разговор о «Радости», во всяком случае не сообщать неприятных новостей. Поэтому, если речь об этом все же заходила, гости с натужным оптимизмом говорили Дианозу, как его ждут в детдоме, вот, мол, встанете на ноги и дела пойдут по-прежнему. «Эх, какие уж тут дела, — горестно вздыхал в ответ Дианоз. — Теперь у меня только и дел, что ковылять с палочкой или сидеть в тенечке и точить лясы».

Элико не отходила от отца ни днем, ни ночью. Забросила работу, забыла себя. Словно только сейчас поняла, что может потерять его. Она постоянно думала о том, когда и в чем провинилась перед ним, и жестоко казнилась. Ей казалось, что это она, не кто-нибудь, а именно она, единственная дочь, довела отца до такого состояния. Чувство вины не покидало Элико ни на минуту, она осунулась, лицо пожелтело, и по виду ее самое можно было принять за больную. Отец с дочерью заключили молчаливое соглашение — не говорить о случившемся. Дианоз не упрекал дочь, а она тоже старалась избегать щекотливых воспоминаний. Единственное, о чем с твердостью попросил Дианоз, — это не пускать в комнату «его». Элико не стала изворачиваться и прямо сказала о просьбе отца Ипполиту — он-де нервничает, когда видит тебя, поэтому не показывайся ему на глаза, будто тебя и нет в доме. Ипполит заскрежетал зубами, но проглотил оскорбление. Больше всего его выводило из себя то, что чаще других тестя навещал Дэви Цирдава. Он обычно усаживался у изголовья, и они с Дианозом долго и увлеченно о чем-то шептались. При этом Дианоз не выказывал признаков утомления, а Дэви, казалось, не надоедало болтать со стариком. Это не могло укрыться и от Элико. В последнее время она как-то отошла от мужа, ни о чем не советовалась с ним, почти не разговаривала, и Ипполит был вне себя от досады. Ему казалось, что дело не в болезни Дианоза, а в чем-то ином. Все этот ненавистный пришелец, из-за которого Элико окончательно охладела к нему.

Ипполит был не так уж и далек от истины. При виде Дэви Цирдава Элико каждый раз испытывала смутное сожаление, острее ощущала свое несчастье. Пока гость сидел у Дианоза, она обычно лежала в своей комнате, уткнувшись в подушку, и давилась рыданиями. Раньше Элико никогда не плакала, даже когда для этого бывал повод — казалось, слезы натываются на какую-то невидимую преграду. А теперь плотину прорвало, и слезы текли сами собой, без всяких усилий. Элико не хотелось показывать свою слабость, и она старалась не попадаться Дэви на глаза. После слез ей становилось легче, словно с ними вытекало горе, голова прояснялась и, поднявшись с постели, она

уже не ощущала ненависти ни к кому, даже к Ипполиту...

Цирдава ничего не знал об этих метаниях от любви к ненависти. Элико по-прежнему представлялась ему женщиной спокойной, уравновешенной, невозмутимой. Правда, за последнее время у нее прибавилось морщин, она подурнела, но это все от усталости и недосыпания. Элико была гда-то далеко, замкнулась, ушла в себя, и Цирдава не видел ее истинной сущности. Если раньше он мог позволить себе по отношению к ней ни к чему не обязывающую ласку, то теперь между ними возникла стена. Он словно оглох, не слышал, что она безмолвно взывает к нему... И этот зов души бесплодно растворялся в пространстве.

А потом... В ту ночь Дианозу опять стало плохо. Мавра и на этот раз опередила скорую помощь. Врач подтвердил ее слова — больного нельзя трогать с места — и пообещал справляться о его состоянии каждые два часа.

Всю ночь Элико не смыкала глаз. Всю ночь в доме Верулава горел свет. Элико сидела у изголовья Дианоза и держала его большую, костистую руку в своей, исхудавшей, с бледной кожей. Дианоз дышал с присвистом, грудь его тяжело подымалась и опускалась в такт дыханию. Говорить он не мог. Время от времени рука его слегка напрягалась, как бы давая знать, что он еще жив, и понимает, как тяжело дочери.

К горлу Элико подступали слезы, она с усилием сглатывала их, боясь всхлипнуть вслух, и начинала нашептывать отцу всякие ласковые слова, будто успокаивая малого ребенка. Воспринимал ли Дианоз эти слова? Может, и да. А если так, то они должны были ложиться ему на сердце целительным бальзамом и напоминать то далекое время, когда его связывали с дочерью прочные, казалось, нерасторжимые узы безмолвной, не нуждающейся во внешнем выражении любви. И, может быть, Дианоз был даже благодарен своей болезни, позволившей ему снова ощутить ласку и заботу дочери, потому и не жаловался на судьбу, потому и молчал, чтобы не нарушить словом это хрупкое, так трудно доставшееся обоим единение...

В смежной комнате дремал Ипполит. Он устал от всего этого — от отчужденности Элико, от немого упре-

ка в глазах тестя, который ощущался даже на расстоянии, от собственной досады и бессилия. Скорей бы все кончилось! Скорей бы старик развязал ему руки, ибо само существование Дианоза — каждый раз по-разному — убеждало его в собственной ничтожности... Так с радостью и болью приближалась великая ночь Дианоза.

* * *

Мавра проснулась на заре.

— Не спишь, старик?

Элефтер не спал. Он лежал на спине, заложив руки за голову и уставившись в потолок. Вопрос Мавры остался без ответа. Элефтер лишь взглянул на нее и снова уставился в потолок.

Так продолжалось долго. Наконец Элефтер кашлянул, прочищая горло, и неловко спросил:

— Как ты думаешь, отпустят со мной сегодня девочку?

— Ты что, сдурел? Тебе ведь на работу!

— Возьму ее с собой. Будет сидеть в кабине!

В голосе Элефтера чувствовалось колебание. Мавра села на постели, пригладила сбившиеся со сна седые волосы.

— Элефтер, нечего вилять! Скажи мне прямо — чего ты добиваешься?

Элефтер вздохнул. Долго лежал молча. Мавра даже подумала, что он не расслышал вопроса, — глуховат стал с возрастом. Но он неожиданно заговорил:

— Я и сам не знаю, Мавра! Ночи не сплю! Боязно мне. Эта девчушка подобралась ко мне оттуда, откуда я и помыслить не мог. Подкралась и не уходит, борется со мной, хочет отнять то, что я так долго лелеял в душе...

Мавра посмотрела на него с удивлением. С криком опустила ноги с кровати, нащупала шлепанцы.

Она искала нужные слова. Боялась сказать лишнее, погубить проросший в сердце мужа росток.

— Мариха — хорошая девочка! — наконец как-то даже мечтательно произнесла она и, уже выходя из комнаты, добавила: — Борется, говоришь? Это малый-то, простодушный ребенок?

Элефтер не ответил, хотя ответ вертелся на языке: «Малый да простодушный? В этом-то и вся ее сила».

Но вслух он этого не произнес. И неожиданно для самого себя решил: «К черту, все, хватит! Разнюнился! Теперь буду объезжать «Радость» за версту!»

Но за версту не получилось. Не сумел сладить со своим сердцем. В первый же рейс, когда на станции в кузов загрузили два огромных контейнера, Элефтер, вместо того чтобы ехать на базу, вдруг свернул к детскому дому, и вскоре остановил свой тяжеловесный «КрАЗ» у самых ворот

Завтрак, видно, уже закончился, и ребятишки носились по двору. Долго ждать Элефтеру не пришлось. От стайки малышей отделилась Мариша. Сначала она двигалась мелкими шажками, робко, будто сомневалась, действительно ли он приехал именно к ней. Элефтер заулыбался и приветственно замахал рукой. И тогда девочка бросилась к нему сломя голову. Споткнулась, еле удержалась на ногах. Элефтер почувствовал, что ставшее вдруг огромным, с Маришу, сердце куда-то проваливается.

Бросившаяся за Маришой Ксения Салакая нагнала ее у ворот и тут узнала Элефтера.

— Извините, батона Элефтер! Не признала сразу, да и не мудрено — голова кругом идет...

— Отпусти девочку со мной, Ксения! Я ее немножко покатаю и к обеду привезу назад!

Мариша, не дожидаясь согласия воспитательницы, попыталась вскарабкаться в кабину, но подножка была слишком высока для нее. Элефтер подхватил ее на руки и посадил за руль.

Ксения, будто проглотив от удивления язык, с опозданием молча кивнула головой. Только когда Элефтер взобрался в кабину и посадил Маришу к себе на колени, она пришла в себя:

— Смотри, Элефтер, ребенок ведь не игрушка!

Элефтер помрачнел.

— Ладно тебе, Ксения, ты меня знаешь!

— То-то что знаю, поэтому и говорю! Ты ее, конечно, не потеряешь по дороге, да разве я об этом — у ребенка появится надежда... Теперь она свыклась со своей судьбой, а вот тогда будет худо!

Мариха целиком была занята рулем. Понимала ли она, о чем говорит Ксения? Во всяком случае, она нажала на клаксон и, когда раздался гудок, капризно произнесла: «Поехали!»

Элефтер осторожно снял ее с колен и усадил рядом. Так ничего и не ответив Ксении, он тронул «КрАЗ» с места.

Мариха прижалась к нему светлой курчавой головкой, а руку положила на переключатель скорости. Элефтер накрыл эту хрупкую ручку своей. Боясь сделать девочке больно, он все же не решался сказать, что она мешает ему.

От волос девочки почему-то тонко пахло самшитом, и Элефтеру вдруг захотелось зарыться в них лицом...

Девочка щебетала не умолкая. Элефтер не вникал в смысл ее слов, а лишь вслушивался в звучание голоса... Этот голос убаюкивал его, как журчание ручейка.

На базе, пока машину разгружали, он заскочил в контору, чтобы оформить путевой лист. Мариха увязалась за ним. Женщина-диспетчер, работавшая здесь недавно, простодушно спросила:

— Внучка? Похожа на вас, ну, просто вылитая!

У Элефтера в горле встал ком. Даже не взглянув на бумажку, он невнятно поблагодарил женщину и чуть не бегом бросился к выходу. Выйдя из конторы, он глубоко вдохнул воздух и тяжело опустился на ступеньку.

— Май-на!.. Ви-ра! — кричали грузчики. Подъемный кран жужжал. Машина непрерывно сигналила. Элефтер узнал свой «КрАЗ» и поглядел в ту сторону. Кто-то из шоферов — он не разглядел кто — подогнал свою машину к самому «КрАЗу» и теперь сигналил, давая знать, что пора освободить место.

Мариха подергала его за рукав.

— У тебя что-нибудь болит?

Он не понял, о чем она спрашивала, схватил девочку за руку и потащил к машине. Отъехал из-под крана и стал в тень. Повернул зеркальце к себе, внимательно, будто изучая, взгляделся в свое отражение. Потом посмотрел на Мариху — «Неужели и

впрямь похожа?» Нет, никакого сходства он не уловил, но так хотелось, чтобы оно было.

Мариха хихикнула и, будто угадав его мысли, прошептала пальчиком по его лицу:

— Один нос, один рот, два глаза. Совсем как у меня!

С крыльца конторы кто-то грубо крикнул:

— Эй, дядя, чего ты стоишь дожидаться?

Даже не взглянув в ту сторону, Элефтер завел машину и тронул ее с места. Работать не хотелось.

— Кушать хочешь? — спросил он Мариху. Та отрицательно помотала головой. — Мороженого не хочешь?

У девочки заблестели глаза.

Он остановил машину на станции, у павильона с мороженым. Продавщица протянула ему бумажный стаканчик с тонкой палочкой и, отсчитывая сдачу, улыбнулась: — Внучка?

Элефтер кивнул.

— В деда пошла! — заключила продавщица. Элефтер вдруг ощутил слабость в коленях. Опустился на скамейку и стал ждать, пока Мариха справится с мороженым.

— Больше нельзя, горло простудишь! — ласково ответил он на ее немую просьбу.

Уже на обратном пути, подъезжая к «Радости», Элефтер запинаясь спросил:

— Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?

Мариха посмотрела на него долгим взглядом.

— Кем? Я хочу быть мамой!

Элефтер опешил. «Я хочу быть мамой!» — звучало у него в ушах всю оставшуюся дорогу. Он снова и снова прокручивал в уме слова диспетчерши и продавщицы, словно это был документ о сходстве, удостоверенный печатью. У ворот он ссадил Мариху с машины, и, пока она бежала вприпрыжку к Ксении Салакая, не сводил с нее глаз. Потом поехал домой — надо было поесть. Мавра уже, должно быть, дома... Вымыв руки под краном во дворе, Элефтер молча подсел к столу. Мавра поставила перед ним остатки вчерашнего обеда, свежий приготовить не успела. Села напротив мужа и умолкла. Элефтер жевал без всякого аппетита,

потом бросил вилку, вытер руки полотенцем, налил себе воды из холодильника и неожиданно спросил:

— Как там дети у вас обедают?

Занятая своими мыслями, Мавра ответила невнятно:

— Дианозу очень плохо! Вряд ли долго протянет!

Повисло долгое молчание. Скрестив руки на груди, Мавра всматривалась в лицо мужа, словно ждала, что он скажет что-то очень важное. Элефтер барабанил пальцами по столу. Потом поднял голову и тяжело произнес:

— Нам надо удочерить Мариху!

Мавра вздохнула. Она давно ждала этого и вроде должна была бы обрадоваться, но вместо радости ощутила какой-то страх... Дианоз вот-вот помрет, кто будет директором, как все повернется, неизвестно.

— Оформим ее на имя Амираана! — У Элефтера заблестели глаза. — Будет Мариха Амирановна Лагвилава!

Мавра всхлипнула, смахнула навернувшуюся слезу.

— Ты что, мать, не рада?

— Дианозу плохо, — повторила она, — а Ипполита...

Мавра хотела сказать, что Ипполита побили, но оборвала фразу на полуслове.

— Этот твой Ипполит... — Глаза у Элефтера стали холодными, и он сделал такое движение руками, будто хотел стереть Ипполита в порошок. — Бедный Дианоз...

Мавра догадалась, что он имеет в виду, — бедный не потому, что умирает, а потому, что все нажитое им достанется Ипполиту.

— Теперь там такая неразбериха начнется, что только держись. Так что иди и забирай ребенка, а документы оформим после...

* * *

В комнате было темно. Лишь слабый свет проникал снаружи через зашторенные окна.

Голова Дианоза покоилась на высокой подушке. Больной тяжело дышал. Говорить он уже не мог. Ле-



жал, уставившись в потолок. Впечатление было такое, что он ничего не видит и ничего не понимает. Но Дианоз улавливал каждый шорох. Чувствовал, что в комнате двое. У изголовья — Дэви Цирдава. Время от времени он спрашивал шепотом: «Дианоз, ты слышишь меня? Дианоз...» Да, Дианоз слышал, но ответить не мог. Иногда над ним наклонялась Элико и спрашивала то же самое: «Папочка, ты меня слышишь?..» Она с трудом сдерживала слезы, в горле стоял ком. Дианоз все слышал. Сказать ему надо было совсем немного. Дэви бы, шутливо — «Дэви, мой мальчик, вот и не понадобилось тебе строить будку для Дианоза, я освобождаю тебя от данного обещания!» А дочери — «Эли, девочка, смирись, не надрывай себе сердце!..»

— Папочка! Ты меня слышишь? У тебя что-нибудь болит? — в очередной раз спросила Элико.

Дианоз слышал, и болеть у него ничего не болело, боль давно уже куда-то ушла. Боль — это жизнь, а жить Дианозу было уже не под силу. Вдруг его обдало холодным потом. Он догадался, что это его коснулась смерть. Это хорошо... смерть несет с собой покой... У него последний раз дернулась челюсть, и он не услышал собственного голоса.

— Живите! — отчетливо произнес Дианоз, и глаза у него остались открытыми.

И привиделось Дианозу. Летит прямо на него черный всадник на черном коне. Развевается черный плащ. Там, где должна быть голова, клубится черное облако. А внутри облака насмешливо скалится смерть. Вот подлетела, обволокла его, проникла внутрь, завладела каждой клеточкой тела, этого жалкого вместилища скверны и греха.

И он почувствовал удивительную легкость, оторвался от собственной плоти, взмыл в воздух и с высоты глянул вниз. На белой постели еще трепещет крупное тело, бывшее совсем недавно им, Дианозом. Рядом с постелью Дэви Цирдава, тщетно пытающийся докричаться до него, Элико, припавшая с рыданием к телу... Но сам Дианоз уже далеко отсюда, их голоса не долетают до него. Перед ним расстилается бескрайнее белое пространство — эфир, и где-то внутри него взмахивает прозрачными крыльями некое существо — гигантская птица, что ли... Нет, не птица, это — ангел.

Вот он поворачивает к Дианозу ясный, как у младенца, лик... «Эли, Эли!» — пронзительно вскрикивает Дианоз и устремляется вслед за ангелом, в бескрайнее белое пространство — эфир...

* * *

Мимоза Кация преградила мне дорогу. Откуда только берется смелость у этой самой робкой и застенчивой из всех девчушки? Мы ведь учимся с ней в одном классе, и сколько я знаю ее, никогда не слышал и двух слов. А вот теперь... Встала на пути, щеки пылают, хотя голова опущена...

— Никанор, ты хороший парень!

Подлизывается! То, что я хороший, я и без нее знаю. Не люблю, когда вот так хвалят в лицо. За этим непременно следует просьба и, как правило, малопривлекательная.

— Никанор, ты ведь злишься на Гию, так?

Я не сразу понял, о каком Гие речь. Гию Хатнашвили давно уже никто, кроме как Бычком, не зовет.

— Он там, в лесу, голодный...

«А коли голодный, так и снеси ему поесть», — чуть не брякнул я, но вовремя придержал язык. Большой Никанор не простил бы мне этих слов. «Если ты мужчина, то должен уважать женскую слабость!» — вот что сказал бы он мне.

— Ничего, не помрет... — сухо ответил я и опять чуть не добавил: — «Для собаки голод что тетка!», но почувствовал, что этим выдам свою злость, и вместо этого крикнул в сторону столовой: — Тетя Варя!

Варвара высунулась из окна. Глаза у нее были красные. Она взглянула на меня, словно не узнавая, и жалобно произнесла:

— Он был мне как отец!

— Тетя Варя, мне нужен хлеб, сыр и «кот наплакал!»

Не отозвавшись на мою неуклюжую шутку, Варя отрезала мне хлеба, а кусок сыра вынула из собственной сумки. Нас-то не больно баловали сулгуни.

Я побежал к лесу. Сначала отыскал то место, где обычно собиралась «стая». Но Бычка там не было. Я смекнул, где его искать — в часовне. Скорее всего, на-

ше тайное укрытие давно не было для него тайной, а лучшего места, чтобы спрятаться, во всей округе не найти. На всякий случай я еще раз прочесал окрестности логова, потом углубился в лес и дошел до увитой плющом стены. Из часовни не доносилось ни звука, и я даже засомневался — может, ошибся?

Пригнувшись, я приблизился к полуобрушенной арке и заглянул внутрь. Там было пусто. Я вошел в часовню и уселся на плоский камень.

Вокруг было все так же тихо, но я вдруг почувствовал, что за мной наблюдают.

— Эй, выходи, нечего в прятки играть!

Передо мной в отверстии стены показалась голова Бычка. Он смотрел на меня с подозрением.

— Я тебе поесть принес!

Он сразу не понял.

— Чего-чего?

— Поесть, говорю, принес. Не голоден, что ли?

Я выложил хлеб с сыром на камень. Бычок подтянулся и спрыгнул вниз. Вид у него был враждебный. Я даже подумал — как бы он не полез в драку, но с места не сдвинулся. Большой Никанор всегда учил меня — смелый не тот, кто ничего не боится, а тот, кто, может, и боится, но не отступает.

Бычок приблизился ко мне так медленно, словно боялся попасть в ловушку.

Но, видно, он и вправду был голоден как волк, голод и заставил пренебречь опасностью. Схватив хлеб, он отломил от краюхи кусок и целиком запихал его в рот. Хлеб с сыром исчезли в мгновение ока. Бычок глянул на свои руки, словно удивляясь, что в них не осталось ни крошки, и только теперь в первый раз прямо посмотрел на меня.

— Что там происходит?

— Дианоз умер, — ответил я, вслушиваясь в звучание слов и пытаюсь осознать скрытый в них смысл.

Бычок... Впрочем, значил ли что-нибудь Дианоз для Бычка?.. Последнее время это был старый, усталый, вообще-то равнодушный, по крайней мере внешне, ко всему человек. Успел ли он разглядеть ту боль, которая скрывалась за внешней грубостью Гии Хатиашвили, выделить его из остальных или Гия оставался для него одним из многих?.. Я не знал этого, но на моих

глазах происходило что-то совсем уже неожиданное. У Бычка вдруг подломилась колени, он согнулся пополам, лицо у него скривилось, и он закрыл его руками.

— Тебе что, плохо? — с испугом спросил я. Он не ответил. Так и стоял согнувшись.

Я не знал, что делать — уйти, остаться, и на всякий случай сказал:

— Ну, я пошел! А ты что, остаешься?

Бычок поднял голову, посмотрел на меня каким-то странным, не свойственным ему взглядом. Глаза у него были совершенно сухие.

— Иди, Никанор... — Я уже и так уходил, но его слова остановили меня. — Иди и скажи Дэви Цирдава, что мне нужно с ним поговорить!

Я ушел... Обегал все три корпуса «Радости», но Дэви нигде не было. Отчаявшись, я осмелился заглянуть во двор к Верулава. Там под навесом, на длинной скамье, тесно прижавшись друг к другу, сидели Дэви и Цисия Девдариани. Они молчали, но дышали так тяжело, словно только что одолели крутой подъем и никак не могут отдышаться. Лица у них тоже были под стать — красные, разгоряченные. Они смотрели прямо на меня, но невидящим взглядом. Поглощенным собой, им, наверное, казалось, что они надежно укрыты от посторонних глаз, а между тем все их переживания были буквально написаны на лицах. Я понял, что заветное слово произнесено. Забыв обо всем на свете, эти двое наслаждались существованием друг друга.

— А, Никанор! — Дэви Цирдава будто очнулся от сна.

— Дядя Дэви, вас ждут, только не спрашивайте кто и где!

— Что же, придется пойти, если ждут, хотя все это очень уж таинственно! — извиняющимся тоном обратился Дэви к Цисии, которая наконец-то заметила меня, вся залилась краской и теперь сидела, отвернув лицо в сторону.

Я повел его к часовне, только не прямо, а петляя и выбирая окольные тропинки. Бычок сидел там же, где я оставил его.

При виде его Дэви изменился в лице, и я понял, что Цисия ему все рассказала. Мне даже показалось, что сейчас он набросится на Бычка и поквитается с

ним за то, что произошло у подножия горы Верасулы. Но он быстро взял себя в руки, и, когда бросил Бычку — «Слушаю!» — голос звучал бесстрастно.

Бычок тоже догадался, что Дэви все известно, и как-то сразу сник. Куда только девалась его всегдашняя надменность! Он взглянул на меня, и я понял, что их надо оставить одних. Не стану уверять, что любопытство мне не свойственно, но в кодексе чести Большого Никанора значилось и то, что не следует совать нос туда, куда тебя не просят. Поэтому я круто повернулся и удалился, как мне показалось, достаточно гордо.

Отойдя довольно далеко, я уселся у Хрустального ручья. Ждать пришлось долго. И о чем можно столько говорить?.. Наконец они появились. Бычок шел, опустив голову. Лицо у Дэви было хмурым.

— Никанор! — доверительно произнес Дэви. — Гия решил, что пойдет в милицию сам. Я пойду с ним. Никому об этом не рассказывай. Понимаешь, это военная тайна! — Он поднял вверх палец. — А мы скоро вернемся.

* * *

— Еще тело не остыло, а уже... — вздохнув, проворковала Ксения Салакая. О чем это она? Вообще-то правда странно, что жизнь идет своим чередом, как будто ничего не случилось.

Из дома Верулава раздаются причитания Элико, а у нас, как всегда, шум, гвалт, переполох.

Сегодня суббота, а по субботам приезжают родители, те, которые имеются в наличии, разумеется.

Вот, Папучи Эдзгверадзе, например, в этот день всегда не в духе. Примостится где-нибудь в уголке, глаза печальные, и на вопросы не отвечает, хоть ты тресни.

Понурый ходит и Мамука Гиоргадзе. К нему никто не придет — он это знает. Но почему-то именно в субботу особенно ждет весточки от отца — а вдруг да эживет в больном воображении Гиоргадзе-старшего образ сына и нацарапает он ему дрожащей рукой корявое, нескладное письмецо.

Не ждет никого и Мимоза Кация. За все время своего пребывания в «Радости» она не выдержала лишь

однажды — попросила тетю Мавру повести ее повидаться с матерью. Но та не узнала дочь. Женщина сидела под деревом на низкой скамеечке, раскачивалась из стороны в сторону и напевала что-то себе под нос. Она так похудела и состарилась, что Мимоза с трудом поверила, что это на самом деле ее мать. У нее закружилась голова, потемнело в глазах, и она, наверное, не устояла бы на ногах, если бы ее не подхватила тетя Мавра. Только за стенами больницы Мимоза пришла в себя и разразилась слезами. С того дня и начало у нее сильнее покалывать сердце...

У Темо Хатиашвили другая забота. Бродит как потерянный, то к одной группе ребят приткнется, то к другой. На Пунтушу и то не смотрит. Вот появляется отец Губошлепа, Шамугия-старший. В руках у него сетка, оттуда торчат фрукты и разные лакомства. «Нашел время сласти таскать, — думает, наверное, сын. — Мне жениться впору, а он, как с маленьким». Умора, да и только! Рядом с Шамугия-старшим шариком катится женщина. У нее в руках тоже сетка, из сетки тоже виднеются фрукты и сласти. Кажется, это мать Цицино Кордзахия. Они идут рядом и о чем-то увлеченно беседуют. При виде этой пары вперед выскакивает косоглазая и вертлявая Мзевар Кития:

— Смотрите, смотрите, — захлебывается от злобного восторга Мзевар. — Папаша нашего Губошлепа ухлестывает за мадам Кордзахия. Теперь любви Губошлепа и Цицино конец!..

Всем понятно, что Мзевар злится оттого, что к ней никто не пришел.

— Заткнись! — пытается утихомирить ее Сулико Антелава. К ней тоже никто не приехал, но ее это мало трогает. Она знает, что мать, скорее всего, гастролирует где-нибудь на побережье — сейчас самый сезон! — ловит в свои сети томящихся от безделья молодых, готовых порастрасти тугую кошину.

Новенькая, Маринэ Торонджадзе, судорожно комкая в руках платок, монотонным голосом рассказывает обступившим ее товаркам:

— Папа нас бросил!.. Сначала каждый день приходил пьяный, а потом совсем не пришел. Нас ведь девять человек детей, еле перебивались. Мама ему всегда кричала: «Убирайся, чтоб мои глаза на тебя не

глядели...» — Вот он и убрался... Наили, Раили, Данили и Циала остались с мамой, Цицино, Цуцну, Цицини. Цацу забрал отец. Поделили поровну. Ну, а меня ведь пополам не разрежешь, вот и решили отдать сюда...

Братья Гурцкая, уединившись, устроились под магнолией и ведут, судя по всему, задушевную беседу. Наверное, вспоминают погибших в автомобильной катастрофе родителей — смакуют каждую мелочь, каждое сказанное ими слово, взгляд, ласку...

К Цкипуришвили пришли старшие брат с сестрой. Вот достают из плетеной корзинки яблоки и чурчхелы. Младшие усаживают долгожданных гостей на раскладушку, окружают их, галдят все разом — Пунтуша, Кучуна, Нанули, Жужуна, Дудуна и Датучи... Только Бичико сидит чуть поодаль и не принимает участия в этом веселом щебетании. К нему оборачиваются, теребят — ты чего примолк? — а он в ответ задает один и тот же вопрос: — Как папа?

К ним подходит Большой Важика. Бичико щедро делится с ним чурчхелой, а тот сует ее Важике-Кнопке.

Татарчонок Мурад сидит, скрестив ноги, на травке у забора и тихонечко тянет протяжную, заунывную песню. Слов не понять, но чувствуется, что они об одиночестве, о далеком доме и разлуке.

К нему подходит Шукри Цецхладзе, неловко переминается с ноги на ногу, потом смущенно выдавливает:

— Чего поешь? Не знаешь, что Дианоз умер?

Татарчонок поднимает голову, в его больших черных, как спелые сливы, глазах блестят слезы.

Их окружают другие ребята, сочувственно поглядывают на Мурада. Чипо Квирикадзе вытаскивает из кармана сухарь, протягивает ему, а Куцна Чедия, от которого только и жди какой проказы, вдруг усаживается рядом с татарчонком, так же скрестив ноги, и с неожиданной серьезностью произносит:

— Пой, Мурад, песня никогда не мешает!..

Девяностолетняя бабушка Циру Бедия уже в который раз внушает внучке — будь умницей, слушайся старших! А у Циру счастливое лицо — видно, довольна, что бабка держится молодцом, и, может, какое-то время еще протянет!..

Предок Зазы Дэвидзе минут двадцать как подкатил на новенькой белой «Волге». Все — от мала до

велика — сбежались поглядеть на это чудо. А он, сытый, с лоснящимися выбритыми щеками, дав вволю полюбоваться собой, громко рыгает и повелительно-снисходительно обращается к окружившей его ребятне: «Ну, как вы тут? Надеюсь, хорошо? Смотрите, моего сына не обижайте! Чтоб волосок не упал с его головы, не то...» При этих словах Заза вдруг всхлипывает и, растолкав ребят, опрометью бросается в дом.

— Вот ненормальные! — объявил Головастик.

Все как будто заняты каждый своим делом, но одним глазком, так или иначе, поглядывают в сторону ворот. На что уж я никого не жду, а и то время от времени поглядываю туда же.

Вдруг сердце у меня замирает. В тени у ворот останавливается знакомая машина. Оттуда долго никто не выходит... Неужели не решаются? Совесть не позволяет?

Мимо, гордо выпрямившись, проходит Этери Иосава. Ее окликают. Наклонившись к окошку, она долго о чем-то разговаривает с теми, кто в машине. Видимо, пытаются разведать обстановку. Сейчас она им скажет, что умер Дианоз, и им будет неудобно вылезти. А может, они меня стесняются? Жить без меня не могут, а сказать не осмеливаются? Небось, наблюдают за мной издали. Достаточно подбежать к воротам и улыбнуться, как они обрадуются, набросятся на меня с ласками и поцелуями, схватят в охапку и увезут... Но я упрямо не двигаюсь с места. Сердце выпрыгивает из груди, но я сижу как истукан. Знаю, им никто не нужен, кроме меня, но я не могу простить им предательство, не могу — и все тут...

Машина трогается с места, медленно выползает на дорогу и, набрав скорость, исчезает вдали.

Ко мне подходит Этери Иосава, улыбается, показывая мелкие хищные зубы.

— Никанор, знаешь, с кем я сейчас разговаривала?

— Знаю! — отвечаю я довольно нелюбезно. Улыбка сразу сползает с лица Этери, и она молча отходит.

А меня охватывает печаль. Может, потому, что «эти», Гулисахвили, даже не вышли из машины, или потому, что в соседнем доме спит вечным сном Дианоз и Элико душераздирающе причитает над ним. Ни-

когда больше не пересечет он этот двор, не взглянет на меня своими добрыми всепонимающими глазами, не скажет со сдерживаемой радостью: «А, Никанор, вернулся?!» А может, и вовсе потому, что в этот погожий субботний день мы все, безрадостные воспитанники «Радости», толпимся во дворе и с тайной надеждой поглядываем на ворота — а вдруг и нас кто-нибудь вспомнит? Но большинство из нас мало кто вспоминает. Изредка появляющимся гостям здесь явно не по себе — еще бы, за ними наблюдают десятки недоверчивых, испытующих глаз. Те немногочисленные счастливики, к которым приехали, тоже стыдятся выпавшего им счастья и неловко, чтобы не встретиться с завистливыми взглядами, отводят глаза...

На этом мои мысли прерываются. Я вдруг вижу появившиеся со стороны деревни машины. Две «Волги» — одна черная, другая молочно-белая. Они приближаются медленно и плавно, будто плывут, осторожно объезжая рытвины и ухабы. К нам на таких машинах приехать никто не может. Мы все хорошо знаем «наши» машины. Чаще всего посетители нанимают такси — из райцентра к нам пятерка, а отсюда уезжают на рейсовом автобусе. «Нет, это не к нам», — решаю я окончательно, не сводя тем не менее, как и все остальные, глаз с шикарных лимузинов, и вдруг вижу, что они заворачивают в нашу сторону... и вот уже притормаживают у ворот. Все дверцы распахиваются одновременно, и оттуда выходят незнакомые мужчины и женщины. Они по-светски одергивают примявшиеся платья и пиджаки, тихо переговариваются между собой, словно колеблются и спорят, кому первому входить в ворота. Наконец шестеро из них, — двое мужчин и четыре женщины — входят во двор. Походка у них степенная, как у людей, знающих себе цену, но вот смелости явно недостает.

— Приветствую вас, уважаемые! — Это, конечно, Куцна Чедия. Разве его кто опередит, если назревают какие-то события?!

В ответ гости кивают головами. В этот момент как из-под земли возникает Ипполит Квирквелия. И как только везде поспекает? Будто узнает по телефону, которого у нас сроду не было. Изогнувшись в талии, он прямо-таки благоговейно приветствует важных гостей.

При этом старательно прикрывает распухший и посиневший нос рукой, но разве такое скроешь? И один из мужчин, по-видимому главный начальник, уже протягивает ему руку с недоуменным вопросом:

— Ох, что это с тобой стряслось?

Ответа я не слышу. Скорее всего, Ипполит юлит, упал, мол, ударился об асфальт.

Гости направляются к дому. Ипполит возглавляет шествие. Всем им в кабинете не разместиться, и Ипполит ведет их прямо ко второму корпусу. Там места хватит. У лестницы возникает сумятица — каждый любезно уступает дорогу другому — сначала вы, нет, что вы, только после вас!..

Нас мучает любопытство: кто такие? чего им надо?.. И вот уже в воздухе повисает пущенное кем-то волшебное и пугающее слово — «комиссия». Мне приходит в голову, что это не пропали даром усилия Бобо Какулия. Это его анонимки подняли всех этих важных начальников из их удобных кресел, вывели из просторных и красивых кабинетов и вынудили отправиться на своих «Волгах» по проселочной дороге, где на каждом шагу ямы и портятся амортизаторы...

Наш «Охотский» стоит на якоре. Над морем стелется молочно-белый туман. Сквозь туман кое-где, словно головы морских львов, виднеются мели. Где-то там, за туманом, на берегу высится скалистая гряда... Я целый день всматриваюсь, может, что замечу? Но только один раз из тумана на миг показался кусочек обрывистого берега, глянувший на меня черным зрачком какого-то невидимого чудовища. Он напомнил мне Никаноров камень... Туман постепенно рассеивается, более четко вырисовывается скалистая гряда, распластавшаяся в море вдоль самой кромки берега — от края и до края...

* * *

Мы достигли места назначения. На пустынный скалистый берег надо высадить партию геодезистов и геологов. «Охотский» бросил якорь милях в восьми от берега. Ближе подойти нельзя — много рифов и мелей.

С кормы раздаются слаженные возгласы — «Вира!», «Май-на!»

На воду спускают катер; волны колышут его, бросают из стороны в сторону, вздымают в воздух...

Неторопливо мы удаляемся от «Охотского», осторожно прокладывая путь между мелями. Волна набегает за волной, перекачивается через мели, впечатление такое, будто это плещутся и играют в воде морские львы.

Из тумана показывается песчаная полоса, громадящиеся друг на друга валуны, черные обрывы...

«Стоп!» — катер замедляет ход. Мы высаживаемся в надувные резиновые лодки, принимаем груз, начинаем дружно работать веслами.

До берега каких-то метров десять. Волны то тащат нас вперед, то, откатываясь, увлекают назад. Мы прыгиваем с лодок и по пояс погружаемся в ледяную воду. Подводим лодки к берегу, вытаскиваем их на отмель.

На сопке у подножия скалы ставим палатку для членов экспедиции. Отсюда геологи отправятся в глубь полуострова, а геодезисты останутся на базе и будут наблюдать единоборство морской стихии с оконечностью мыса. Море то разбивается о подножие скалы, завладевает пляжем, то с силой откатывается назад, едва не сдвигая с места блестящие валуны. На мелях показывается то спящий тюлень, то морской лев. Лежат и ждут, когда их накроет вернувшейся волной...

Здесь холодно и летом. В ущельях застряли островки нетронутого снега, а склоны гор покрыты блеклой зеленью. Ночи темные, в двух шагах ничего не разглядишь. Тишина первозданная! Лишь изредка пробредет с ворчаньем бурый медведь, оставив на голышах следы когтей, да воют ночь напролет с пригорка волки. Лиса подходит к самой палатке, привлеченная запахом жареной рыбы...

А море продолжает свою неустанную работу...

В полдень прилетел вертолет. Покружил над палаткой, сбросил мешок с почтой, накопившейся за месяц. Получил письмо и я — от Папучи Эдзгверадзе.

* * *

Запахавшись, появляется Варвара:

— Опоздала? Извини, дорогуша, много дел было!

— Она, как всегда, коверкает грузинские слова. Сле-

дом за ней поспешает Писти Кардава. Переступив порог, она обессиленно прислоняется к дверному косяку и застывает в этой позе. Варвара, не дожидаясь особого приглашения, протискивается через комнату и устраивается около своего верного Бондо.

С последнего собрания прошло не так уж много времени. Сотрудники расселись в том же порядке, что и тогда, словно навсегда закрепили за собой места. Нет только Дианоза. На его месте, прикрывая лицо носовым платком, — ни дать ни взять робеющая провинциалка, — сидит Ипполит. Кроме него, за покрытым красным сукном столом — члены «комиссии». Две дамы, оказывается, — руководительницы районного масштаба. Две другие — жены столичных начальников, видно, увязавшиеся за мужьями в эту увеселительную прогулку подышать воздухом. Из мужчин привлекает внимание только один — батони Нанатри, он и есть тут главный.

Дэви Цирдава устроился в уголочке. В президиум его на этот раз не пригласили. Когда он вошел в комнату, батони Нанатри, подозрительно взглянув на него, коротко спросил — «Этот?» — и больше в его сторону не смотрел. На батони Нанатри строгий серый костюм. В волосах — ранняя седина, пухлые щеки, мясистый нос, заплывшие голубые глаза. Движения у него быстрые, энергичные, чувствует он себя, по всему видно, как рыба в воде (и, наверное, не только в детских домах!).

Ипполит то и дело утирает вспотевшее лицо, нервничает. До сих пор все как будто шло хорошо. Но его разбитое лицо явно произвело на батони Нанатри неблагоприятное впечатление, и вот теперь Ипполиту непонятно, куда клонится чаша весов.

— Я должен принести собравшимся свои извинения! — бесстрастно начинает батони Нанатри. — Направляясь сюда, мы не знали о кончине почтенного Дианоза. Естественно, мы отдадим дань уважения усопшему, но, пусть его близкие простят нам, речь пойдет о делах... А теперь я предлагаю почтить память Дианоза Верулава вставанием!

Он отодвигает стул и встает. Вслед за ним поднимаются все присутствующие, и в комнате повисает гнетущая тишина.

Вдруг в этой тишине с заднего ряда раздаются

всхлипывания. Это не может сдержать слез Боцо Какулия.

— Перестань, Боцо! — выкрикивает Ксения Салакая. — Был живой, житья ему не давал, а теперь убиваешься?!

Боцо сдерживает слезы, а высокий гость взглядывает в его сторону и снова спрашивает — «Этот?».

Ипполит торопливо, захлебываясь словами, начинает объяснять ему, кто есть кто. Подражает Дианозу, хочет, чтобы заезжий гость имел представление о каждом из сотрудников. Начинает он с Мравалы Папаскири («Ее мы знаем!» — прерывает его гость) и заканчивает Цисией Девдариани.

— Эта? — в третий раз загадочно вопрошает гость и поглядывает на Цисию. Девушка под его взглядом краснеет, прячется за широкую спину Бондо Чахнакия.

— Как я погляжу, наш гость уже располагает некоторой информацией, — спокойно вступает в разговор Мравала Папаскири. — Пусть не обижается на меня батони Нанатри, но его информация, скорее всего, анонимного характера. Те самые письма, которые вот уже сколько времени отравляют нам жизнь...

— Калбатано Мравала! — Маленькие глазки гостя на мгновение становятся колючими, но он берет себя в руки и терпеливо, как ребенку, втолковывает Мравале: — Анонимные письма мы в расчет не принимаем, но иногда в них содержится достоверная информация. Что поделаешь, у человека обиженного подчас нет иного выхода...

— Это Боцо-то обиженный? — Ксения Салакая вскакивает с места и грозит Боцо кулаком. — Кого ты обливаешь грязью, подонок? Встань и объясни все сам!

Боцо Какулия чуть не сползает под стул. Слышен только его дрожащий голос:

— Ксения, не к лицу тебе такое! Ты прекрасно знаешь, что я за человек!

— Чтоб тебе с такой правдой до гробовой доски дожить! — проклятьем отвечает ему Ксения и нехотя садится.

Именно в этот момент в комнату протискивается районный уполномоченный. Он становится в дверях

рядом с Писти Кардава и строго оглядывает присутствующих. Гул, поднятый словами Ксении, еще не утих, и многие не замечают появления милиционера. Лицо у него озабоченное, и Ипполиту это кажется дурным предзнаменованием. Сердце екает.

А батони Нанатри, неторопливо нанизывая слова, продолжает свою речь:

— Пока Дианоз был здоров, «Радость» являла собой образцово-показательный детский дом. Теперь же все здесь так перемешалось, что не поймешь, где правда и где ложь. Дела пущены на самотек, дисциплина упала. В таких условиях нечестному человеку легко поживиться тем, что плохо лежит, а мы все будем в ответе. «Радости» нужна твердая рука, такая, как раньше была у Дианоза. Кадры у нас есть, можно прислать и человека со стороны. Но если спросить нас, то мы считаем, что лучше назначить своего, разбирающегося в здешней специфике.

— Предлагаю Мравалу Папаскири! — выкрикивает с места Амбако Цомая.

Батони Нанатри оглядывает его с лучезарной улыбкой.

— Хорошая кандидатура! Товарищ Папаскири много лет работает в системе, опытный работник, но, насколько мне известно, она не согласна занять должность директора!

Лицо у Мравалы идет пятнами.

— Батони Нанатри прав! Я никогда не думала об этой должности!.. Батони Нанатри предлагал мне и раньше, но я не согласилась!.. Давайте говорить прямо. Хватит ходить вокруг да около. Правда, мы еще не предали земле нашего любимого всеми директора, и, может, неудобно сейчас устраивать конкурс на его место, но раз уж мы собрались, то давайте решать этот вопрос. Ведь батони Нанатри и другие гости второй раз не приедут!.. Не знаю, от кого мы скрываем, всем ведь известно, что на место Дианоза у нас два претендента... Это Ипполит Квирквелия и Дэви Цирдава! Оба хотят...

— Что значит — хотят! — язвительно усмехаясь, прерывает ее председательствующий. — У нас, товарищи, собственные кандидатуры выдвигать не принято. Пусть другие назовут... И вообще... Товарищ Ипполит

многие годы был заместителем директора и дело знает... А Цирдава — всего лишь гость, человек пришлый! Если желаете знать мое мнение, то я скажу: недостойно устраивать какие-то заговоры, чтобы получить должность!

Цирдава вскакивает, смотрит батони Нанатри в глаза:

— Пусть это слово «заговор» будет на совести того, кто вам его нашептал, батано Нанатри! Что же касается вопроса о том, есть ли у меня право выдвигать свою кандидатуру, то должен сообщить, что это право дано мне конституцией...

— Может, оно и конституционно, но нравственно ли?

— Что конституционно, то и нравственно! — парирует Дэви. — К тому же мою кандидатуру предложил сам Дианоз. Он привел мне где-то вычитанные им слова Хосе Марти, я не ручаюсь за точность, но смысл таков: «Мне нечего предложить тебе в награду, кроме счастья самопожертвования...» Должен заявить прямо, что не жду от этой должности ничего другого, кроме морального удовлетворения!

— Вы говорите так, словно уже назначены на это место! — В голосе батони Нанатри сквозит неподдельное изумление.

— Вы правы! Не удивляйтесь, но я уверен в том, что, все взвесив, вы тоже встанете на мою сторону!

В комнате поднимается шум. Видно, одним нравится смелость Цирдава, другие же считают его выскочкой.

— Ради Бога! — вскакивает с места Ипполит Квирквелия. — Пусть никто не думает, что я цепляюсь за эту должность. Назначайте, кого хотите, но должен во всеуслышание заявить, — и Ипполит с видом обвинителя простирает руку в сторону Дэви, — это опасный человек!

Шум мгновенно стихает, наступает мертвая тишина. Цирдава пристально смотрит на Ипполита.

— Да-да! Это опасный человек! — повторяет Ипполит. Голос у него срывается от волнения. — Вы его не знаете! Он всех нас погубит!

— Спокойней, спокойней! — Батони Нанатри явно удручен горячностью Ипполита.

— Во-первых, со дня своего появления здесь он задурил голову моему несчастному тестю. Дианоз был человек достойный, что и говорить, но последние годы возраст брал свое. А этот вот подлез к нему, как лиса. И! мы можем только догадываться, что он там ему нашептывал, на что толкал. Был бы жив Дианоз, он бы и сам понял, что к чему, сорвал маску с этого опасного человека... Он сделал так, что Дианоз отвернулся от собственной семьи, чуть ли не возненавидел родную дочь и зятя!.. Но ему было мало и этого! Взятся за детей, совсем свел их с ума... Наше заведение всегда славилось своей дисциплиной, а теперь мы вынуждены жить ребячьим умом!.. Вот, взгляните... — И Ипполит показывает на свой разбитый нос. — Это все его рук дело, это по его наущению Гия Хатиашвили набросился на меня и теперь сядет в тюрьму. Вот здесь присутствует работник милиции, он сам вам все расскажет...

Районный уполномоченный с готовностью подается вперед, но Ипполит останавливает его:

— Будь добр, обожди, я еще не все сказал... Так вот, мало того что...

— Не слишком ли много для одного человека, мой Ипполит? — сухо спрашивает с места Мравала.

— Ты-то чего его защищаешь? — огрызается Ипполит. — Задело за живое? Сама хороша, и не строй из себя ангела...

Мравала делается белой как полотно, подбородок у нее начинает дрожать, но глаза смотрят с холодной непримиримостью.

— Как ты смеешь, ты... — кричит Амбако Цомая. — Не твое это дело, даже если...

— Подожди, Амбако! Дай ему сказать, — останавливает распаленного Амбако Ксения Салакая. — Ты что, не видишь? Он же сам себе яму роет!

— А я вам заявляю, что это опасный человек! — горячится Ипполит, но на лице у него появляется легкое смущение — видно, и сам понял, что перегнул палку, но остановиться уже не может. — Вон он и к моей жене подъезжал...

Что тут поднимается! Крик, гвалт, реплики, ничего не понять, и от этого Ипполит еще больше беленится.

Дэви Цирдава стоит, скрестив на груди руки. На

лице ироническая ухмылка. Брань Ипполита бумерангом возвращается к нему же. А Дэви и не думает оправдываться. Но это еще не конец. Самую ядовитую стрелу Ипполит приберет напоследок.

— Все это еще ничего! — уже более спокойным тоном продолжает он. — Самое страшное то, что он открыто, на наших глазах разводит шуры-муры с девочкой, взлелеянной нами...

— С ней? — вдруг коротко спрашивает батони Нанатри и бросает осуждающий взгляд на Цисию Девдариани.

— Ох! — выдыхает Цисия и беспомощно откидывается на спинку стула. Ей на помощь приходит сидящая рядом Агати Эджибия. Она прижимает девушку к себе и с угрозой восклицает своим надтреснутым голосом:

— Смотри, Ипполит! Если с ней что случится, не слобровать тебе.

По комнате прокатывается волна гнева. Опять выкрики, шум — второе пришествие да и только! Мужчины галдят себе, женщины себе... У этих будто коллективная истерика. Повскакивали с мест, кому-то угрожают. Только вот кому — Ипполиту Квирквелия или Дэви Цирдава? Одна Мравала Папаскири сидит молча, холодная, отчужденная, будто снова укрылась за своей ледяной броней.

Батони Нанатри стучает кулаком по столу, лицо у него искажено гневом:

— Батоно Ипполит, я думал — вы человек... Негоже так... Надо разобраться. Либо вы лжете, и вам здесь не место, либо этот ваш Цирдава подонок, по которому тюрьма плачет!

Дэви по-ученически тянет вверх руку. Взоры всех присутствующих обращаются на него. В тишине раздаются лишь судорожные всхлипывания Цисии.

— Если бы в том, что этот тип, — Дэви презрительно кивает головой в сторону Ипполита, — тут моллол, была хоть толика правды, я бы повесился! Единственное, что я хотел утаить от всех и не сумел — вон, даже он унюхал... Этого я и боялся с самого дня приезда! Так вот, многие тут, наверное, удивлялись тому,

что моя командировка так затянулась. Признаюсь, командирован я был сюда на десять дней. Потом я оформил очередной отпуск, а после него — без содержания, за свой счет. Причиной же всего этого была действительно Цисия Девдариани!

По комнате опять прокатывается легкий гул.

— Впрочем, я ничем, — продолжает Дэви, — ни взглядом, ни словом, ни жестом не показывал этого самой Цисии... До вчерашнего дня!.. Теперь все прояснилось!.. Скажи сама, Цисия!

Дэви протискивается между рядами, подходит к Цисии и требовательно повторяет:

— Скажи, Цисия!

Девушка беспомощно, как загнанная лань, оглядывается, но не произносит ни слова.

— Смелее, Цисия! — подбадривает ее Ксения Салакая.

— Иди, дочка, скажи все как есть! — ласково подталкивает ее в спину Агати Эджибия.

Цисия нерешительно встает... и неожиданно утыкается головой в грудь Дэви.

Цирдава крепко берет ее за плечи и ведет к выходу.

В комнате надолго повисает тишина, все молчат.

Мравала Папаскири сидит зажмурившись, держась руками за виски. Батони Нанатри протягивает ей стакан с водой, участливо предлагает:

— Калбатано Мравала, выпейте воды, вам станет лучше.

Ипполит стоит сконфуженный, не знает, что делать дальше — снова усесться или уйти с собрания.

— Ко мне есть вопросы? — наконец спрашивает он.

Райуполномоченный протягивает ему какую-то бумагу.

— Вы арестованы. Вот ордер прокурора!

* * *

Я пишу эти последние строки, сидя на большом валуне, на далекой камчатской земле, на берегу Охотского моря. Передо мной, Никанором Бжалава, названным

сыном Большого Никанора, расстилается необозримое пространство. За спиной у меня сопки, поросшие карликовыми березами и соснами. Справа — свернулся змеей мыс Южный, море хищно набрасывается на его оконечность, но каждый раз откатывается назад, оголяя мокрые блестящие камни и черные мели.

Вот и сейчас оно отступило, чтобы набраться сил для новой атаки. А мы как раз и ждем прилива — нам пора возвращаться на «Охотский».

В руке у меня письмо Папучи Эдзгверадзе. Я еще не успел его вскрыть. Заранее знаю, что в нем множество новостей о наших общих друзьях. Кому довелось вместе есть горький сиротский хлеб, те не забывают друг друга. Расскажет Папучи, наверное, и о себе, о своей семье. Он недавно женился, теперь у него двое детей, и он относится к ним с такой трепетной нежностью, будто хочет излить на них всю ту ласку, которую недодали в детстве ему самому.

Я вскрываю конверт, и передо мной встает любознательное и доверчивое лицо Папучи. Вот в тексте мелькает имя Мимозы Кацня, но я не тороплюсь читать — в глазах почему-то темнеет, сердце тяжело бухает... Где-то сейчас Мимоза, что поделявает?.. Рисую себе в воображении такую картину. Вот я, Никанор Бжалава, уже с засеребрившимися висками, но еще молодой капитан дальнего плавания, возвращаюсь из рейса. Мой белый океанский лайнер проходит Босфор и Дарданеллы, пересекает Черное море и бросает якорь милях в двух от родного берега. Здесь нет причала, и я перехожу на белую нарядную яхту. Вон возвышается на пляже «Никаноров камень», смотрится он грозно, как всегда, но я не боюсь его. Я уже Большой Никанор, много чего повидал на своем веку, немало испытал... Где я только ни побывал, нет, пожалуй, такого уголка на земном шаре. Повсюду у меня друзья или хотя бы просто добрые знакомые. И все же меня гнетет одиночество, в душе живет образ, поселившийся там еще в раннем детстве... Я выхожу на берег. В песке возятся ребяташки. «Чьи вы, ребята?» — «Мы ничьи, мы из «Радости».

Из белого коттеджа выходит молодая женщина в белом халате, воспитательница. Протягиваю руку: «Ты что, Мимоза, не узнаешь меня?»

Но все это только мечты. Вряд ли так бывает на самом деле!

Принимаюсь наконец читать письмо, дохожу до ее имени. Господи, нет, этого не может быть! Надо! «Умерла Мимоза Кация, наша красивая сестричка! — пишет Папучи. — Оказывается, она давно любила Бычка, помнишь — Гию Хатнашвили? Он тоже любил Мимозу и знал всю ее историю — она сама рассказала... Может, поэтому и относился к ней так — надыхаться не мог, не знал, чем угодить. Эта любовь перевернула его всего — куда только девался наш прежний задиристый и привыкший помыкать всеми Бычок! Он делал все, чтобы она забыла то страшное, что выпало на ее долю. Все говорил — вот подожди немного, одену тебя в свадебное платье из чистого золота, осыплю с ног до головы цветами... Не успел... Не выдержало ее бедное, надорванное горем сердце такой большой любви. Неужели и любовь убивает?..» — вопрошал Папучи Эдзгверадзе.

Мне захотелось умереть, и я начал биться головой о камень... Ко мне подскочили матросы, скрутили. Грузински они не читают, но, видно, поняли, что все цело в этом проклятом письме. А меня душат рыдания, и я могу только выдавить: «Оставьте меня!» Они отходят, наблюдают за мной издали...

Не знаю, сколько я сидел так, на этом валуне, оплакивая свое горькое детство, свою несостоявшуюся любовь... На сердце пусто, будто порвалась нить, связывавшая с родными пенатами... До меня доносится тихий шорох волн. Снова начинается прилив. От «Охотского» уже подходит катер. Оставив экспедицию на берегу, мы, члены экипажа, возвращаемся на судно.

На душе становится не легче, но как-то светлее, чище. Я бережно складываю письмо и прячу его в карман.

Впереди у меня немало испытаний, немало горя и передряг, но, может, не все еще потеряно? Может, и мне улыбнется счастье?

Из дальнего плавания вернется мой белый океанский лайнер. Бросит якорь милях в двух от берега, прямо напротив «Никанорова камня». Спустят на воду белую яхту. И я, Большой Никанор, вступлю на род-

ную землю, поклонюсь своему хмурому, но такому близкому тезке.

На пляже будут возиться ребяташки, и я спрошу их: «Чьи вы, ребята?» А они с веселым щебетаньем ответят: «Мы — из «Радости!»». Из белого коттеджа выйдет светловолосая, голубоглазая молодая женщина, которую в далеком-предалеком детстве, играя во взрослого, я удочерил... Она бросится ко мне, протянет руки, взглянет с легкой обидой: «Никанор! Ты что, не узнаешь меня? Я ведь Мариха, внучка Элефтера!»..

Перевод Нелли СОЛОД

ХРОНИКА

дорога независимая Грузия и у кого имеется оружие, спешить на защиту президента от криминальных банд и врагов нации, выдающих себя за оппозицию. Снова, как бывало уже не раз, из провинций начинают прибывать запыленные автобусы, привозя совершенно сбитых с толку, давно оторванных от своего дела возбужденных людей. «Палаточный город», разбитый перед входом во Дворец правительства давно и навсегда и прозванный тбилисцами «Семипалатинском» (по числу палаток), со своими обитателями, «женщинами из палаток», аккредитованными защищать президента истерическими воплями вплоть до рукоприкладства, само здание и часть проспекта перед ним, заполненная митингующими, со всех сторон окружает мощная стена автобусов, трайлеров и т. п., кордоны милиции, милицейские машины. Знамена, иконы, лозунги, транспаранты с изъяснениями в любви и преданности президенту дополняют картину, которая на первый взгляд могла бы показаться комической, не будь трагедией вся ситуация, по логике событий неминуемо ведущая к кровавой развязке.

17 и 18 сентября появляются новые политзаключенные: сперва лидер НДП Г. Чантуриа, затем — известный кинооператор Г. Хаиндрава.

На митингах оппозиции выступает бывший премьер-министр Тенгиз Сигуа. Поток информации, которой были перекрыты пути на телевидении, радио, в прессе, захлестнул массы людей. Требования оппозиции: переговоры с правительством; проведение демократических реформ; соблюдение прав человека. Часть оппо-

(Продолжение на стр. 81).

Солнечное эхо

Белое солнце на асфальте,
нарисованное детской рукой,
и солнце,
сверкающее на медяках в шапке нищего,
и усталая рука, протянутая за подающим...
Какой путник измерит собой дорогу
от одного солнца до другого...
Младенец, лепечущий в колыбели,
и пьяница, напевающий на улице...
Кто измерит путь
от детского лепета до бормотанья чуть слышного?..
Каков он, окинь взглядом
этот путь
от шепота первой любви до грязной ругани
проститутки...
Окинь взглядом,
в который раз окинь его взглядом.

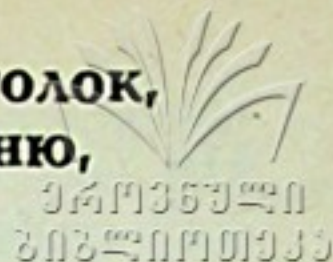
Эхо восходящего и заходящего солнца
тенью ложится на дороги жизни...
Эхо,
солнечное эхо...
Мы слышим его сердцем
и возвращаем миру,
сначала — в белых солнцах,
в надеждах,
в любви...

Потом же... потом...

* * *

Иди...
Но сначала отыщи врата в ту удивительную страну,
за ними будет черта, и, переступив ее,
ты увидишь сказочный город,

пройдя который, придешь в единственный уголок,
где на пересечении дорог ты увидишь деревню,
а в ней — ты встретишь сирот...



И вот на той крутой деревенской улочке
ты приоткроешь калитку и войдешь во двор...

Ветер перебирает сор у порога дома...

Запустение, солома гнилая...

Ты подойдешь к двери...

Оглянись все же, на всякий случай, —
лучше, чтобы тебя никто не видел.

Осторожно сними замок тяжелый и ржавый,
открой дверь...

И теперь,

когда на тебя со всех сторон —

с отсыревших стен, с покрытого пылью шкафа,

от окон, заколоченных наглухо,

с потемневших досок стола, —

из каждого угла почерневшей комнаты

навалятся воспоминания,

постарайся не уронить слезу на пробившуюся у порога
траву,

ибо известно,

что мужская слеза

способствует росту травы сорной.

Потом

войди в дом, всю ночь проведи в нем,

уткнувшись лицом в подушку, отсыревшую от

времени...

И слезы твои в семени разбудят росток.

и он прорастет к утру...

Но если лучи солнца сотрут след ночи в твоей душе
и ты сможешь спокойно уйти...

Тогда ты не человек,

и больше не приходи!

* * *

Нам, оказывается, ничего не принадлежит.

Сердца наши, словно оазисы в пустыне,

раскрываются под солнцем

и только один раз поят караван

слезами нашими и улыбками.

Нам, оказывается, ничего не принадлежит:
Ни друзья наши, ни враги —
они собственность только дня и ночи,
этих кочующих караванов,
которые в сердцах наших лишь на время укрываются.



ЭЛНИСЭЭЭЭЭ
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

В сердцах наших они лишь на время укрываются.
А потом, когда мы умираем
и высыхают оазисы наши,
кто знает,
к чьим сердцам пошлют свои караваны тогда
солнце,
звезды
и земля родная?..

* * *

Сентябрьское солнце склонило лучи,
словно дерево ветви под тяжестью зноя...
«Что это такое?» — лепечут младенцы
и тянутся к теплым ветвям.
Улыбаются девушки, их улыбки
медленным медом стекают по склонам осеннего дня.
Все длится и длится прощанье,
но медленно
солнце садится...
За заходящим светилом следило так много глаз!
И каждый раз два желанья
неслись к нему сквозь пространство,
две страстных мольбы, два крика
из самых глубин груди:
«Солнце, зайди!»
и
«Солнце, не заходи!»
Для одних наступает первая ночь любви,
для других — последняя заря догорает...
Кто знает, что ждет впереди?..
«Солнце, зайди!»
«Солнце, не заходи!»
Но два желанья уравнивают ход светила,
ибо равна их сила.
И солнце медленно клонится к горизонту,

словно огромная капля стекает по небосклону со
СТОНОМ,
оно заходит и уводит за собою мое солнце...
В сердце моем,
словно испуганная отара в овчарне старой,
сгрудились чувства невысказанные, неосознанные...
«Солнце, еще не поздно, не заходи,
не вспугни это ощущение странное...»
Но, словно открытая рана, сердце кровоточит в груди:
«Солнце, зайди, пусть луна займет твое место,
(вдвоем вам тесно),
и первая ночь любви вступит в свои права...»
Но два желания
уравновешивают ход светила.

Перевод Марины КАТЫС

ХРОНИКА

зиции выдвигает требование отставки президента, стремящегося установить диктатуру. Уже позднее, когда 1 ноября президент запретит регистрацию политических партий, будет выдвинуто требование отменить этот запрет. Требования оппозиции поддерживают широкие слои населения.

В ночь с 21 на 22 сентября президент решает расчистить проспект Руставели от баррикад оппозиции, при этом сохраняя и укрепляя свои. Огромная толпа хорошо подготовленных соответствующей пропагандой и вооруженных обрезками арматуры приезжих и местных защитников президента обрушивается на участников мирной акции, разносит баррикады, врывается в здание ИМЭЛа, походя разграбив его, учиняет полный погром. Есть раненые, покалеченные.

Тогда Тенгиз Китовани с гвардией утром 22 сентября с целью защиты граждан от подобного нападения, спускается со своих позиций на горе Шавнабада (в окрестностях столицы) и, войдя в город, располагается в здании Департамента РТ, где все еще продолжается мирная акция.

Президент продвигает свои баррикады, перекрыв проспект трайлерами перед зданием ИМЭЛа, и предпринимает провокационные демарши, стремясь вызвать ответный огонь.

(Продолжение на стр. 151).

Другая смерть

«Тогда Иуда, предавший его...
пошел и удавился».

Евангелие от Матфея, 27; 3—5.

Ветер сметал пыль с крыш, гнал клубы и пыльные струи по улочкам, шуршал, ныл, завывал в щелях заборов. Пыль и ветер. Ветер и пыль. И солнце — низкое, падающее, холодное, но все равно слепящее, не смягченное слоем серых облаков, сеющее белым светом, умножающим и без того властвующую белизну. Пыль не затмевала отовсюду светящей белизны — растворяясь в тенях, блестящие, острые, взвихренные ветром песчинки высветляли тени, превращая их островки в белизну иного порядка. Пыль хлестала деревья, полируя кору и уродуя листья, пронизывая улицы, пыль билась в заборы, скреблась в двери, сочилась в окна. Звуки захватившей город пыльной бури, преломленные его складками и морщинами в голоса, высвистывали и выпевали хвалу Ветру-Носителю. Ветер прилетал с моря, ветер улетал в море из пустынь, перенося туда и оттуда влагу и песок, песок и влагу. Мало кто ругал ветер, но ругали пыль. Не может не быть ветер, не может не быть песчаный ветер — но ругали только взвихренный ветром песок. Время ветра — время удлиненных шорохов, время выдоха пустынь и неблагоприятно равнодушной суши, время покрасневших глаз и воспаленных век, пустых улиц, время жестов и утаенных слов, спин, обращенных к ветру. Длинное время ветров перетекало в язык молитв, плачей и песен, делая их распевы плоскими, протяжными, вмещающими и тоску переживаемого ветра с секущим песком, и веселье... — ведь, вот, мы вместе, сидим, говорим, поем,

а там — слышите? — этот ветер, там неизвестно кто и что, там, слышите, ветер, а вот мы, и что нам до него, да, дети? да, жена? укрой спину, мама... пусть себе рвется, мы же вместе, под этой крышей, двери и окна закрыты надежно, и мы вместе среди ветра, песка и белого колючего света... Созвучное поклонение Ветру, приносящему ветер песка, ветер вестей, ветер воды... — Господи, пошли им ветер воды, пусть прорастет трава на их кровлях!.. — поклонение единому Ветру-Водителю дало долгое спокойное дыхание и привычку пережидать, умение терпеть, полагаться на дыхание ветра в себе. Ветропоклонников не было, потому что никто на ветер не покушался, никто не мыслил его ниспровергнуть, не пытался утвердить иное — с ветром жили в жизни, в языке, в дыхании, и переходы жизни не противоречили руслам ветров. Отрицающие ветер уносились самим ветром — они скоро становились похожими на прах, уносимый в извивах тела ветра, и никогда они не походили на острый, блестящий, каждый раз новый и оттого вечный песок, только на измученный, выветренный, тусклый прах, развеиваемый среди белого света — вот участь иных. Дыхание ветра в слове ценилось дороже камня. Что камень в мире жизни песчаных ветров? Но камень тоже ценился. Лучше даже не камень, но много камней, лучше порядок во многих камнях, лучше стена толстая и высокая, поднятая мастером и воспетая словом дыхания, обласканная безжалостным дыханием ветра — пусть и он поет, как может, упираясь в спину из камня — мы будем слушать его изнутри, пусть поет вместе с нами...

Ветер мел пыль с крыш, и новый вдох нес новую пыль, и долгий шорох, и долгий вздох были неотличимы от шороха и вздоха уже улетевших. Поблескивали иссеченные стены, выли и дребезжали щели в заборах и крышах. Ветер пах усталостью, был сух, как волосы старух, и неутомим, как пальцы музыканта. Такой ветер, говорят, любят прокаженные — они нагими выходят ночами из пещер и лачуг и влезают в иссушающие потоки... — Боже мой, Боже Всемогущий, пусть они будут успокоены и обласканы в дыхании Твоем, рви их, Господи, и врачуй! После таких сухо звучащих ночей им подают больше обычного даже вдали от Храма Твоего — кто не содрогался при виде закутанных в

лохмотья, украдкой являемых взорам вспененных, влажных, сочащихся язв? Хлещи их, Господи, рви и суши их струпья, и пусть лоскуты исцеляемой плоти летят мимо нас. Я подам им еще больше, когда увижу сухие рубцы и влажные от жадности лица... Суши Ты их, Господи, суши Ты, не отдавай Своей власти и силы никому... Ветер скрежещет и ноет, поет длинные, как надоевшая дорога, песни. Кто не верит ветру — не поверит песку, а вот он, ветер песка, на зубах и в глазах, рвется сквозь укутывающий лицо платок. Рукава собраны в кулаках. Когда надо будет оголять руки, чтобы достать ключ, ветер ворвется... Нет, не будет этого, ворота, сказал Ефрем, не будут заперты, а во дворе дома ветер уже смирен. В доме его не ждут, там спят тихо и беззаботно и ждут праздника, придя, он умоется, напьется и ляжет спать, проживет с ними День приготовления ко Дню Господню... Угодив ногой в выбоину, он споткнулся, взмахнул похожими на культи руками, дернул головой — и задохнулся. Ветер поймал его падение и умыл шершавым песком, влившимся сквозь сбитую повязку. Может быть, это был тот самый ветер, что не так давно ласкал тело прокаженного, вышедшего в ночь, ветер, который он будет щедро оплачивать завтра... или уже сегодня?.. Зачем же его проклинать?.. Став к ветру спиной, он поправил повязку на лице, переждал порыв, пошел дальше. Навстречу ему из боковой улочки выкатилась повозка — осел, запряженный в овощную тележку. Он спешно посторонился, прижался к забору, уступая дорогу. Ведший осла человек был то ли пьян, то ли несуразно весел — размахивая свободной рукой, похохатывая, ломая голос из баса в писк, приговаривая: «Слышишь? Слышишь?» — он рассказывал ослу историю о голубе, осле и найденном золотом... «Моя монета, — пищит голубь, — вот моя белая метка на ней!» «Моя монета! — орет осел. — Я на нее наступил, а если бы я пометил ее, как ты, то ее никто на свете не увидел бы...» Затаившийся обок дороги человек, зная конец истории, болезненно усмехнулся — потом, после долгих браней, объявится хозяин, возьмет золотой себе, купит голубю голубку, а ослу — новую упряжь... — почему так, он не знает, почему так, а не иначе, и чем голубь лучше осла?.. нелепая история, вдвойне нелепая в устах глупца... «Слышишь? Слы-

шишь?..» Глаза у него слипаются, он бредет полузасы-
пая, когда натывается на стены, просыпается, долго
смотрит на стену, под ноги... На малыша, игравшего
возле приоткрытых ворот, он чуть не наступил, благо,
что расслышал сквозь сон его воркотню. Малыш сидел
на земле, слюнявил пальцы, тыкал ими в песок и вни-
мательно разглядывал. Он нагнулся над ребенком — что
это значит? почему ребенок среди ночи на улице? или
сейчас уже утро? или день? но ведь темно... а солн-
це? куда оно подевалось?.. ветер, пыль, солнце, темно-
та... — думалось вяло, мысли, не соединяясь, возника-
ли и исчезали. Малыш поднял к нему лицо, вытер паль-
цы о щеки, улыбнулся, облизал пальцы, ткнул пятер-
ней в песок и протянул ему. Он отряхнул песок с его
пальцев, губ. Привычно визгливо и устало закричала
женщина. Ребенок всплеснул ручонками, захныкал. Из
ворот выбежала девочка, глянула искоса, подхватила
малыша на руки, опять бросила острый взгляд и скры-
лась. Отойдя недалеко, он оглянулся: они стояли в
воротах — женщина с ребенком на руках и девочка, —
смотрели ему вслед. Здесь его никто не знал. Он слег-
ка поклонился им. Женщина поджала губы и обняла де-
вочку за плечи. Он поклонился еще раз и ушел.

Дом, который он искал, оказался в конце улочки,
последним в ряду схоже унылых, окраинных строений.
Квадратный белый камень, вмощенный перед воротами
в землю, указывал точно на середину калитки. Дверь
оказалась запертой. Он удивился, внимательно осмотрел
камень-знак. Он не любил запертые двери, не любил
двери, которые запирались. Замок и дверь, время от
времени запираемые и отпираемые, внушали ненадеж-
ность и иллюзии. В глубокой трещине, рассадившей
стену справа от ворот, ключа не оказалось. Он стоял
перед запертыми воротами и пытался думать, как быть.
Ноги облепила принесенная ветром тряпка, он отбросил
ее, и ветер унес возвращенную забаву недалеко, укра-
сил ею тощий силуэт кипариса за забором напротив.

По улочке, косо притекающей к той, на которую
выходили ворота нужного дома, прошла женщина. Его
она заметила, повернула голову, чуть замедлила шаг.
Он отметил ее гибкую небрежную походку. Через ми-
нуту женщина вернулась, стала на углу, недалеко от
него. С показной резкостью он отвернулся, выждал, ко-

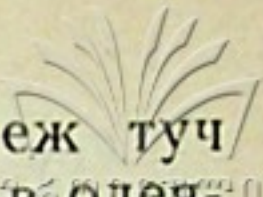
гда глянул вновь — она поманила его. Досадуя, он отмахнулся. Она потянулась к нему, молитвенно сложив руки. Он покачал головой, достал монету, швырнул ей — это были его последние деньги, все остальные он отдал стражам в городских воротах, чтобы его пропускали. Не прельщаясь звякнувшей подачкой, женщина умоляла его подойти. Она жалась к стене, маня, тянула к нему руки. Он подошел. Женщина была молода, глаза ее влажно горели, овал лица размывала нежная бледность, ее сотрясала дрожь. «Чего ты хочешь?» — спросил он. Взгляд ее заметался, остановился на его лице — она смотрела и тянулась к нему. «Зачем ты звала меня?» Она залопотала — бессвязно, захлебываясь, лицо ее комкалось в неприятную подвижную маску с блестящими мокрыми губами, пальцы метались со знакомой ему выразительностью: она была нема и просила его, чтобы он вложил свои пальцы ей в рот. Она тянула лицо с вытаращенными глазами и раскрытым влажным ртом к небу, небо отвечало ей песчаным ветром, и этого ей было недостаточно — наглотавшись неба и ветра, она хотела и его рук. Он закрыл глаза, он ударил ее по лицу, он сорвал с нее покрывало, рвал волосы, опрокинув, топтал руки, давил пальцы... — а она стояла и раскрытым ртом глядела в небо. Он ждал, когда у нее пересохнет рот, когда затечет шея, когда она перестанет быть немой верой и надеждой, когда... Он поднял с земли монету и вложил ей в руку. Горячие, дрожащие пальцы ее были длинны, покорны, чувственны. Он погладил ее по руке, поправил монету, чтобы не выпала, и хотел отойти. Она вцепилась в рукав, отрешенно и истово блеснули глаза ее, и она упала на колени. «Я не в силах сделать то, что ты хочешь», — сказал он. Убеждая его, она затрясла головой, показывая, что он должен исполнить. Он захохотал — это было замечательно: она убеждала его, что он может!.. Женщина замерла, испуганно глядя на него. Теперь рот ее изображал уже не открытую и доступную его рукам веру, а нечто иное. Деньги выпали из руки женщины, она поднялась с колен, отряхнула платье, и, отступая назад, указывая на него пальцем, отрицала его ладонью. Жестом она повторяла то, что он сам ей сказал, чему она не поверила, ну а поверив или поняв, придала доступную ее языку форму. Палец и ладонь, ее при-

митивное «ты — нет, ты — нет», теперь убеждали его, что он «нет». Ему хотелось спать, а ей — стать въявь созвучной ветру, обрести верный язык, долгое и горячее дыхание внешних песен и молитв... «Не верь им, — сказал он, улыбаясь, — у тебя все есть. Зачем тебе то, что есть у всех?» Она откинула монету ногой, указала рукой на небо, затем на него, сделала круговой жест над головой и отбросила очерченное кругом прочь. «За что? — спросил он, нагибаясь за монетой. — Небо милосерднее людей. Я не боюсь неба». Настаивая, она повторила плавный, красивый жест. Ему почудилось, что упрямство ее в родстве с жеманством, и если предложить ей деньги теперь, она противиться не станет. Тем временем, пока он раздумывал, женщина закутала покрывалом лицо и скрылась за углом. Жаль, подумал он, возвращаясь к воротам, жаль, думал он, потирая горящие веки. Его ладонь слегка отдавала сладковатым запахом. Он принюхался, морщась, улыбнулся — вот ведь, женщина... Но такие руки стоят умащиваний. Пусть не обвиняет и не досаждаёт небу — нет голоса, но живут руки, достойные забот и дорогих масел. Будь у нее голос, просила бы она небо о красивых пальцах? просила ли бы она о руках так же истово? Он повернулся спиной к ветру, зевнул, покачнувшись, уперся плечом в ворота — и чуть не упал, потому что калитка распахнулась. Оторопь прошла быстро — недаром он всегда не доверял дверям, имеющим свойство запираяться и отпираться. Бежать было некуда, бежать не было смысла, поэтому он вошел и, демонстрируя свое презрение, пусть и бессильное, тоже задвинул щеколду. Даже тряхнул, уверяясь в прочности, неподвижную калитку... Все же интересно, подумал он, немая она или притворялась, совпадение это или — хотя какое это имеет значение? — или они чего-то не успели? Идя в дом, он загадал — дверь будет не заперта — и оказался прав.

Дом был пуст. Пуст беспорядочно, словно обитатели его вдруг посреди ночи спешно поднялись и ушли. Так, как несколько часов назад ушел он, примерно так. Правда, как только что выяснилось, он ушел напрасно. Его нашли, если вообще теряли. Он должен был ночевать в другом доме, расположенном в Новом городе, в доме, в котором ему так настоятельно совето-

вали укрыться. Опекуны заботились о его жизни слишком небрежно, потому он и попытался исчезнуть после того, как они сами дважды меняли назначенные места ночлега. За последние месяцы он притерпелся почевать в разных домах, притерпелся полагаться на хозяев, не доверяя им, но никогда прежде истерия и страх не захватывали решающей власти. Покровители не доверяли никому, он устал метаться, послушаясь невразумительным советам, — поэтому и вернул себе присвоенные ими заботы. Не получилось. Ворота были заперты, а потом открылись.


Войдя в дом, он счел первым долгом поздороваться и поклониться гостеприимно отсутствующим. Затем размотал лицевую повязку и вытряс из бороды песок. Напевая, умылся, утерся. Миска с едой, накрытая полотенцем, была еще тепла. Значит, они поздно узнали, куда именно он идет, поздно отыскали Ефрема — бедный, бедный Ефрем, что они сделали с ним? сможет ли он завтра переводить в синагоге? он ведь так набожен, бедный конопатый Ефрем, так набожен, так добросовестен... Они узнали поздно и не успели приготовить все так, чтобы он не догадался. Кто они — не имеет значения. Ему равно угрожают и те, и другие, а может, и еще кто-то, следовательно, можно лечь и попытаться заснуть. В конце концов все уже произошло, все случилось и закончилось. Он сделал то, что считал нужным сделать. И уж если скрыться от их забот ему не удалось, пусть теперь решают сами, раз им так захотелось. Скромно поблагодарив невидимых хозяев за еду — остывшее пресное варево он есть не стал, удовольствовался лепешкой, — он отправился искать комнату, отведенную ему для ночлега. Комнат в доме было не так уж и много, пять или шесть, незапертыми оставили две — он выбрал ту, окна которой выходили на улицу. Из другой комнаты — тесной, глухой, похожей на чулан, с невесть откуда взявшимся топчаном, — он принес два одеяла, лег, укрылся... Утонув во сне, он опустился до дна усталости, а когда вспыхнула капля наддонного зарева и ослепительно разрослась, он проснулся. Тихо треснул ставень — он подошел к окну, раздвинул створки и приник к решетке. За окном царила неподвижность, свирепствовал ветер, приподнялся панцирь ночи, чуть обозначились края облаков на




востоке, подсвеченные рвущимся в прорывы меж туч белым лезвием света. Продрогнув, он закутался в одеяла, сел в углу кровати, прислонившись спиной к стене. Бессонница последних месяцев стала привычной, как и усталость и беспокойство. Он сидел, кутая стынувшие плечи и грудь в одеяла, пялил глаза в полумрак углов и мерно раскачивался в такт изгибам плавной незамысловато-бесконечной мелодии. Бессонница появилась из той ночи, когда ему приснилось ослепительно разгорающееся веретено, и свет его — теплый, мягкий, клубясь, заполнял сон изнутри, и живой сгусток осознанного как он, Иуда, трепетал на грани соприкосновения ожигаемой плоти и парящего света и, не выдержав пытки светом, исчезал. Свет являлся ему в каждой попытке заснуть, но однообразность его попыток и неудач не научила покорству — такое покорство, усвоенное им как род разочарования и неудачи, было ему несвойственно. Поэтому раскачивания и напевания с кратким забытьем и пробуждениями и стали его ночами, его сном. Несколько раз за ночь гасли ощущения и вкрадывалось беспмятство — он замирал, подбородок упирался в грудь, клонилась голова, клонилось тело... замереть и ждать прихода сна, длиною во вдох и выдох, ждать наплыва дна, коснуться наддонного свечения — и, содрогнувшись, выскочить из забытья, в темноту, запечатлеваемую в обморочных зрачках — и вновь раскачиваться, напевать... Он жил без пауз, терзаемый днями тем, кто являлся ему по ночам в виде светящегося облака-веретена. День, заполненный делами насущными или придуманными, был бы совершенным спасением, если бы не ощущение его воли, глаз, его слов, жегших, как солнце, как ветер... Боже Многомилостивый, если бы он был хотя бы как темнота, как ночь... Иуда лег, повернулся к стене, запеленался. Перед лицом его повис паук. Иуда улыбнулся, дунул. Нить отнесло к стене, паук ударился о стену и провалился вниз, в щель между кроватью и стеной. Глядя в щель, Иуда тихо напевал, выманивал паука — ну, где ты там, взбейся вверх, войди в родную паутину, в украшенное мухами и пылью печально тканое гнездо, чего ты ищешь, подкрышный житель, здесь, на полу, где грязь чужая, шум чужой, чужая жизнь с чужой едой... Паук постучался, тронул, толкнул дверь, вошел и внес капель-

ку света. «Чего тебе... чего...» Иуда повернул голову, разлепил веки — над ним склонилось толстое, красивое, белое лицо. «Чего, чего тебе?» Лицо склонилось еще ниже, губы раздвинулись в радостную улыбку, украшенную ровными белыми зубами. «Здравствуй, друг!» — радостно говорит толстяк. «Что?» — вскрикнул Иуда, закрываясь локтем. «Здравствуй, друг, здравствуй!» «Здравствуй, — ответил Иуда. — Я посплю еще...» «Спи, друг, спи», — сказал толстяк, всплескивая руками и восхищенно моргая. Он подоткнул одеяло в ногах Иуды и вышел из комнаты. «Сейчас что-нибудь опрокинут», — подумал Иуда, приготовясь встать. Но — тишина... «Как вам угодно...» — морщась, вздохнул он и закрыл глаза. Кому нужна чужая еда и чужая пыль, когда и своей в досталь? Зачем падать на чужой пол, если свой родной и мягкий и послушный не так уж и далеко?.. Что делает паук по ночам? Куда смотрит, кого ждет?.. Обжигаясь, Иуда корчится, рвется в темноту... Стена. Ровная, шершавая, прохладная. Глухо капает сердце... Какой взгляд был у Иешуа ночью, в саду, когда он молился... Ему хочется видеть свой взгляд таким же, как у учителя. Как пал он на землю, как смотрел на небо... Какое у него было лицо... Зная — знал... Как знал. Как молился...

Иуда следил за ним из зарослей, видел, как за Иешуа крался другой человек, — он не узнавал его — мало ли их, по пятам следующих за учителем, не видящих и не понимающих его — никто не понимал его, никто, кроме него, Иуды!.. Но и он ошибся: он давно старался уловить Иешуа в одиночестве, желая подсмотреть его со стороны, когда учитель избавлен от домогающихся его взглядов, — Иуда жаждал проявлений ожидаемого, чтобы отбросить его в себе, сбросить тяжесть признанного величия — и презреть, — но Иешуа, не отступаясь, являл себя единым, как капля, — мощь человеческого начала, прорываясь наружу, уходила острием в податливую благодать небесной влаги и гасла в смирении и соответствии — преодоление становилось новой ступенью к себе, к избранничеству осознанному. Ночью он увидел его одного и единого, в ночь начала воплощения. Что узнают о нем те, обреченные опаздывать свидетели, которые бегут по его следам, пылят толпами и поодиночке вслед за ним от одного остывше-




то чуда к другому? — то, что услышит и увидит про-
кравшийся вовремя соглядатай? Но тот видит то же,
что и Иуда, — но кто осмелится подумать, что видят
они одно и то же?.. Страшен Гефсиман! — молящийся
Отцу, веря в Отца, веря Отцу, не верил людям, пол-
зущим к нему. Велик Гефсиман — он верил себе и про-
сил Отца наставить людей, дабы они поняли и проник-
лись волей, несомой к ним. Перед гранью воплощения
он был в одиночестве — по эту сторону бытия едино-
чувствие осталось недостижимо: те, избранные им, ус-
тали ждать, устали идти следом, устали не понимать,
устали не верить и сомневаться, но ждать, ждать,
ждать... Иуда, лежа в кустарнике, продрог, кутаясь в
плащ, он смотрел на Иешуа, иногда, тревожась — «Что
он там затих?» — поглядывал на человека, прячущего-
ся за деревьями, — тот вел себя довольно спокойно.
Учитель же все молился. Огромная белая луна, мрак
теней и свет, простые слова молитвы... Вдруг, вскрик-
нув, он упал грудью на камень. Подглядывающий за
Иешуа человек опустился на колени. Иуда тревожно
повел глазами — не знак ли подан?.. может, кто-то
еще наблюдает за всеми ними?.. Нет, очевидно, все про-
ще — этот такой же, как остальные: думает найти боль-
шее, если не главное, в той фразе, в том поступке, что
потаены самим автором, а не в самом водопаде жизни,
являемом открыто, без тайн. Иуда плотнее кутался в
плащ, ласково смотрел на Иешуа — запрокинув голо-
ву, учитель смотрел в ясное звездное небо и гладил ка-
мень, принявший на себя его тело. Тому, что произо-
шло дальше, Иуда объяснений найти не мог, кроме од-
ного: он заснул, и светящееся веретено привиделось ему
во сне... Когда вернулась ночь в зрачки, он посмотрел
в сторону, где прятался другой соглядатай, но ничего не
разглядел. Иешуа, помолившись еще некоторое время,
ушел к ученикам. И вот, опережая Иуду, к месту мо-
ления Иешуа ринулся соглядатай. Скинув одеяние, он
нагишом рухнул на землю, распластавшись, замер. Иу-
да зачарованно смотрел на него — что же привиделось
ему?.. Подавив растерянность и недоумение, Иуда от-
полз назад, поднялся и побежал к отряду воинов, ожи-
давшему его возле Иерихонской дороги. По уговору
Иуда должен был сообщить, где находится Иешуа с
учениками, и вернуться к ним раньше, чем придет от-



ряд. Но начальник воинов, вдруг заупрямившись, потребовал, чтобы Иуда следовал в Гефсиман вместе с отрядом. Говоря об этом, он поглядывал на непроницаемое лицо посланника Каиафы, во время всего разговора стоявшего рядом с Иудой и кивавшего словам начальника. Иуда ответил, что пусть их ведет тот, кто об этом с ними договаривался, он же пойдет впереди отряда, — или они готовы применить силу? Посланник Каиафы внимательно, словно оценивая его решимость, смотрел на Иуду и молчал. Нетерпеливо поведя плечами, римлянин последний раз глянул на посланника и дал знак начинать движение. Темная, стройная шеренга воинов прошла мимо Иуды слишком, как показалось ему, легко и быстро, он думал, что солдат будет больше. Слегка поклонившись, он обошел посланника, так и не проронившего ни слова, и поспешил к ученикам. Путь ему предстоял более замысловатый, чем путь отряда — ему нельзя было опоздать, его не должны были заметить идущим снизу вверх, его не должен нагнать отряд. Но темнота и торопливость подвели его — он несколько задержался, и люди, окружавшие Иешуа, были уже на ногах, они взволнованно переговаривались, суетились, пытались разглядеть что-то в тревожной темноте. Иуде пришлось затаиться в зарослях, ожидая всплеска их беспокойства, когда станет не до таких мелочей, как неожиданное появление одного из избранных со стороны подступающей опасности.

Преодолев изломы подножия, отряд уже втянулся в сад, шел, рассекая тишину, сжатой стремительной группой. Люди, во множестве пришедшие сюда с Иешуа и учениками, недоумевали, спрашивали — что происходит? кого ищут? Плакали разбуженные дети, исполошенно кричали женщины. Когда показались несшие факелы воины и донесся гул возбужденных голосов и стал явен нарастающий шорох шагов, Иуда, проскользнув краем зарослей, стал среди других избранных, ближе к учителю. Общее волнение не коснулось Иешуа — он спокойно оглядывал учеников, мягко улыбнулся Иоанну, тронул за плечо Фому... «Назарей, назарей!..» — неслись крики из подступающей толпы. Иуда, выйдя из-за спин учеников, приблизился к Иешуа — ему казалось, что теперь он может увидеть то, чего он так давно жаждал увидеть. Ощувив движение за спиной,



Иешуа слегка повел головой, но не обернулся. Отряд, обросший толпой любопытствующих и встревоженных, приближался. Метались языки факелов, неверно подсвечивая искаженные и разгоряченные лица. Передние ряды, не дойдя нескольких шагов до сжавшейся кучки людей, замедлили движение. «Назарей, выходи!» — крикнул один, поднимая факел. «Выходи!..» — вразнобой отозвался хор.. Передний ряд остановился, толпа, прибывая, надавила, и воины, сцепившие локти, отдавливающие спинами толпу, приблизились вплотную. Любопытствующие обежали воинов и почти вклинились между теми, кто пришел, и теми, кто ожидал пришедших. Из темноты, спугнутая шумом и беготней, выскочила собака и, визжа, забилась в ногах. Римлянин пинком отбросил ее и проговорил что-то гортанное, клацающее. К нему вытолкнули мятого, потерянно озирающегося человека. Римлянин тряхнул его за плечо, указал пальцем в стоящих напротив. «Иешуа Назарей должен назваться и выйти вперед!» — фальцетом воскликнул переводчик и исчез за спинами воинов. Взвились крики, замершая было толпа заволновалась, самые любопытные приняли смирительные тычки. Симон-Кифа схватил Иешуа за локоть и попытался втолкнуть его внутрь маленького круга учеников. Иешуа пошатнулся, опрокинулся назад, на руки подхватившего его Иуды. Смотрел он на Иуду, не видя его, взгляд его был пуст и печален. Он выпрямился не сразу, вытер об одежду увлажнившиеся от рук Иуды ладони, негромко сказал: «Я». Римлянин кивнул, поманил его пальцем — когда он рассмотрел стоявшего перед ним человека, суровость на его лице сменила презрительная гримаса. Из-за спины его выскочил Малх, раб первосвященника, ухватил Иешуа за край одежды — «Назарей, назарей!.. Смерти, смерти!..» — вопил раб, сероликий от страха и возбуждения. Иуда знал, отчего так спешит явить всем свою доблесть ничтожный раб: первосвященник обещал награду всякому, кто схватит объявленного преступником Иешуа Назарейнина, сына Иосифа-деревищика. Симон, хрипло ахнув, выхватил из-под плаща короткий меч и плашмя ударил им раба по лицу. Залившийся кровью, оглушенный Малх упал на землю. «Не смей, — сказал Иешуа, — брось... Стоять!» — взмахнув рукой, крикнул он, обращаясь к рванувше-

муся вперед воину. Молодой римлянин, готовый опрокинуть Симона, остановленный неожиданно прозвучавшим окриком-приказом, осаженный им как хлыстом, оступился и рухнул на колени перед Иешуа. «Если меня ищете, то нашли», — сказал Иешуа. Малх, лежавший у его ног, застонал, заныл, схватил молодого римлянина за плащ: «Назарей, назарей, я тебя, я...» Воин ударом кулака выбил из рабской горсти свой плащ, вскочил на ноги. Не дожидаясь грозного замаха, Симон бросился в толпу, растворился в ней. Ученики отпрянули, побежали прочь во тьму сада. За ними, прорвавшись сквозь цепь воинов, с ревом погнались несколько человек, — но азарта им хватило лишь на пределы сада — и они быстро вернулись — разгоряченные, гордые, показно неудовлетворенные. Малха подняли двое из людей первосвященника и унесли, посмеиваясь, — голова раненого раба болталась, словно у тряпичной игрушки, но он все пытался совладать с нею и посмотреть на того, кто мог принести ему заслуженную награду. Иешуа, окруженный уже воинами, уводимый, обернулся — у него за спиной, за спинами воинов никого из учеников не осталось, кроме Иуды — погнавшись за учениками, обтекли и не тронули его, не двинувшегося с места. Иуда, бледный, еле удерживающий крик, смотрел на учителя, драл ногтями ладонь. «Сделал то, что сделал», — тихо сказал Иешуа. Его подтолкнули в спину, оцепление, звякнув, двинулось — и в двойном оцеплении из воинов и толпы, среди звона, света, говора маленький покорный тихий человек понес неземное спокойствие. Опережая его, катился крик.

Растворились отблески факелов. Набирая силу, воцарялся неподвижный, мертвенный свет луны. Камень, брошенный из темноты, долетел до Иуды вместе с кратким сильным выдохом. Но в цель попал только выдох, камень со свистом пролетел мимо лица. Иуда охнул, присел, раздался шорох — тогда он вскочил и побежал. За ним гнались, а может, погоня ему только чудилась — что разберешь, убегая от предполагаемой смерти?

В городе, пометавшись по улицам, он вышел в условленное место, и двое ожидавших его людей, хмуро вызнавая — отчего он задержался, ведь отряд давно вернулся? — проводили его в незнакомый дом. Хозяин, вызванный провожатыми на задний двор, встретил

Иуду неприветливо, не задавая вопросов, провел в комнату для отдыха. И то, что с хозяином расплатились за ночлег на глазах Иуды, и то, что здесь, судя по беспорядку в комнате, гостей не ждали, насторожило Иуду. Оставшись в комнате один, он сел на кровать, осмотрел сбитые в кровь ноги. словно подглядев за ним, хозяин внес кувшин с горячей водой, таз и полотенца. Поставив таз возле ног Иуды и наполнив его, хозяин ушел и вернулся с другим кувшином, полным холодной воды. Сполоснув кружку, взятую со столика в изголовье кровати, он дал постояльцу напиться. Иуда выпил, попросил еще, кивком поблагодарил — хозяин ответил ему таким же кивком, поставил кувшин на стол и удалился. Иуда опустил ноги в таз, тоненько занял от наслаждения. В комнату заглянул хозяин, озабоченно посмотрел на Иуду и, поразмыслив, решил остаться. Забавное лицо было у хозяина — лоб был нагружен рядами глубоких, прогнутых вниз морщин, концы бровей у переносицы приподняты, а далеко, почти на висках — резко опущены, маленькие, криво вдавленные глазки были укутаны в густые ресницы, нос длинен, горбат, уныл, а рот, опровергая врожденное, запечатленное выше унылое удивление, рдел вызывающе ярко и изящно... Иуда, блаженствуя, шевелил в горячей воде саднящими пальцами, косился на застывшего возле двери хозяина и думал, что наверное и во сне у того не меняется выражение лица... После омовения рук, пожелав спокойного сна, хозяин забрал таз с полотенцем и вышел. Иуда, не раздеваясь, лег, укрылся. Он лежал неподвижно, дышал ровно и часто, сквозь смеженные веки смотрел на желтый, дробившийся в радужные нити огонек. Желанное успокоение не давалось, его отторгал слабеющий рассудок, изнуряемый памятью и томительными, тусклыми сполохами света. Просыпался частый легкий стук, угрозой понятый в чужой тишине. Иуда настороженно приподнялся, нащупал под подушкой нож. Отворилась нешироко дверь, и в комнату, покачиваясь, вошел ребенок. Он был бос, глаза его были закрыты. Подойдя к постели, он остановился, захныкал и полез под одеяло. Иуда отодвинулся, ребенок лег рядом, заворочался, примащиваясь поудобнее. Он накрыл его одеялом, погладил жесткие кудри. Ребенок, затихая, вздрогнул, нащупал гладившую его ладонь и

лег на нее щекой... Спустя короткое время в доме уже шуршали шаги, перекликались тихие сдавленные голоса. Вот голоса и шаги подкатились к двери. В комнату заглянула женщина, из-за спины ее выглядывали встревоженные лица. Он уже закрыл глаза, убрал руку с головы ребенка, ждал. Женщина, крадучись, оглядываясь, приблизилась, осторожно откинула край одеяла, подсунула одну руку под ноги ребенка, другую — под плечи его. Рука ее скользнула под подушку чуть глубже, чем следовало, наткнулась на нож. Женщина замерла, испуганно глядя на Иуду. У двери нетерпеливо зашептали. Постояв в неудобной позе, она мягко подняла спящего ребенка на грудь и, пятась, вышла. Зашелестели голоса, кто-то запричитал, вскипел грубый мужской крик. В комнату бесшумно ворвался хозяин, посмотрел на размеренно сопящего Иуду, скрипнул зубами и исчез. За дверью закричали еще громче. Еще не раз заглядывали в комнату люди, потом голоса отдалились, и все стихло. Иуда плакал, зарывшись лицом в подушку, накрыв голову одеялом. Плакал он долго, выплакавшись, затих, принялся напевать сам себе. Пронзительно заскулил пес и, после окрика, смолк. Иуда встал, начал расхаживать по комнате. Что-то упало, зазвенело, донеслись приглушенно спорящие голоса, называвшие его имя. Он упал на кровать, затаился. Когда установилась тишина, Иуда приник ухом к стене. Ничего не разобрав, тревожась, он задул огонек — в темноте дверь обозначила узкая вертикаль света, причем, только самый верх узкой полосы оставался неподвижным. Он подкрался, чуть отжал створку — и увидел, как стоящий в трех шагах от двери человек пробует на прочность тонкую черную бечеву. После нескольких рывков он аккуратно сложил бечеву, запихнул темный комок в рот, мерно зажевал... Иуда метнулся к кровати, выхватил нож и вернулся к двери. Человек уже продевал запястья в петли на концах бечевы... — продел, затянул, обмотал вокруг ладоней. Иуда отступил, перехватывая рукоять ножа, лихорадочно примерил замах. Потом сел в углу на корточки, уткнулся лицом в колени... Так могло случиться. Он сделал свое дело, кто-то делает свое, а этот — свое... так могло случиться, он думал об этом, и вот кто-то решил, что так должно случиться... Он ждал. Тишины не бы-

ло, ее заменил человек, готовящийся убить его. И вдруг тишина появилась — ее восстановил и нарушил сдавленный хрип... Иуда подполз к двери и заглянул в щель — никого за дверью не было. Он вышел из комнаты — в освещенном коридоре застыл ряд дверей, за одной из которых сейчас удушили кого-то, чуть дальше, в середине коридора, находилась лестница, ведущая из дома во двор. Страшно было и уходить и оставаться в доме, где его могли убить и оставили жить. Он нерешительно оглянулся на темноту покинутой комнаты, долго смотрел на место, где минуты назад стоял человек с удавкой — по стене, вытягивая темный след, улиткой полз плевка, растертые мокрые пятна отчетливо поблескивали и на полу... Миновав ряд дверей, он вышел к лестнице, медленно двинулся вниз — ступени были прочны, беззвучны, поручни — неподвижны. Внизу, в створе лестницы, света еще хватало, но уходящие вправо и влево галереи тонули во мраке. Он постоял на пороге дома, не решившись сразу идти сквозь тени угрожающе бескрайнего двора — стоял, прислушиваясь, поглядывая наверх. Внезапно распахнулась не замеченная им боковая дверь, повеяло теплом, паром, и перед Иудой появилась старуха со стопкой белья. Прищурившись, она осмотрела Иуду — тот, желая что-то сказать и не находя слов, воздел в растерянности и отчаянии руки. Старуха взвизгнула, потому что в правой руке он держал нож. Иуда отпрянул, мешкая, заметался, не зная, куда деть нож, куда деться самому. Старуха закричала. Ударили двери, загремели шаги. Иуда метнулся через двор, как в воду с разбега, ударился в ворота. Ему повезло — ворота оказались не заперты. Он побежал — и теперь уж точно за ним гнались. Он плохо знал Новый город, и это, может быть, спасло его — избегая ищущих и хотящих его рук и глаз, бездумно петляя, он словно запеленался незнакомыми полотнищами стен, надежно заблудился в шепотном лабиринте складок сонных улочек. Потом он выбрался из закоулков, пришел к Ефрему, и тот отправил его в этот пустой дом, где, по заверениям Ефрема, он мог надежно укрыться... Бедный, несчастный Ефрем...

Иуда лежал без сна, без спокойствия, слушал биение сердца — гулкое и гнетущее, загорались, тлели, теснясь, и меркли ощущения себя, ночи, погони, дома,

крика, пережитого страха и бессилия, потаения, желанья спать, ножа... Неуправляемый и неподчинимый, поток ощущений тек, дробился — и прерывать нити испуга он был бессилён. Но оказалось, что неосильное ему подчиняется шагам и шелесту двери. Иуда повернулся. Перед ним, держа в руках стул, замер толстый весельчак. «Извини меня, друг, — сказал толстяк, опустив стул на пол и усаживаясь, — у меня времени мало. Я так занят, — он вздохнул, улыбнулся и опять вздохнул. — Как ты себя чувствуешь?» Иуда пожал плечами. «Ничего, ничего, — закивал толстяк, озабоченно потирая руки. — Мы тебя понимаем. Мы все понимаем. Мы все ценим». Иуда смотрел на его веселые гибкие губы, на толстые, тупые с обгрызенными ногтями пальцы, — пальцы гладили матерчатый кошель — когда же толстяк переставал улыбаться, пальцы шевелились быстрее и беспокойнее. Толстяк сморщился, громко чихнул. «Это тебе, — сказал он, кладя кошель рядом с Иудой. — Пока этого тебе хватит. Потом дадим еще. — Толстяк взял кошель, помял и положил Иуде на колено. — А пока хватит...» «Зачем? — спросил Иуда. — За что?» «Ну, как же, друг... — расстроился толстяк. — Ну, что ты... Мы же все понимаем, все оцениваем...» Иуда молчал. «Здесь десять монет! — сказал расстроенный весельчак и, затмевая беспокойство, широко улыбнулся. — Десять монет — это...» Иуда шевельнул ногой, и кошель свалился на пол, глухо звякнув. «Ну, зачем ты так?.. Мало? Скажи... Мы все понимаем! — Толстяк почесал колено и достал еще один кошель, уже кожаный. — Вот! — он потрянул мешочек. — Здесь еще десять! Ну, что ты, что?.. — он закрыл глаза, скривился и чихнул. — Какой ветер... У меня уже спина замерзла... И шея... Я тебе еще слугу оставлю. Скажи ему, что тебе надо, он все сделает. Он расторопный... Скажешь? Это так, без всякой платы... Двадцать монет, двадцать монет... Он за тобой присмотрит, и поест, и убрать, он все... Он расторопный». «Что с ним?» — спросил Иуда. «С кем? — испугался толстяк. — Ты о ком?» «Что Иешуа?» «Иешуа? — толстяк нагнулся, поднял с пола кошель, ссыпал деньги в матерчатый мешочек и затолкал под подушку. — А что Иешуа? А что с ним? Я не знаю». «Его уже отпустили?» «Куда отпустили? — толстяк спрятал пустой кошель за пояс.

— Я не знаю. — Он посмотрел на дверь, вздохнул, потер руки. — Друг, ты сделай милость, не выходи из дома пока, чуть-чуть потерпи. Все, что надо, слуга делает». «Забери своего слугу, он мне не нужен, — сказал Иуда, ложась на кровать. — Пусть еды принесет и уходит. И деньги забери». «Нет, прошу тебя, нет, не надо так... — зачастил толстяк, весело и беспомощно улыбаясь. — Ну, что ты, что ты.. Зачем так? Не надо, друг, не надо так. Мы все понимаем. Но у меня больше нет, с собой нет... Пусть он останется, так лучше, так надо, мало ли что?..» «Что он сможет, если мало ли что?» Толстяк мученически поморщился, закатил глаза — каждая мысль, судя по всему, давалась ему с трудом, он терпеть не мог противоречить и противоречий, ему было жаль тратить свою толстую веселую жизнь на то, чтобы убеждать кого-то в необходимости того-то и того-то. Убеждать Иуду в том, что, казалось бы, так ясно, хорошо и просто, было ему мучительно еще и потому, что он не понимал — зачем того убеждать? — и мучиться ему не хотелось, — поэтому он молчал, вздыхал, улыбался, вздыхал, потом погладил Иуду по колену и вышел. Вернулся он вскоре — и не один. Иуда заметил, что в дверях толстяк и слуга замешкались. «Друг, — позвал толстяк, — друг... Вот он, — слуга!» В тоне его слышался искренний нескрываемый восторг. Рядом с толстяком стоял рыжеволосый человек. «Пусть он принесет еду и уходит», — сказал Иуда. «Еда, мой господин, уже здесь», — сказал слуга. Толстяк вздрогнул, глянул на слугу, закивал. «Да-да-да, — торопливо проговорил он, — да-да-да... Здесь, здесь... Он все сделает, все.. Вы договоритесь. — Он подошел и погладил Иуду по колену. — Он все сделает... А я пойду, хорошо?.. У меня столько дел, столько дел! Отдыхай, друг, отдыхай — и все будет хорошо!» «Уйди, — закричал Иуда, — уйди! Уйди!» Толстяк отдернул руку и выскочил из комнаты. Слуга засмеялся, прикрыл за ним дверь. «Сейчас я помогу тебе, господин», — растирая пальцы, сказал он. «Оставь меня, — сказал Иуда. — Принеси еды и уходи. Я заплачу». Слуга поднес руку к его затылку, плавно и мягко, не касаясь волос, повел ладонь от затылка ко лбу. «Сейчас тебе станет легче», — сказал он. Иуда хотел сбросить его руку, но замер — голова его, вместилище тревоги и бе-

спокойства, под рукой слуги вдруг исчезла, и вместо изнуряющей тревоги подступили легкость и тепло. Он закрыл глаза и провалился в предоставленный ему покой.

Очнулся он так же вдруг, как и забылся — возникла тревога и зажила жалящим светом. Иуда нехотя открыл глаза, огляделся — почти ничего не изменилось, углы комнаты оставались по-прежнему непроглядны, за окном разве что чуть посветлело. Краткий глухой сон взбодрил его, отчасти напомнил утраченное ощущение легкости и уверенности. Он потянулся, сел на кровати — и тут же в комнату вошел рыжий слуга. Иуда вспомнил, что он есть, и встретил его улыбкой. Тот улыбнулся в ответ — «Как спалось господину?» «Кто ты? — спросил Иуда. — Ты не похож на слугу». Слуга, улыбаясь, пожал плечами — «Все мы чьи-то слуги, и я тоже». Иуда отмахнулся — «Да-да, я уже где-то это слышал». «Господин хочет есть?» — спросил слуга. «Перестань», — сказал Иуда, поднимаясь. «Слушаюсь, господин», — подставляя Иуде сандалии, ответил слуга. «Перестань, сказал я тебе». «Слушаюсь, мой господин», — испуганно пробормотал слуга. Иуда шагнул к нему, склонившемуся в поклоне, и натолкнулся на тихий смех — «Прости, господин, но ты на самом деле господин». «Чей?» — отступая, спросил Иуда. «Пока мой. Пойдем, господин, умываться и завтракать. Все готово».

Услужаящий легко и просто слуга, не похожий на слугу, и его нынешний господин, пребывающий в ряду обездоленных и совсем не убежденный в том, что выскочил из ряда гонимых, сидели за столом и завтракали. Господин усадил слугу за стол не сразу, лишь преодолев некоторое его сопротивление. Сдавшись воле господина, слуга сел напротив. Держался он с изящной готовностью, предлагал и подавал, вовремя наливал, говорил без умолку. Небольшой стол был уставлен яствами сверх всякой меры — теснились чаши, блюда и мисы налезали друг на друга, выступали за край стола, висели над полом. Иуда был подавлен непринужденностью новоявленного слуги, живописным изобилием стола, иллюзией спокойствия и легкости, возможностью длить и длить обретенное спокойствие. Резкость метаморфоз вызывала чувство протеста, правда, протеста

разбавленного — он, внутренне протестуя, не хотел мешать этой странной игре, ведь сейчас она велась пусть в необъяснимых, но приятственных условиях. Но удерживаемый вне правил затеянного, он чувствовал себя неуверенно, рискуя всякий миг остаться с голым протестом наперевес — каково обвинять неизвестно кого за странную несхожесть ночных и утренних ощущений?.. «Послушай, как звать тебя? — спросил Иуда, прерывая рассказ слуги о веселом времяпрепровождении его в Самарии. — Кто ты, откуда родом? Ты не похож на иудея». Слуга предварил ответ неизменной улыбкой — «Разве это столь важно? Зови меня как пожелаешь. Родом я, откуда пожелаешь. И похож я на всех, кто не похож на иудеев». Иуда не терпел путаниц, они злили его, потому что он любил думать строго, и ответ слуги разозлил его. «Я буду звать тебя Рыжим, родом ты будешь из Дыры, и похож ты на сверчка из дыры дома, который...» Слуга сидел, скрестив на груди руки, морщил нос и безмятежно помаргивал — не шевельнулось и тени движения—а стол дрогнул, и чашка с приправой опрокинулась Иуде на колени. Слуга вскочил, засуетился вокруг Иуды — «Ай, господин, ох, господин», — причитал он, размазывая соус по одежде. «Рыжий, положи, будь добр, руки на стол», — попросил Иуда. Слуга удивленно воззрился на него, вытер тряпкой ладони и протянул Иуде. «И кто же ухаживает за твоими руками? — спросил Иуда, разглядывая его холеные руки с широкими светлыми ободками незагорелой кожи на фалангах пальцев. — И что за перстни носят слуги твоего господина? И зачем они их снимают?» «Господин, я дорогой слуга. И есть слуги подешевле, которые следят за моими руками. И перстни, что я обычно ношу, лежат сейчас в надежном месте, которое охраняет другой слуга — ведь я же не знал, кому мне придется служить», — спокойно ответил слуга, убирая руки. «Садись и рассказывай — кто ты? И, будь добр, не пытайся меня запутать. Я не люблю этого. Если не хочешь отвечать, так и скажи. Зачем тебе путать меня?» «Хорошо, господин. Я расскажу. Но только не о себе, а о ком-то, чтобы ты все хорошо понял. Я придумаю и расскажу красивую и жестокую историю, которая понравится тебе. Ты готов слушать?» «Да». «Но прежде позволь мне убрать со стола и вымыть так понравив-

шиися тебе руки». Иуда встал из-за стола и — он готовился к этому давно — шагнул к двери, распахнул ее. Слуга даже не повернул головы... По пустому двору, беспокойно горланя, расхаживал грязный белый петух, ветер трепал длинные, обвисшие перья его хвоста. Иуда закрыл дверь, огляделся вокруг, потом медленно пошел через двор. Петух, отступив к решетчатому притвору курятника, распустил крылья — одно крыло было вымазано синей краской, — вытянул шею и заголозил... Дойдя до ворот, Иуда выглянул на улицу... — и ничего не произошло, никто ниоткуда не выскочил, не схватил его, не закричал. Он был ошеломлен столь резко и уверенно отпущенной ему свободой, кто-то знал о его страхе лучше, нежели он сам... — опять навалились растерянность и тревога, ожило ощущение уловленности — ожило без каких-либо внешних подтверждений. Он пытался подавить ростки мерзкого ощущения, потому что следом за ним вызревала истерика. Впервые подобный вызревающему припадок случилось ему пережить в детстве. Он поймал ящерицу, принес ее домой, собираясь позабавиться так, как забавлялись все дети — веревочка завязана поперек тельца под передними лапками — и бегом, бегом... Но в тот день случилось иначе — ящерица не убегала. Он пробовал растормошить ее, и после нетерпеливого, грубого движения у ящерицы отвалился хвост. Когда он увидел влажные зубчики бледно-розового мяса на месте слома хвоста, он вдруг застыл, оглох, потерял разум — и начал рвать ящерицу на куски. Его тошнило, внутри него бесился торжествующий вопль, металось отчаянное и бессильное «нельзя» — и он рвал и рвал шкурку, лапки, смотрел на внутренности, на кровь, на свои пальцы, на кровь под ногтями. Потом он, разочарованный простотой увиденного, отчужденно растоптал и вбил в землю красно-зеленые лохмотья и отправился мыть руки. Самое ужасное он понимал и помнил — в нем бесилось торжество. Вернувшийся разум заставил его ужаснуться содеянному, пойти и убрать с глаз следы преступления — он понимал, что совершил запретное, — но торжество совершения ни в малой степени не убыло, осталось осознанным и незабытым. Как не забылся и вечер того же страшного дня заблуждения воли, когда он, расплющенный между преступным

торжеством и ужасом содеянного, ожидающий уже не состоявшихся взглядов, а вопросов и кары, когда уже некуда было деваться от плоти намеков, подтверждающих чужое знание о его преступлении, забился в рвотной истерике. Перепуганные родители быстро, к собственному спокойствию, «избавили» ребенка от нагнавшей порчи с помощью средств традиционных.

Если бы не странный слуга, он решил бы, что с ним пытаются расплатиться и отбросить. Но для чего появился этот, снимающий перстни перед услужением? зачем он здесь, кто приставил его служить?.. От переутомления, тревоги, от непонятного знобило. Он вернулся в дом, показавшийся холодным, мрачным после согревающегося утра. «Будь возле меня», — сказал он слуге. «Как господину угодно», — ответил тот. Иуда хотел лечь, но передумал. «Возьми одеяла и принеси на веранду», — сказал он, направляясь к двери. Его чуть не сбил с ног ворвавшийся в дом человек. Ругнувшись, он толкнул Иуду за порог и захлопнул за ним дверь. На веранде, под навесом, где собирался устроиться Иуда, сидел еще один человек. Иуда усмехнулся — ну, вот, наконец-то... Человек отвернулся от него, и Иуда остался у двери, прислушался. Говорили за дверью на греческом языке. Иуда знал этот язык и понял, о чем идет речь. Он вскрикнул и распахнул дверь. Слуга сидел, незнакомец стоял. «Что вы сделали? — закричал Иуда. — Кто из вас безумец? Что вы сделали?» Человек подскочил к нему, ударил в лицо. Иуда упал, голова и плечи его оказались за порогом. Человек выхватил нож, навис над поверженным. Его перекошенное от злобы лицо исчезло, как только раздалось легкое звонкое прищелкивание языком. Человек втащил Иуду внутрь и усадил его на полу, спиной к стене. «Господин, а, господин, ты слышишь меня?» Иуда с трудом поднял голову, незряче моргнул — перед глазами стояла пелена. «Помоги ему», — пробился сквозь гул и звон голос слуги, и через минуту Иуду окатили водой. Он шевельнул разбитыми губами, попытался встать, но подкосились ноги. Квадратное багровое лицо незнакомца приблизилось к его глазам, страшно и неопратно расплылось. Иуда отпрянул и закричал — крик его остался внутри, наружу вылетели стон и слюна с кровью. Теперь отпрянуло страшное

лицо. «Если он плюнул, я убью его!» — грянуло сверху. «Помоги господину, — сказал слуга, — ему неудобно на полу». Иуда хотел подняться сам, но его опередили, вздернули вверх — и он оказался на стуле. Напротив него сидел слуга. Внимательно посмотрев на Иуду и покачав головой, слуга встал — в руках у него была тряпка, он обтер ею лицо Иуды, ощупал его губы — Иуда застонал, поморщился от запаха и привкуса грязного жира. «Ничего страшного, господин, — сказал слуга, выполаскивая тряпку. — Он слишком сильно ударил, потому что слишком сильно был расстроен. Теперь ему легче, но страдает господин. Как же тут быть, а?.. Я думаю, господин мой, ты должен простить его. — Слуга приложил тряпку к губам Иуды. — Когда он расстроен, он очень несдержан. Прости его, господин». Иуда посмотрел на слугу, повернул голову к расстроенному незнакомцу — тот, не мигая, пялился на него. Иуда шевельнул губами. «Ты хочешь спросить — кто он? — сняв тряпку с губ Иуды, спросил слуга. Он окунул тряпку в миску с розовой водой, выжал, встряхнул. — Можно долго говорить, кто он, но я отвечу коротко — как ты, назерное, догадался, это мой добрый слуга». Слуга цокнул языком, указал на пол, и его добрый слуга грузно опустился на колени. Слуга вновь поцокал языком, и человек придвинулся к Иуде, подставил ему свое багровое лицо с неожиданно тихими, покорно ожидающими глазами. «Господин, мой слуга ждет, — сказал слуга. — Он человек чрезвычайно занятой, у него много дел. Если тебе больно говорить, больно целовать его бороду, прости кивком». Иуда шевельнул губами, проглотил слюну и отвел глаза. «Иди», — сказал он, — иди с миром». «Ты свободен и прощен! — торжественно сказал слуга. — Прощен — и потому свободен. Мой господин великодушен, он даже не плюнул в твои прекрасные глаза, а вылизывать его грязные сандалии ты, кажется, не хочешь? Так?» «Хочу», — помедлив, робко сказал добрый слуга. «Вот как? Хочешь? — переспросил слуга и взял миску. — Тогда, омой смердящую пасть». Человек, прополоскав рот, выплюнул воду обратно в миску и нагнулся к ногам Иуды. Тот отдернул было ноги, но человек, намертво защемив сухожилие, выволок его стопу из-под стула. «Нет, — сказал слуга, — не могу. Ты не достоин. Сту-

пай вон, тварь, и мучайся, что тебя лишили этого удовольствия». Слуга указал на дверь, и человек ушел. «Что вы сделали?» — простонал Иуда. «Ты решил плюнуть? — спросил слуга. — Или желаешь принять лобызание? Вернуть его назад? Еще не поздно». Иуда отвернулся. Слуга поднялся, открыл дверь, постоял на пороге спиной к Иуде — его рыжие волосы горели пушистым облачком. «Это сделали не мы», — сказал он, возвращаясь к столу. «Как вы допустили это?» — крикнул Иуда и схватился за губы. Слуга подал ему тряпку — «Мы ничего не допускали, господин, это заслуга других». «Что вы сделали? — стонал Иуда. — Что вы сделали?» «Послушай, господин, нельзя мучить невинных слуг, всему должен быть предел. Не он первый — не он последний. Не ты первый — не ты последний. Не я первый — не я последний. Нельзя же жить так, словно ты последний господин в мире, а я — первый слуга. Каждый из нас делает то, что в его силах, а то, что сверх сил наших, подчиняется невозможному». «Где он? Что ему грозит? Что можно сделать?» — не слыша увещаний, причитал Иуда. «Господин требует отчета? Изволь, я готов, но вырази свою волю поскладнее». «Я прошу, я умоляю — будь серьезен!» — закричал Иуда. «Господин, если бы я стал вдруг серьезен, то первым делом я бы тебя убил», — вздохнув, сказал слуга. «А дальше?» — спросил Иуда, через силу улыбаясь, и голос его дрогнул. «А дальше я бы очень раскаивался в этом, еще и потому, что тебя наверняка убьют другие очень серьезные люди. Не вмешивайся, господин, в мое право быть несерьезным. Ты так нам помешал, что я даже огорчен, что тобой займутся другие... — слуга вздохнул. — Не пугайся, господин, это я горестно шучу». «Где Иешуа? Что решил синедрион? Я не ослышался, они решили идти к Пилату?.. Но... Это значит...» «Да, мой господин, синедрион приговорил его смерти». Иуда закричал пронзительно, тонко, вибрирующий вопль переполнил комнату, лицо его исказилось от ужаса, струйка крови перечеркнула губы и скользнула по бороде. Слуга, опешив на мгновение, зажмурился, а придя в себя, проворно выплеснул ему в лицо воду из миски. Он забыл, что там же лежит и тряпка. Иуда поперхнулся водой и криком, смолк, — слуга захохотал, всплескивая руками... «Прости, господин, но ты

был так уморителен с этой тряпкой на лице». Иуда смотрел на него, комкал тряпку в руках. «Господин, вытри, будь добр, бороду, кровь сейчас капнет на одежду... Ну я же попросил прощения, будь милосерден, господин, ты же не хочешь, чтобы я опять засмеялся, глядя на твое обиженное лицо». «Надо же что-то делать, может произойти нечто ужасное», — сказал Иуда. «Что-то и нечто, нечто и что-то, — повторил слуга. — Я согласен с тобой, господин. Когда скажешь, пойдём и плюнем в их глаза. Пойдем, господин?» Иуда бросил тряпку на стол, промокнул рукавом губы и бороду, утер лицо — «Пойдем сейчас же». Слуга опустил тряпку в воду — «А что ты там будешь делать, кроме плевания?» — спросил он. «Его нельзя убивать. Я его предал, я и скажу, что он невиновен». Слуга потупился, наклонил голову, скрывая улыбку — «Господин шутит?» «Нет. Пойдем». «Ты всерьез считаешь, что ты предал его и что он невиновен?» «Это не имеет никакого значения — его не должны убить!» «Для них не имеет никакого значения, господин, виновен он или нет по твоему или еще по чьему-нибудь мнению. Его осудили уже до суда. Ты разве не знаешь, что Каиафа сказал: пусть погибнет один, нежели весь народ?» «Но как же суд...» «Какой суд? Какой суд, прекраснодушный господин? Ты веришь в синедрион, собранный ночью? Они сидели и ждали, когда его приведут». «Но мы говорили о другом! — вскочил Иуда. — Его должны были...» — он смешался, замолчал. «Говори, говори, господин, я о многом знаю и лишнее мне не помешает. Итак, успокойся, сядь и говори — что его должны были...» «Не осудить». «А что же, господин?» Иуда, помолчав, ответил: «Его должны были выслушать и осмеять». «Что? Что? Я не ослышался? Осмеять? Синедрион?!» «Да. Осмеять и отпустить. Синедрион должен был его осмеять, предать осмеянию». «Ты в своем уме, господин? Кто был назначен главным изготовителем масок с хохотом?.. Ах, да, какие могут быть к тебе сейчас вопросы — тебя же только что обидели. Но и то... Ты представляешь себе, что такое синедрион для осмеяния?! Ты можешь употребить нож для ковыряния в ногтях или штопор во время запора, но данные предметы служат не только твоим прихотям, и большинство людей используют их для иных целей! Мой господин, тебя об-

манули...» «Я пойду туда, я скажу, что он невиновен! — крикнул Иуда. — Я это сделал, я, я и оставлю!» «Ты? Ты это сделал? Господин, не присваивай себе чужих заслуг, ты и без этого прекрасный господин». «Я пойду!» «Иди. И я буду рад увидеть тебя вновь». «Я все равно пойду, и я скажу...» «Иди, господин, иди, иди и скажи, если такова твоя воля, но я должен предупредить тебя — ты пойдешь без меня». «Разве я искал тебя? Ты мне не нужен!» — отмахнулся Иуда. «Позволь усомниться, господин, это ты от скромности и от того, что долго привыкаешь обладать слугой, а подытоживая сомнения, выскажу совет: если возникнут трудности, кричи о деньгах, только о деньгах, что тебе мало выплаченных денег». «Какие деньги? Я их верну, кину им в лицо их жалкую подачку!» Иуда вскочил, шагнул к двери. Слуга одобрительно кивнул: «Правильно. Только деньги у тебя под чужой подушкой. И плюнуть не забудь, ведь они обманули тебя. Но до всего этого, идя туда, постарайся не обратить на себя внимания, а то не дойдешь. Мне по душе твое упрямство, но на всякий случай перекрась волосы, начни хромать и заикаться... Т-ты еще не о-о-одумался, мой господин?.. Тогда оставь мне половину твоих денег. Ну, хотя бы за совет. Ведь вот вдруг они такие, скажем, не очень умные, заявят, что ты не все деньги вернул, а у тебя, как назло, все в наличии? Спасешься, гляди... Но прежде, будь добр, ответь: ты уверен, что деньги тебе принесли от тех, кому ты собираешься их возвращать?» Иуда сел за стол, обхватил голову руками. Задумавшийся о чем-то слуга, щурясь, теребил висок. «Дай напиток», — попросил Иуда. Слуга рассеянно посмотрел на него и подал свою чашку. Когда Иуда пригубил, он спросил: «Господин, будь добр, ответь мне — почему Иешуа назначил тебе таскать денежный ящик? Почему ты, а не Левий? Ему вроде бы сподручнее, а?» Иуда молчал, цедил воду. Он не желал вновь оскорблять себя, ибо объяснение было унижительно. Если бы не Фома, объяснению которого Иуда поверил, он бы сам терзался неизвестно как долго. Но Фоме должно было верить, ведь остальные объясняли решение учителя, вторя так или иначе толкованиям безумного Иоанна. Этот безумец в ранге любимого ученика, мнящий себя неоспоримым, вдохновленным свыше тол-

кователем всего сущего — никто его не мог оспорить, ибо никто и не оспаривал его безумных мыслей, — так вот Иоанн, поинтересуйся у него Иуда, означил бы выбор Иешуа как слово свыше. Фома, «успокаивая» расстроенного Иуду, как всегда сначала нагрубил, мол, ему не до этих мелочей, но, смилостивившись, объяснил собрату очень убедительно: это обычное житейское поручение — четыре дня назад, когда Симон-Кифа, считая деньги, рассыпал их, все бросились собирать монеты, все, кроме Иешуа и Иоанна, и именно он — Иуда — кинулся за монетами, укатившимися дальше других, а не за теми, что лежали у самых ног... Иуда заставил себя улыбнуться такому «простому» объяснению, Фома же сказал, что уж если его волнуют такие подробности, пусть он задумается о том — «куда, брат, смотрят твои ноги»... Слуга, не дождавшись ответа, спросил: «А где ящик с деньгами, господин? Не потерял ли ты его?» «Ящик? — переспросил Иуда. — Как потерял? Я оставил его в доме, где устраивали последнюю вечерю». «Напрасно, напрасно, господин, — покачал головой слуга, — напрасно ты бросил деньги. Взял бы с собой или потерял — все лучше было бы и проще». Иуда смотрел на слугу с вниманием глуповатого старательного ученика — он никак не мог понять: что происходит, чего добивается рыжий слуга, почему и что было бы лучше и проще, если бы он связался с деньгами?.. Он был растерян. «Послушай, ты можешь наконец ответить — что случилось? Что происходит? Что с Иешуа? Где он?» «Ты обещаешь мне больше не кричать, господин, а то я воды зачерпну?.. Ладно, ладно, не хмурься. Это тебе не к лицу... Еще не все потеряно, но история вырвалась из рук... Странное у меня ощущение, господин, будто кто-то нарочно рвет нити, держать не за что... Вيني в этом только Иешуа». «Только его?» «Твое самомнение, господин, противоположно твоим заслугам. Но если тебе будет легче, лезь в игольное ушко. Блажен пытающийся. Не посрами учителя, ученик, господин мой!» «Попробую», — ответил Иуда, поднимаясь из-за стола. «Я не очень удачно шушу, господин. Не упрямясь, поверь, все хуже, чем ты думаешь, все стало очень плохо». «Так плохо?» — спросил Иуда, оправляя одежду. «Почти безнадежно. А в «почти» ты не втиснешься, и без тебя пытаются». «Поз-

воля мне самому решать», — возвысил голос Иуда. «Не смею противиться. Если тебя не станет, господин, мне будет спокойнее. Иди, Бог тебе в попутчики и тот, кто встретит тебя за воротами. Скажи ему, он проводит тебя. Но последний совет — не ходи». «Я должен», — ответил Иуда. «Последнее дело, говорил мой учитель, разубеждать прекраснодушных упрямецв... Ох-хо-хо, господин, господин... Что и кому ты должен? Не себе ли? Если ты думаешь о себе, кто же тебя разубедит? Но если ты опять бредешь мыслями о других, берегись — забредешь и угробишь. Они в чужом городе, ты же в своем, и никто не может быть машшиахом в своем городе. Не бери на свои плечи чужого — уронишь, потеряешь, разобьешь... Если идешь, иди сейчас, пока солнце не взошло окончательно. И постарайся вернуться. Я буду рад, если ты вернешься, впрочем, я не потеряю аппетит, если ты и потеряешься. И еще — знай, ты выбрал решение, которое мало кто предполагал, будь готов к чему угодно, дураки и бездари зажжены. И не возвращайся, будь добр, без того, кто будет сопровождать тебя». Иуда, терпеливо выслушав, кивнул, набросил поданный слугой платок, взял деньги и ушел.


...Вернулся Иуда скоро... Провожатый — юноша лет пятнадцати, упорно молчавший по дороге в оба конца, — оставил его у ворот, и во двор Иуда вошел один. Старательно политая водой площадка перед порогом успела высохнуть, и грязь схватилась волнами корки. В доме опять никого не оказалось. Он настороженно прошелся по дому, потолкался в запертые комнаты, убедился в одиночестве и обрадовался — он был избавлен от муки говорить со слугой. Но радость его длилась совсем недолго — слуга объявиться не замедлил. Когда он вошел, Иуда стоял к нему спиной и не обернулся... «Я все знаю, господин, я тебе сочувствую. Они сделали все правильно. Какое им теперь дело до тебя и твоих денег? Правда, если бы ты не забыл плюнуть, они могли и утвердить твое своемыслие». Иуда повернулся к нему, и слуга задумчиво посмотрел на ковш в его руках — «Забыл, господин, так забыл. Что же делать? Со всяким случается. Прости себе это — и забудь... Позволь, господин, и мне напиться. Не побрезгуешь, если я напьюсь из одной с тобой посуды?» Иуда протянул ему полный ковш. Слуга хотел было взять,

но раздумал. «Прости, господин, что-то расхотелось мне пить... — слуга сел за стол, помолчал... — Он вел себя как безумец. Подумай — учить в доме первосвященника?!» «Его били?» — спросил Иуда, отставляя ковш. «Конечно, но не так, как тебя», — улыбнувшись, сказал слуга. Иуда резко повернулся к нему, и тут опрокинулся ковш, ноги Иуды залило водой. Слуга указал рукой на стул: «Или не занимайся, господин, не своим делом, или будь аккуратен... Все шло в соответствии с замыслом, господин, но он вздумал и в доме первосвященника выгладеть машшиахом. И надо признаться, господин, у него это получалось... Странный человек, господин, твой учитель... Мне кажется, только у него все и получается... Скажи, все эти чудеса, обвивающие его, это правда?» «Да, — сказал Иуда. — А у кого...» «Ты лжешь, — перебил его слуга. — Ты лжешь, даже если ты говоришь правду, господин. Ко мне приводили одного исцеленного им, который был бесноват и исцелен. Он впрямь оказался здоров. Так мы убедили его вновь сделаться больным». «Я знаю, о ком ты говоришь, — сказал Иуда. — Он был исцелен вновь». Его слова вызвали улыбку слуги: «Я же говорю, что ты лжешь, господин. Мой бывший здоровый бесноватый сейчас одержим очень надежно, это проверено и не раз. Наше искусство общеизвестно, и не говори, что ты имел в виду другого бесноватого. Но как творит свое, если это правда, твой учитель?» «Не знаю». «Верю, но это очень плохо, господин, что ты не знаешь». «Никто не знает этого», — поспешно сказал Иуда. «Тем хуже для него и для тебя, мой господин, если никто не знает. Было бы два целителя-машшиаха на один наш город, было бы гораздо лучше». «Чем? — спросил Иуда. — Чем лучше?» «Уж лучше бы ты сказал, что во все времена достаточно одного целого машшиаха. Ты казался мне разумней, господин, но отнесу твое неразумие на временное расстройство из-за обилия новых впечатлений. Привык, понимаешь, мой господин, мой слуга иметь дело с более прочным материалом, а тут ты подвернулся, да еще не вовремя, да он был расстроен, да ты, господин, после ночных переживаний... Ах, господин, все одно к одному!..» — слуга огорченно махнул рукой и замолчал. Молчал он непривычно долго. В продолжение разговора он часто поглядывал за спину

Иуде в окно — и Иуда решил, что слуга тянет время в ожидании каких-то вестей. Оборванный внезапно разговор внушал Иуде невозможные, безумные мысли, его попытки привлечь к себе внимание остались незамеченными — слуга просто вычеркнул его присутствие — развалясь на стуле, он поглядывал в окно, на Иуду, пощипывал мочку уха, почесывал голову, иногда, неожиданно уставясь на Иуду, прищурившись, начинал что-то подсчитывать, слегка загибая пальцы и отчеркивая ногтем метки на столе... Иуда наконец не выдержал. «Ты кого-то ждешь? Кто-то должен прийти?» — спросил он. «Жду, — ответил слуга, вздыхая и теребя ухо. — Но ты не беспокойся — Иосик больше не придет... — он потер руки. — А что, господин, ты не проголодался?» «Нет». «А я, когда волнуюсь, — ты, наверное, заметил, что я очень волнуюсь, — всегда есть хочу. Ты позволишь мне поесть?» «Ешь на здоровье, — сказал Иуда. — Я пойду лягу». «Благодарю господина за заботу о моем недостойном здоровье, — поклонился слуга, вставая. — Пойдем, я тебя уложу». Иуда не успел сделать и шага, как слуга подхватил его на руки и внес в комнату. Ему казалось, что слуга не донесет, выронит его на пол, но тот бережно и аккуратно переложил его на кровать, укрыл и, поклонившись, пошел из комнаты. Иуда остановил его в дверях. «Послушай, Рыжий, а у кого... — голос звучал сипло, Иуда откашлялся, — у кого еще не получается?» Слуга мягко глянул на него, усмехнулся: «У тебя, господин. И еще кое у кого. Но это не должно тебя беспокоить. Дай Бог, чтобы у одних и не получилось, а заботы о других поручи мне. Ты свое сделал. Отдыхай на здоровье». Он вышел и закрыл дверь, но минутой позже створки чуть приоткрылись, поманили Иуду.

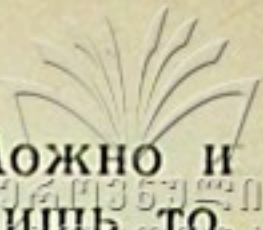
Рыжий изувер не солгал, он впрямь очень хотел есть. Подкравшись к двери, Иуда видел, с какой топорливостью сновал слуга от кладовки к столу, с какой жадной сосредоточенностью он поглощал еду. Слуга ел на удивление стремительно и бесшумно, хотя в продолжение всей трапезы, обслуживая себя, не прерывал движений — одной рукой он макал лепешку в блюдо, другой наливал, пил и подхватывал роняемые капли и кусочки, налив, придвигал миску, что-то с чем-то смешивал, добавлял, размешивал, пробовал... Иуде

неприятно было смотреть на рыжего, но и оторваться от странно удовлетворяющего зрелища он не мог, смотрел, давился слюной. Рыжий откинулся от стола, помял живот, громко рыгнул, налил себе вина, сделал глоток, потом, резко замахнувшись, казалось, швырнул кружкой в дверь. Иуда отпрянул от щели, замер... «Господин, — позвал слуга, сыто потягиваясь, — господин, ты не спишь?.. Если не спишь, если не хочешь есть, то давай поговорим... Ты не хочешь поговорить со слугой, господин мой?» Иуда постарался беззвучно лечь, но кровать скрипнула. «Ты решил подкрепиться, господин, но не хочешь беспокоить слугу, не так ли? Все это сущий вздор, мой господин! Прикажи — и я принесу еду тебе в кровать, и ты вкусишь плодов земли возлежа, как подобает истинному господину! Доставь слуге радость видеть своего господина повелевающим!.. Ну, как желаешь...» Прислушиваясь к доносящимся из-за двери шорохам и звяканью посуды, пока слуга убирал со стола, Иуда решал — подняться или лежать?.. Поскребшись в дверь и спросив разрешения, слуга вошел, приблизился с поклоном и спросил: «Могу ли я, господин, сесть рядом с тобой?» Иуда молчал, смотрел ему в ноги. «А на полу? — но рядом с тобой, господин?» — настаивал со смирением в голосе слуга. Иуде хотелось закричать, швырнуть чем-нибудь, он с трудом сдержался. «Ну, хорошо, раз господин морщится, я сяду в ногах на полу», — решил за него слуга и сел на пол. Заправив свесившийся край одеяла, он откашлялся и спросил: «Господин, твой учитель безумен?» «Нет», — ответил Иуда и неожиданно улыбнулся. Слуга поковырял в носу, стряхнул извлеченное на пол, продышал ноздри. «А зачем ему все это надо? — спросил он. — Или — почему ничего обыкновенного ему не надо? Вопрос мой похож на тебя, господин мой, но все же... Сам он гол и нищ, как та пустыня, ну да будь таков, Бог тебе судья, но зачем же людей к нищете призывать?» «Он верит, что так надо». «Он не похож на верующего, так может поступать только знающий нечто наверняка, если, конечно, он не безумен». «Ты прав, он призывает к вере, благословляя знания, вера и знания в нем неразделимы». «Вот как? — удивился слуга. — Неразделимы кем, господин мой? Кто пытался их разделить или кто слил их воедино?» «Никто! —



Иуда лег поудобнее, приготовясь к длинному разговору, — слуга положил руку поверх его ног, опустил голову на ладонь, на лице его зрело нарочитое внимание. — Никто из людей не в силах сделать этого, потому что он иное воплощение. Иешуа — брачная одежда к ветхим заплатам, он — молодое вино в мехи ветхие, он — чекан к миру истертому. Иешуа — сам притча, — ты знаешь, что такое притча? — он восхождение к Слову. Он — Аминь, он — Отвес...» «Нет, он шестой палец на руке», — шмыгнув носом, сказал слуга. «А ты, значит, Ионафан?» — уточнил Иуда. «Мой господин, тебе не следует говорить об учителе чужими словами. Тебе так не подходит говорить такие слова, так не подходит! — ведь ты не ладишь с Иоанном, зачем же ты лепечешь с его голоса? — слуга укоризненно покачал головой. Иуда ошеломленно смотрел на него. — Вот и меня, недостойного, возвел куда-то.. Так кто же пробовал разделить его веру и знания? Кто слил их воедино?» «Никто», — помедлив, ответил Иуда. «Ты лукавишь, мой господин, называя никем того, о ком боишься думать!» — прошептал слуга. «Никем! — закричал Иуда. — Никто!» «Как же так, господин? — заморгал слуга. — Неужто в самом деле он подотчетен Богу, как я моему господину? Неужели он в самом деле Сын Божий?!» «Да, — сказал Иуда, — да». Слуга сжал и разжал кулак, закусил губу: «А чей сын ты, господин? Кто твоя мать, и какого рода твой отец? Если этот убогий — Сын Бога, то кто же тогда твои родители?» «Ты видел его? — спросил Иуда. — Ты говорил с ним?» «Нет, близко не видел, но знаю очень хорошо, очень... Я их за свою жизнь навидался всяких. Да это и не столь важно. Скажи на милость, господин, тебе не страшно? Предположим, он в самом деле не безумен, и он есть воплощение семени Божьего... Скажи, господин, глаз — не прекраснейшая ли часть лица человеческого? А видел ли ты когда-нибудь глаз в чистом виде, без век и ресниц? Тебе не страшно от такого присутствия? Я уж промолчу об участии...» «Если бы не было страшно, я бы...» «Ты — что? Ты не пришел бы к ним сам? Прости, господин, но не о том страхе я спрашиваю, не о том страхе ты говоришь». «Ты спешишь, слуга, спешишь. Мой страх вне тебя, Рыжий, вне вас...» «Я советовал бы тебе соразмерять

твои домыслы и меня», — сказал слуга. Иуда, казалось, не слышал его слов — «Новый закон Иешуа непоносим, преграда в его законе неощутима. Нет того, что осязаемо, как заповеданное через Моисея, что запрещено священниками. Иешуа и его закон слишком требовательны, слишком категоричны — «да — да, нет — нет». Не противься! — а чему? кому? Живи нищетой цветка! Все для всех, все могут, будьте совершенными сынами Отца Небесного, будьте для всех... Это же разлом, двойственность, мука... Люди не готовы, они не выдержат...» «Прости, господин, прости, ты думаешь о несчастии народа, ты пытаешься спасти его, заблудшего...» «Ты мне не веришь?» Слуга захохотал, затрясся в неудержимом приступе веселья — «Как, как тебе можно верить?.. За всю мою жизнь, господин, за всю жизнь я столько не извинялся... О Господи, Господи, чего только не происходит! Но сейчас я воздержусь ставить еще одну черту в досадном перечне моих извинений, прости меня за это, господин мой!» Иуда приподнялся на кровати. Рыжий умолк, внимательно посмотрел на его окаменевшее лицо, на странно застывший оскал. «Господин, если ты ударишь меня ножом, ты можешь промахнуться и убить меня. Это может тебе повредить. Мне, впрочем, тоже. Так что, смирись». «Ты безумен, Рыжий, поистине безумен! — Иуда откинулся на подушку. — Что тебе надо от меня? Чего вы все от меня хотите?» «Помыслы других мне не ведомы, я же хочу ясности, господин, только ясности. Я хочу понять — что происходит, что может произойти». «Что тебе не понятно, безумец? — простонал Иуда. — Что тебе еще не понятно? Тебе мало, что его убьют? Какой ясности тебе еще недостает?» «Ты смешон еще больше, чем кажется с первого взгляда, — развел руками слуга. — Так же нельзя, господин. Ты знаешь какую-то малость, капельку общего дела, ты сам капелька в нем, йота. Но не скажешь же ты, что можешь, судя только по себе, по капельке, судить обо всем деле?» «Почему же не могу?» «Тогда, господин, тогда... — слуга упал животом на пол, — ты тоже Сын Бога!.. — он закрыл голову руками, сжался в клубок. — Могу я посмотреть на твой сияющий лик с немытой, вонючей бородой?.. Позволь мне, господин, я только... — слуга, передернувшись, чихнул, встал, отряхнул с одежды




пыль. — Укройся получше, господин. Дует... Можно и иначе размыслить — если бы я знал о тебе лишь то, что ты этой ночью напал с ножом на старую женщину, мать хозяина гостиницы, где тебе предоставили ночлег, пытался ограбить постояльцев, но, застигнутый, бежал... — что мне следует думать о тебе в соответствии с этим кусочком?..» «Ты с ума сошел, Рыжий! — выдохнул Иуда. — Я напал... на мать... на эту старуху?!» «Ты это сказал. Старуху, ты, господин, не отрицаешь, значит ей можно верить. И что тебя понесло, господин, с ножом по дому бродить? Дело твое, конечно, господские привычки надо уважать, но быть таким настойчивым, и в чужом доме?!» «Что ты говоришь, несчастный, опомнись! — закричал Иуда. — Какие привычки?! Оставь эту чушь! Это бред!» «Вот и я говорю — бред! не верю! — и давай оставим. Хотя ты и на меня косо смотрел и под подушкой шарил... Ладно, оставим это и вернемся к другому бреду... Ну, убьют его, твоего учителя, что тогда?.. Очень не хочется, да и с какой стати мне хотеть его смерти? Вот ты, господин, называешь меня безумным, а своего учителя... — слуга погрозил пальцем, — своего учителя за то, что он рвется пойти с бревном на Шишку, ты безумцем не зовешь. Или он хочет отправиться туда, или он безумен. Я прав, господин?» «Нет». «Как так? Я ожидал, что ты выдавишь улыбку... Что, может быть и третье?» «Не расчисляй, — сказал Иуда. — Свершится то, что свершится. Он в самом деле Сын Божий, если ты заговорил о распятии». Слуга хлестнул его по лицу. Ладонь слуги была маленькой, жесткой, подбородок Иуды ударился о плечо. Второй удар, вернувший голову в исходное положение, был столь же резок — избиваемому осталось упасть на кровать ничком, спасая лицо от других ударов, которые, может быть, и замысливались. «Если господин еще раз заикнется о Божьих детях, я разрежу ему рот до ушей», — потирая ладони, сказал слуга. Иуда пощупал губы. «Ничего страшного, мой господин, я аккуратный слуга — только щеки будут гореть, — сказал слуга. — Твоего учителя растянут не как Сына Божия, а как человека, преступавшего закон, как человека, ставшего вне закона. Ведь он, как ты сам говоришь, несет новый закон, отрицая нынешний, и живет по-новому, соблазняя других. Го-

воря попросту, Иешуа — разрушитель действующей иерархии, убежденный разрушитель. Так что все логично, не придерешься. Он погибнет преступником, если дойдет до этого... Тебе не очень больно?» «Во имя чего все это? Зачем ты это делаешь? — спросил Иуда. — Чего ты хочешь?» «Ясности. Понимания. — Слуга вздохнул. — Хочешь меня ударить? Что-то много тебе достается, а? С чего бы это, господин?» «Какой ясности тебе хочется? Что тебе не ясно?» «Ты повторяешься, господин. Ты что думаешь, вот подвешат его на Шишке, и все кончится? Или все начнется? Нет, мой господин, все продолжится. Так вот, мне — слушай внимательно! — мне надо знать или понять: что может продолжиться и как?» «Какое это может иметь значение? — Иуда потер глаза, виски. — Разве ты понимаешь смерть?» «Ты и мне изрядно надоел, и себя утомил, господин. Ну, да это не твоя вина, ты всегда был таким. Что же касается смерти — это продолжение начатого дела». «Какой?» — вскинул голову Иуда, перебивая слугу. «Что — какой?» «Какой я всегда?» «Вот-вот, а говоришь о народе. Господин, не играй глазками, как неразумевший евнух, — усмехнулся слуга. — Мог бы, хоть для приличия, спросить: а как там мой друг Ефрем? Или — где сейчас хозяева этого дома?.. Но не будем отвлекаться. — Слуга сел на кровать, подобрал ноги. — Слушай меня внимательно, господин. У нас с тобой одни заботы. Мне надо разобраться в том, что происходит. Тебе надо, чтобы произошло то, что ты хочешь, хотя это почти невозможно. Я буду говорить и за себя и за тебя. Ты помолчи, ты молчи и слушай, и постарайся не перебивать. Следи за мной, и тыполнишь кошель своих знаний, поумнееешь, может быть, и твоя невинная ясность, я уверен, потускнеет. Итак, слушай...»

Кое-что из того, о чем поведал слуга, Иуда знал, кое о чем догадывался. Слуга знал его историю весьма своеобразно, Иуда слушал с напряженным вниманием — рассудок его захлестывала нарастающая тревога. Говорил слуга долго — он кипел запутанными фразами, длинно размышлял вслух, сам себя опровергал, убеждал, объяснял, часто жест замещал слово или фразу.


Когда около полугода назад, в маршишване, Иуда



решился встретиться с противниками Иешуа, он не предполагал, что дело, казавшееся достаточно простым — не замысел, а его исполнение, — вдруг станет таким замысловатым. Ему казалось, он продумал все до мелочей, выбрал наиболее разумных ненавистников, разжевал свой замысел и его возможные последствия тем, с кем встречался — он продвигался от встречи к встрече осторожно, лишь убеждаясь, что его доводы те понимают и разделяют. Окончательно решился он на участие, лишь получив веские заверения, что все будет так, как он предлагает. Ему, правда, не понравились настойчивые просьбы лично поучаствовать в деле исполнения — последить, рассказывать о происходящем среди учеников, привести отряд, дать знак... — он не понимал, зачем это нужно, как связаны их просьбы и исполнение его замысла. Они вели себя так, будто Иешуа таился и занимался не явлением себя, а сокрытием. Теперь же слуга, размазавший его ясные мысли в нечто темное, расплывшееся, умное, объяснил и это затруднение... — да, конечно, говорил слуга, все было бы как обычно, но он все нарушает, даже Каиафа ему не враг, а ведь каждому машшиаху полагается свой Каиафа, странный какой машшиах, не правда ли? менял и торговцев погнал, а того, кто дозволил, не трогает, очень странный машшиах, если он не против высших, значит — против тех, кто их поддерживает, тех, без чьей поддержки высшие низвергнутся сами под себя, кто бы устраивал все эти бега, если бы машшиах был понятен, если бы он был просто против, ну, скажем, Каиафы, ему нашлись бы и помощники, непременно нашлись...

Иуда не мнил себя единственным серьезным противником Иешуа, зная, скольким людям стал учитель поперек жизни, но он не предполагал, что высокие иерархи будут столь озлоблены и обезличены чудесными дарованиями Иешуа, что признают своим врагом не Иешуа-человека, а Иешуа-мессию, которого должно уничтожить. Тем самым они признавали и его мессианство, — вопрос: он ли мессия? — оставался для каждого, осмелившегося задуматься, самоценным, цена ответа же становилась пасхальной, ввергающей в беспомощность. Поразили Иуду слова о той роли, которую отводили ему люди Каиафы в разыгранной ими грязной кутерьме — оказывается, этой ночью, не исчезни

он из дома, куда его препроводили для отдыха, он предстал бы перед синедрионом и отвечал на вопросы суда, и там Иуда был бы вынужден либо погубить себя, защищая Иешуа, либо содействовать осуждению учителя. Слуга, поведав об этом, добавил, что кто-то всерьез собирался воспользоваться и подвигом Иуды и им самим, иначе — зачем бы когорта решающих устроила его на надежное хранение в милый притон? Но для свидетельства в синедрионе готовили не только Иуду — один из учеников, давний осведомитель Каиафы, должен был устроить так, чтобы и Симон-Кифа оказался там, где требовалось, что почти им и удалось. Благо, слишком много оказалось желающих помочь властям в обличении отступников, и его спугнули. «Значит, и это произошло, — сказал Иуда. — Никто его не спугнул». «Как? Его узнали, чуть не отдали страже, и он бежал. Я знаю это со слов свидетелей. Во всем, как выяснилось, виноват болван слуга, не пускавший ученика в зал суда, и тот не смог вовремя...» «Ты можешь винить любого виноватого, можешь верить любому свидетельству, но что ты ответишь, если я скажу тебе, что Иешуа предсказал все это?» «Что предсказал? Что Симон будет вынужденно свидетельствовать против него перед Каиафой?! — воскликнул слуга, ударяя в ладони. — Так он, значит, обо всем знал! Вот оно что! Так, так. Понятно... Значит...» «Ты спешишь, — остановил его Иуда, — спешишь. Не вкладывай себя в Иешуа. Он предвидел, что Кифа отречется от него — и только». «Он предполагал, что Симон предаст его? Ты это хочешь сказать? Значит, люди Каиафы очень хорошо знали, кого выбрать из вас. Но и Иешуа знал, что ему готовят. Кроты, кроты! — где им догнать его?! Господин, я начинаю восхищаться твоим учителем, хотя он мне и не нравится!» «Симон никого не предал и не предаст. Они ошиблись. Он только отрекся от учителя, спасая себя, ведь он человек». «Забавно ты мыслишь, мой господин. Ответь, будь добр, господин-человек, а о тебе твой учитель ничего не предполагал?.. Счастливый... да... Ах, господин, я смею понимать тебя. Мудрено ли не выдержать такого учителя?! Ну, ладно, ладно, я извиняться не буду, ты держи в уме мое извинение за все подобные выходки и прикладывай его по своему разумению, куда пожелаешь, хорошо, господин?» Иуда



болезненно улыбнулся: «Неужели ты думаешь, что я не знал, на что иду? Твои извинения — ничто для меня, не говоря уже об оскорблениях». «Да, господин, ты уж, будь добр, пережуй их, а там хоть глотай, хоть выплевывай. Кстати, господин не проголодался?.. А то я быстро...» Иуда кивнул. Они вышли в столовую, и слуга принялся накрывать на стол. «Пока есть время, господин, — сказал слуга, освобождая поднос, — ты не поведал бы мне — да не переменится твой аппетит! — каковы же твои разногласия с учителем? Ты уже что-то такое говорил, но я плохо слушал. Прости нерадивого слугу. И поподробнее, уж сделай милость». «Все слишком серьезно, чтобы говорить об этом походя». «Серьезнее, чем предстоящая трапеза? — удивился слуга и обвел глазами накрытый стол. — У тебя, господин, рассуждение господина — для слуги же самое главное еда, падающая в его чрево, и если я согласен... Я слушаю.» «А почему... Могу ли я спросить кое о чем у тебя?» «Можешь, господин, можешь, но, поверь, от моих ответов ничего в этом мире не изменится, так же как и твои вопросы ничего не решат, чего нельзя сказать о моих вопросах и твоих ответах». «Кто это решил?» — угрюмо усмехнулся Иуда. «Никто, господин, никто... — слуга сделал паузу, назидательно поднял палец, — кроме меня и жизни. Жизни ты уже можешь не верить, ну а мне поверь на слово... Ну, господин, не откладывай, начинай жевать пищу и слова...» «Я устал от тебя, дай мне отдохнуть от потоков твоих слов. Дай мне посидеть в одиночестве. Дай спокойно поесть», — пряча лицо в ладони, сказал Иуда. Слуга огорченно насупился, вздохнул: «И почему господа столь ненасытны — дай, дай, дай... Вот всегда так — как только мне кто-то понравится, как только меня кто-то заинтересует, так сразу норовят себе еще большую цену набить!.. Уж не думаешь ли ты, господин, что бедный слуга может доплатить к той сумме, что дал тебе мой толстяк? Ты бы не заблуждался на мой счет, а ел спокойно, жевал бы тщательно, вдумчиво, а то несварение, хлопоты... Я вот все думаю, господин, понять не могу — а почему ты ни разу в уборную не сходил? Запор у тебя, что ли? Скажи, не стесняйся, мигом излечу. Без всяких чудес и штопоров, животик поглажу, фыркну — «Еф-фафа!» — и все как водой унесет. Желаешь, господин?.. Ты опять

морщишься, господин мой, забыл, наверное, что я просил тебя держать мое извинение в голове? — Слуга приподнялся, глянул через плечо Иуды в окно. Ну, раз морщишься, иди, господин, в комнату, отдохни от меня и не пожелай выглядывать оттуда. Миску и лепешку я отнесу за тобой. Быстро, быстро!» Иуда оглянулся, посмотрел на того, кто шел по двору — «Если я останусь здесь, — сказал он, — ты и тогда можешь не беспокоиться. Язык глухонемых мне не ведом». Слуга расхохотался: «Ты что-то спутал, господин, у Лии поистине ангельский голос». Иуда окинул взглядом вошедшую женщину, но его пристальное внимание не произвело на гостью должного впечатления... «Бог внял твоим молитвам, женщина, — сказал он. — Внял столь быстро, что я осмеливаюсь просить тебя, дабы ты замолвила слово и за твоего малосильного знакомого: попроси благорасположенного к тебе Всемогущего послать мне более соответствующего слугу, который исполнял бы свои обязанности молчаливо и со рвением, обратными злоречивости и злоусердию нынешнего». Женщина изумленно смотрела то на Иуду, то на слугу. Ответил Иуде слуга: «Ей легче сразу переспать с тобой, господин, нежели распутать изысканное плетение твоей кляузы... Лия, ты не прочь ублажить его? Если, конечно, время позволяет?» Лия улыбнулась откровенно и сочувственно: «Я бы с радостью, да некогда». Голос у нее был глубокий, чуть хрипловатый, но Иуда не обозначился — руки у нее остались все те же. В руках она держала небольшой, аккуратно увязанный тючок. Слуга взял тючок и скрылся в комнате. «Господин позволит мне воспользоваться его ножом?» — донесся оттуда его голос. Покосившись на приоткрытую дверь, Иуда поманил женщину. Она, ласково улыбаясь, поигрывая яшмовыми бусами, нагнулась к нему. «Где Иешуа?» — спросил Иуда шепотом. Лицо женщины исказилось, она отпрянула в сторону, потом придвинулась: «Это правда, что он обещал явиться вам после смерти?» «Да, — ответил он, — правда. Что с ним? Где он?» Женщина судорожно вздохнула, обожгла дыханием ухо — «Боже, смилостивись, прими возлюбленную кровь и воздай за нее. Его распнут». Иуда застонал, затряс головой. Женщина, вздрогнув, рассмеялась низким бархатным смешком и перетекла Иуде на колени. Дверь за

их спинами распахнулась и вышел слуга. Руки Лии ласково теребили затылок Иуды, голова его покоилась на ее груди — и подозрительный взгляд слуги умягчился. Он усмехнулся, погрозил пальцем: «А ты, господин, шалунишка. Не ожидал подобных склонностей у такого серьезного человека. И ты, шлюха, хороша, минуты без этих штучек не можешь... Освободи господские чресла, видишь, моему господину уже не можетя, а времени на утеху пока нет. Слезай, слезай, а то его сейчас удар хватит. Достаточно ему ударов на сегодня. Если он будет хорошо себя вести, ты его еще попотчешь». Лия сползла с колен Иуды и, покусывая губы, мило потупилась. «Пойдем, красавица, я тебя провожу, — подтолкнув ее, сказал слуга. — Заодно, на всякий случай, поведаю, о чем он говорить не любит». Они вышли из дома и медленно пошли по двору, на ходу переговариваясь, — возле ворот они остановились, и долго говорил слуга, Лия слушала, кивала... Выговорившись, слуга ущипнул ее за щеку, отворил калитку и выглянул наружу, — она успела оглянуться — и Иуда явственно увидел на лице ее знак страха. Она опять пыталась убедить его в том, что он и так знал. Выпроводив женщину, слуга направился было в дом, но по дороге, резко свернув, бросился на петуха и погнал его по двору. Иуда взял кусок хлеба, макнул в соус, ткнул в анисовые зерна, жадно откусил — ощущение голода вдруг превозмогло над всеми чувствами — и он набросился на еду. Слуга, вернувшись в дом, молча сел напротив, молча протягивал ему то или иное блюдо, молча наполнял кубок. Когда Иуда насытился, слуга убрал со стола и опять сел напротив. «К сожалению, господин, времени на благоутробный отдых у тебя нет, — сказал он. — Поэтому, одолей слабость и соберись с мыслями. Чернь с иерархами перетянули власть. Каиафа и его люди пересилили всех — и тебя, и меня, и Ирода, и Пилата. Очевидно, твой замысел гостил в высоких покоях, и там поняли его — но, посодействовав, они остановились в событии — Ирод играл в твои смехотворные игры, даже смеялся по-царски — одарил Иешуа своим плащом: Пилат есть Пилат — Рим не станет против иудея, но Рим состоит из провинций, — он отступил — одним больше, одним меньше, ему уже не отмыться, хотя именно воды вдоволь. Смирись с под-

лостью власти, так было во все времена — уши власти отданы мудрым, а руки ее погружены в чернь и принадлежат черни, ибо правят не мудрыми, а чернью, вгоняемой в спокойствие. Тем власть и успокоится. Каиафа терзает Иешуа чужими руками, требует смерти чужим голосом — и будет удовлетворен. И лишь нам с тобой плохо, мы ничего из этого прискорбиа для себя не приобрели. Но знаешь — так хочется!.. Давай, господин, размыслим — к лицу ли тебе, а мне тем более, оставаться без заслуг?» «Так что — уже все? — побледнел Иуда. — Все?» «Ты о чем?.. Эй, эй, господин, хлебни вина или укуси мизинец!.. Расшибешь сам себе голову, потом на слугу свалишь, доплату потребуешь... Откровенно говоря, спешить нам уже незачем. Это уже привычка не терять времени, беречь ущерб луны. Но ты, будь добр, не бейся затылком об пол и не проси поспать — это уже лишнее». «Все, — повторил Иуда, — теперь все. Теперь он сбылся». «Все у тебя навыворот и все неприятно. Зачем же так, вечностью по затылку? Кому-то, может быть, и не хочется, — сказал слуга, потирая затылок. — Как представишь... Ты безжалостен, как ты безжалостен, господин... Ты бы, господин, не размахивал неизвестно чем, а постарался бы для общего дела, а? Помог бы... Что тебе стоит? Помогли ему не сбыться. Если ты думаешь о народе, то помоги народу собой. Сумеешь?» Иуда смотрел на непривычно серьезное лицо слуги напряженно, веря и не веря в его искренность. «Ты остался один, кто хоть что-то может сделать вослед тому, что произойдет. Произойдет уже неминуемо. Будут кричать, уже кричат — «Распни Иешуа! Отдай Варавву!» Уже все готово. Он был обречен. Никто ничего не мог сделать. Ты не с теми имел дело. Тебя пережевали. Каиафа поломал Анну — тот, как всегда, начал было, но уполз. Пилату свой шепнул про Галилею, он умный, он римлянин, сообразил не мारаться — или знал? скорее, знал, потому что его солдаты ласково издевались над Иешуа, веселились, чуть пьяные были... — он знал, потому и отправил Иешуа к Ироду. Ирод все сделал. Но больше — никто смеяться не захотел. Пилат — поразительно, истинно поразительно! — заступился за Иешуа. Или, ты скажешь, это заслуга твоего учителя? Но Каиафа — есть Каиафа, старый гвоздь, кого хочешь прошьет, если заупрямит-

ся. Синедрион вывернется, свалит все на Каиафу, а Каиафа — старик, почти отжил — шея под затылком впала, дыхание смердит, ногти уже синие... Так что, все сходится на тебе — ты предал его на смерть... Не пытайся мне возражать, не надо. Сочувствую тебе, господин, но это истинная полуправда. Тем более, ты зачем-то потащился к ним со своими деньгами. Оставил бы мне, я бы выкупился, пошел грехи замаливать... Эх ты, господин...» «Скажи, Рыжий, отчего твой толстяк был так весел?» — спросил вдруг Иуда. «Не клевети на него! Веселье — это род мудрости, господин, а мой толстяк — дурак, он не бывает весел — он болен жизнерадостностью. Но ты не радуйся, если мы с ним в чем-то схожи. Мне как-то довелось видеть, как твой учитель смеялся — малыши солнечные лучи ртами ловили, а он смеялся, хорошо смеялся». «Ты лжешь», — сказал Иуда. «Зачем? — удивился слуга. — Ты сейчас похож на моего толстяка, господин мой, когда он третью ночь подряд спит с одной и той же девочкой. Тебе угрюмость не к лицу. Ничего, Лия развеселит тебя, она это умеет. Она тебе понравилась?» «Расскажи, что было с Иешуа», — попросил Иуда. «Ну, что было, что было... Ну, солдаты пьяные потолкали его, смеялись, народ смеялся, Анна смеялся, потом, змея, посерьезнел, как Каиафа на него цыкнул. Потом Ирод смеялся... Потом все перестали смеяться, кроме меня, господин... Если он решил всех разыграть, то это ему удалось». «Еще что-нибудь... Ну, прошу тебя!..» «Ирод, смеясь, облачил его в свой белый плащ, и Иешуа повели в преторию смеющиеся воины. Он на голову ниже Ирода, и плащ волочился по земле. Один шутник наступил на край плаща, Иешуа оступился, захрипел. А шутнику щитом по затылку дали — как он смел прикоснуться к плащу царя? Все так смеялись... Ты же жил с ним, господин мой, кто он, твой учитель?» «Если бы я знал». «В нем нет страха. В этом он неправ. Я не верю в правоту безумства». «Он не безумен». «Тогда — что? кто он?» — закричал слуга. «Хлебни вина», — улыбнулся Иуда. «Это я, чтобы мой угрюмый господин развеселился», — сказал слуга, лучась улыбкой, — Тогда он пуст, как бездонная пещера». Иуда захохотал, тыча в грудь слуги пальцем, — «Ты веришь, клянусь, ты веришь в него! Ты признал его бесконечность!» Слуга рухнул на пол.

подполз к ногам Иуды и, вопя, принялся их целовать: «Прости неверного раба, прельщенного доблестями другого господина, прости, господин, это в последний раз я такой, не карай, не выживу в свинопасах, не карай, прости, а то тебе так за меня воздастся.. так..» Иуда вскрикнул — слуга укусил его за лодыжку.. «Как последняя собака, как первая собака, отлученная от кухни, умоляю, господин мой, прости, господин! — вопил слуга. — Прости, господин! Пожалей мои зубы!» Иуда наконец отпихнул его.. — «Ты что, спятил?» «Нет, господин, — с дрожью в голосе ответил слуга, — я прощения прошу. Ты простил меня?» «Да». «Я тебе очень признателен, — облегченно вздохнул слуга. — Он не просто лишен страха перед Богом. Теперь любой может избежать участи Иова. Он убрал завесу неизвестности. Я хочу сказать, мой господин, что ты не мог бы быть на месте учителя». Иуда украдкой глянул на слугу, поскреб ладонь. «Почему?» — тихо спросил он. «Уж лучше бы ты закричал, тебе было бы легче», — улыбнулся слуга, поднимаясь с пола. «Почему? — повторил Иуда. — Я, утративший все, виновный во всем, знающий все, даже излишне знающий, понимающий его — не мог бы быть им? Не мог бы сделать то, что делает он?» «Будь у тебя самый большой мицраимский рупор, грянь самая глубокая мицраимская тьма, отыщи ты самое глубокое мицраимство — и покайся ты в своих делах из той глубины — все равно ты не ступишь даже в начало его следа. Потому что рупор чиркнет по сводам мицраимства, высечет искру, тьма взбунтуется, тебя обнаружат и заплюют камнями». «Я тебя понял, ты не советуешь этого делать, — сказал Иуда. — Что же ты полагаешь сделать из меня?» «Я горжусь тобой, мой господин! — сложив ладони рупором, прокричал слуга. — Ты должен раскаяться перед всеми в самый солнечный полдень. Оставь себя, как проповедь заблудшего, раскаявшегося ученика». «Ты с ума сошел! — вскрикнул Иуда. — Это немыслимо!» «Немыслимо устроить тебя рядом с ним на Шишке, — отмахнулся слуга, — я это и не предлагаю, а остальное — только прикажи». «Это невозможно!» «Хочешь, ты умрешь просто так?» Иуда вскочил, воздел руки — кровь ушла из его лица, в круглых пустых глазах не стало взгляда, — когда опухли слезы, он сел — руки, забытые в нелепом

жесте, остались висеть над головой, потом сложились и упали. «Вот ляпнул, — слуга вздохнул, прикрыл глаза рукой, — и самому стыдно стало. Чего только от глупости не скажешь. Хорошо, что ты меня поправил». «Что вы делаете? — закричал Иуда. — Что вы с нами делаете? — он вдруг захохотал, закидывая голову, всхлипывая, царапая себе лицо. — Вы верите, клянусь уготованной мне смертью, вы верите, что он Сын Бога!» «Чш-чш-чш, — успокаивая, слуга гладил Иуду по голове. — Побереги себя, господин. Ты, часом, не спятил от натуги?» «Он человек! Он самый великий заблуждающийся человек — в этом он Сын Бога! Он страшен таким человеком, таким!» — надрывался Иуда... «Да-да-да, — гладил его по голове слуга, — он такой, он такой, он ах какой нехороший, он нехороший дядя, он напугал моего доброго господина, нехороший дядя, пошлепаем его, пошлепаем, не отдам ему моего господина, моего доброго господина, ни за что не отдам...» Иуда всхлипнул и толкнул слугу кулаком по скуле. «Ну, наконец-то, — возликовал слуга, — наконец я могу с чистой совестью!..» — и его кулак врезался под сердце Иуды. Охнув, задохнувшись, Иуда обвис — слуга подхватил его за волосы, опрокинул лицом на стол. «Да, господин, этим языком ты не владеешь, хотя, к счастью, понимаешь его. Теперь слушай меня, господин мой, слушай внимательнее, чем раньше. Ты все равно умрешь, тебя уже нет. Ты ушел от всех, тебя никто не увидит живым. Хочешь продлиться — продлись: осуди себя за приспешничество ему, осуди других и умри с честью или честно заблуждаясь. Сделай с собой завещанное ему, как расплату за его грехи перед тобой и другими. Вот еще на выбор — умри за то, что синедрион осудил Иешуа, а не осмеял, умри так для себя и для меня. Хочешь, я поверю, я уже верю, что ты не предал, а даже хотел спасти его. Но в любом случае, при любом выборе ты должен письменно собственноручно завещать осуждение его, себя и учеников. Ты не свободен, ты мертв для всех, но для себя ты можешь выбрать причину смерти. Если ты поручишь это мне, я вынужден буду отказаться — ты вправе единолично распорядиться собой. Если ты выберешь распятие, я тебя не одобрю — я не Ирод, дарить тебе царские подарки, да и ты... Веревка — проще и человечнее. Нож

— это так тебя недостойно. Яд — изысканно, но мучительно и хлопотно. Выбирай смерть, все в твоих руках. Как бы ты ни умер, выбери разумный конец. Черпай полной мерой — случись невозможное, что-нибудь несусветное, я буду вынужден убить другого, заплатить им за тебя и назвать его тобой. Но это очень некрасиво... столько ужасных последствий, невинные жертвы.. Спаси его, этого несчастного, который сейчас, может быть, обнимает свое невинное дитя, спаси его, спаси их, мой господин, послужи другим, стань вровень с новым грядущим Богом Заблуждения, которого ты опровергаешь. Стань рядом с Иешуа. Спаси себя и еще кого-то. Я тебя очень об этом прошу». «Оставь меня», — сказал Иуда. «Потерпи меня, господин, потерпи еще немного. Я ведь слуга». «Служить легче, чем терпеть», — сказал Иуда, отворачиваясь. Он не видел перекошенного лица слуги, не видел, как тот занес над ним кулак, как расслабился.. «Тебе очень плохо, мой господин? — слуга участливо склонился над Иудой. — Если бы у меня были дети, я бы попросил, чтобы ты задумался об их возможном сиротстве. Но детей у меня нет, и я рад, что не могу подвергнуть их подобному риску. Поэтому думай о себе и о других. Ступай думать на свою кровать, господин. У тебя много времени до заката солнца. На кровати ты найдешь ручку, чернила и чистый-чистый, совсем новый лист пергамена. Подумай и напиши завещание, господин. Я верю в твой разум и способности. Но постарайся побыстрее, тогда у тебя еще останется время на Лию». Иуда ушел в комнату, а слуга занялся едой — он опять очень хотел есть, потому что он опять очень волновался.

Иуда лег, укрылся с головой, поджал ноги и заснул. Ожегшись о разгоревшееся зарево, проснулся — перед лицом его, раскачиваясь, висел паук. Он дунул — и паук вскарабкался под потолок. Комната была до середины залита солнцем. Чернильница, пергамен и ручка валялись на полу — пергамен в тени, чернильница и ручка на солнечной полосе. Он поднял их, сел на кровати поудобнее, задумался, написал несколько слов и встал с кровати. Он ходил по комнате, гладил стены, трогал предметы, щупал свое лицо, руки, одежду, вырвал из бороды волосок и рассматривал, подпрыгнув, пытался достать рукой до потолка. Вдруг за-

метил, что в комнате потемнело, растворилась в тень-полоса солнца на полу. Иуда подошел к окну — все выглядело серым, замершим.. Он сел на кровать, достал нож и отрезал от пергамена полоску, разорвал ее и затолкал обрывки в щель между стеной и кроватью. Написал первые, густо и неровно легшие на пергамен строки. Потом опять ходил по комнате, долго стоял в углу, уткнувшись лицом в стык стен. Попросил есть. Слуга принес ему поднос с едой, потом забрал пустую посуду. И Иуда опять ходил по комнате, щупал вещи, стены, себя, высматривал паука, писал слова...

Солнечные лучи, просеянные и сдавленные решеткой в пятна, золотыми глазами горели на стене — Иуда потрогал их и позвал слугу. Скользя по комнате, слуга возник перед ним, заглянул в лицо, осторожно потянул пергамен из его пальцев, — Иуда, всхлипнув, шагнул слуге за спину, коснулся ослепленной стены. Выхватив исписанный лист из руки Иуды, слуга жестом оставил его в комнате, сам вышел. Спустя недолгое время, слуга на коленях вполз в комнату, подполз к Иуде и коснулся губами его ступни, прижался щекой к ноге. Иуда погладил его рыжие волосы. «Желает ли господин женщину? — глядя снизу вверх, спросил слуга. — Она трепещет в ожидании и пахнет страстью». Иуда кивнул, слуга уполз в дверь, и в комнату впорхнула Лия. Она была чудесна, нежна и прохладна, как вино, которое она принесла с собой. Иуда улыбался. Лия целовала его слезы и тихо напевала.

Слуга был учтив — он покинул дом и сидел во дворе под навесом, шептался с каким-то человеком. Шептались они долго, потом человек ушел. Зашевелившийся ветер выдувал дневное тепло, заметно холодало — но в дом слуга вернулся, лишь честно выдержав отмеренное на предсмертные удовольствия Иуды время. В дверь он поскребся вежливо, негромко сказал, что пора идти. Когда они выходили из дома, Лия обняла, поцеловала Иуду и шепнула, чтобы он не боялся. «Я боюсь, — прошептал Иуда в ее пахнущий жасмином висок, — это не сон, и я не проснусь». «Не просыпайся, любимый, не бойся», — попросила его Лия. Слуга стоял за порогом и не оборачивался.

Слуга и Иуда прошли по двору, вышли на улицу. Опять дул ветер, но ветер легкий, прохладный. Иуда

подставил ветру лицо, глубоко вдохнул. Слуга тронул его за плечо, сказал, что идти им в другую сторону. Впереди них шли двое, сзади — еще двое, один из идущих впереди нес заплечный мешок. Они вышли из Навозных ворот на дорогу к Царским Садам, и когда, оставив справа Сады, повернули лицом к ветру, Иуда понял, что его ведут в сторону Масличной горы.

Взгляд со стороны выделил бы несомненно среднюю пару людей — пары замыкающая и передняя были неотличимы одна от другой так же, как существенно не отличались люди, составляющие их. Слуга шел чуть впереди Иуды, двигался он легко, резво, поступь его была плавна и скользяща, руки, чуть согнутые в локтях, с приподнятыми ладонями — он словно опирался о воздух — перемещались не по прямой или изогнутой линии, а в границах ровно очерчиваемого овала. Лицо слуги было спокойно и светло, он смотрел вперед, иногда оборачивался к идущему следом — и улыбался, — и улыбка его была похожа на его походку — легкая, резвая, — радость опиралась на уголки рта и гнула губы, радость предощущения еще большей радости в конце пути. Взгляд со стороны выделил бы его за походку, рост и статность фигуры, за гордую посадку головы и за контрастирующий его летящему облику грубый плащ, жестким коконом охвативший фигуру от плеч до пят. Сравнить его с идущим рядом человеком было бы очень непросто, настолько они во всем разнились — ступавший следом был угрюм и отрешен, он часто потирал виски и глаза, был невысок — на полголовы ниже улыбающегося спутника, худ, черняв, густобород. Шагал тяжело, крупно, часто оступался, голову держал низко, выставив вперед сдавленный в висках и востекший залысинами лоб. Взгляд его поднимался до плеч идущего впереди, не задерживаясь, падал вниз. Он не видел улыбки, что нес на лице его спутник, не думал о ней — когда тот оборачивался, улыбка его сменялась любопытствующим вниманием. Тая радость, слуга ждал вопросов, слов, но Иуда молчал, все время молчал, молчал с той минуты, как вышли они из дома. Его молчание ни ускоряло, ни замедляло дороги, не делало ее ни тягостнее, ни радостнее — они шли и шли, устремленные к определенному месту, о котором ведали идущие впереди и позади Иуды. Слуга похрустывал опресноками —

ими был наполнен внутренний, оттопыривающийся на груди карман плаща. Он предлагал Иуде хлебцов еще в самом начале пути, но тот отказался... Они шли и шли — один был угрюм, другой радостен.

Через час кружного пути, оставив позади Кедрон и кладбищенскую долину, без отдыха начали взбираться на холмы, потом петляли в глухих каменистых оврагах, опять взбирались вверх по склону. Наконец, вчетвером — двое из сопровождения были оставлены возле развалин каменной давилни — вышли на маленькую, ровно стиснутую кустарником поляну, что гладкой плешью висела на западном склоне горы. Близко к краю поляны высилась одинокая старая маслина. Слуга вздохнул с облегчением, обернулся — «Пришли, мой господин». Усмехнувшись, он протянул руку, приподнял подбородок Иуды — «Тебе открылись все тайны моей спины?» — спросил он. Иуда мягко отстранился. «Признайся, мой господин, — широко поведя рукой, сказал слуга, — здесь довольно красиво, легко дышится и тебе нравится здесь». Иуда послушно кивнул, огляделся. «Я рад, что угодил тебе, господин», — сказал слуга, отходя к почтительно отставшим спутникам.

Солнце тонуло в гряде лилово-серых облаков, белые жерди лучей, проткнув пену туч, отвесным веером упирались в землю, стремительно натягивался вечер на ясный пронзительный свет — сплошь застланное облаками небо восточного края было уже мутно. Прогнутый, изрезанный трещинами город белым лабиринтом растекался внизу. Большой, сильный ветер ликовал по власти своей, и был он, летевший из заката, ласков и влажен — где-то недалеко раскинулся дождь, и ветер, пронзив и оставив дар позади, летел со знаками дождя по его пути — будет дождь, дождь, дождь...

Слуга сидел на плоском камне, палочкой выковыривал из сандалий землю. Иуда смотрел, как двое прилаживают на дереве веревку. «Не смотри туда, господин, — сказал слуга. — Тебе не стоит беспокоиться — веревка в гусином жире. Хочешь вина?» Иуда отвернулся от него. «Господин, прими совет молодого, но опытного человека — отойди в сторону, помочись, в такой сырости до утра высохнуть не успеешь. Зачем тебе такое?» Иуда ушел в заросли. Один из возившихся у дерева, тот, что был на земле, посмотрел ему вслед и, вытерев

руки о ствол маслины, двинулся за ним. Слуга покачал головой, и его помощник вернулся к оставленному делу. Иуда отсутствовал довольно долго — слуга, поглядывая в заросли, улыбался и часто запускал руку под плащ за опресноками. Иуда, вернувшись, сел, послушный приглашающему жесту, рядом со слугой на камень. «Хорошо, что ты не заблудился, — сказал слуга, обнимая Иуду за плечи, — я бы скучал без тебя еще дольше. У тебя очень уставшие глаза, и я...» — не договорив, он замолал. Иуда шевельнул плечом, и слуга заговорил: «Мой господин, я чрезвычайно признателен тебе за предсмертное покаяние. Это высшая награда для меня. Но меня очень волнует, мне крайне интересно — а что выбрал ты для себя? что ты оставил себе? — Иуда молчал, слуга обнял его помягче. — Это имеет значение только для меня, больше ни для кого, даже для тебя это — ничто, ибо ты уже выбрал. Поделись со мной, господин. Я тебя очень прошу». Иуда отрицательно покачал головой. «Ты жесток, господин! — голос слуги стал суше и резче, прорвалось нетерпение. — Ну же, господин мой... Слуга имеет право знать предсмертные мысли господина, он тоже человек. Ты сам говорил о значении смерти. Так что же значит эта смерть для тебя?» Иуда молчал. «Боже мой, как ты жесток», — вздохнул слуга. Он достал хлебцов и захрустел. В его руках появился кошель, он вытряс горсть монет и ссыпал их в подол Иуды. «Дай им за труды, — сказал слуга, кивая в сторону дерева. — У тебя нет, я тебя выручу, чтобы нам не было стыдно перед людьми». Слуга окликнул помощников, они подошли, стали недалеко, усердно вытирая руки о землю. Иуда подозвал их и ссыпал монеты в подставленные ладони. Они поблагодарили и отошли обратно к дереву, деловито о чем-то зашептались. Иуда потер виски, затылок, поежился. «Продрог, мой господин? — поднимаясь и расстегивая накидку, спросил слуга. — Согрейся». Он набросил плащ на плечи Иуды. Слуга остался в светлом, легко волнуемом хитоне из поблескивающей ткани, в глубоком вырезе на шее виднелась плоская золотая цепь, хитон с груди опадал светящейся складкой, перехваченный на талии ремешком, концы которого, оправленные золотыми стрелками, болтались на бедре. Иуда смотрел на слугу и улыбался. Выждав недолгое время,

«Слуга высморкался и спросил: «Господин по-прежнему настаивает на своем молчании? Ведь это.. — он достал пергамен, развернул его и приблизил к глазам Иуды, — это так.. черным по белому.. Разве тебе было бы недостаточно, если бы хотя бы я знал истинную причину твоего согласия?.. Это ведь навсегда.. Очень жаль. Надеюсь, я могу передать Лие привет от ее последнего возлюбленного?» Иуда кивнул, поднялся с камня и пошел к дереву. Слуга двинулся следом, опередив, заглянул в лицо. Стоявшие чуть поодаль помощники слуги приблизились — один забрался на дерево, другой стал под веревкой, примерился, затем сплел пальцы в площадку, пригнулся и выжидательно глянул на Иуду. Слуга снял с плеч Иуды плащ, и Иуда шагнул на подставленные руки, опершись о плечи, выпрямился. «Назад, мой господин, — сказал слуга. — Сойди, будь добр. Я хочу видеть твое лицо». «Я повернусь, господин», — задрав голову, прохрипел державший Иуду человек, за что получил пинок в колено. Иуда спрыгнул и лицом к слуге повторил шаг вверх. Человек легко приподнял его, другой обвил шею петлей. Когда веревка натянулась, слуга кашлянул, петля легла и сжалась на шее Иуды, слуга моргнул, поправил волосы: «Так что, господин, что, плод дерева живого, что легче — служить или терпеть?.. Скажи, господин мой...» Иуда смотрел вверх него, что-то шептал. Слуге показалось, что в лице его, залитом потом, с бугрящейся поперек лба веной, зреет улыбка, и он ударил ногой по рукам-ступеньке. Иуда взмахнул руками, упал лицом вперед, дернулся, вскрипел—еще одним ударом слуга остановил попытку повиснуть на ногах Иуды того, кто держал его на руках. Жизнь Иуды продлилась чуть дольше возможного, и чуть дольше возможного он смотрел вспыхнувший сон: учитель пришел к нему, он дал учителю напиться из своих рук, тот пригубил его ладони, полные воды, поцеловал его и повел за собой в сон, в голоса, в свет.. Слуга остановил раскачивающееся тело, привстал на цыпочки, посмотрел на лицо. Он готов был поклясться, что из застывающей гримасы проглядывала не мука насильственной смерти, а обезображенный покой. Люди сосредоточенно терли в руках листья, нюхали и снова терли. Иуда затих. Слуга взял его за руку, пощупал запястье, затем швырнул руку

вверх. Он глянул на помощников — те, прервавшие свое занятие, разом опустили головы и еще усерднее принялись затирать запах жира. Захватив ветку, слуга содрал листья, размял в ладонях зелень. Его помощники переглянулись.. «Пора, хозяин», — осторожно поторопил слугу один, берясь за мешок. «Ступайте вниз, я скоро приду, — сказал слуга. — Ты, отнеси вино к камню». Когда, исполнив повеление, помощники удалились, слуга расстелил на камне плащ, сел, достал хлебцов, захрустел, запил. «Слышишь, Иегуда, они спешат по домам», — сказал он, взбалтывая кувшин. «Не только они, досточтимый...» Слуга замер, медленно обернулся к шепоту. Мешочек с песком был наготове, удар по темени исполнили аккуратно и точно. Трое человек с замотанными лицами подхватили и понесли обмякшее тело к дереву. Действовали они сноровисто и умело, и спустя минуты, несмертельно оперенный десятком ножей, слуга раскачивался рядом с уже неподвижным Иудой. Еще через некоторое время на поляне появились встревоженные затянувшимся отсутствием хозяина его помощники. Зрелище дерева повергло их в изумление, но вряд ли расстроило, потому что совещаться они принялись столь горячо, столь рьяно, что спор их едва не разрешила драка. Наконец, выкричавшись, намахавшись руками, они поладили — сняли один из висевших на дереве трупов, завернули его в плащ, подобранный с камня, и потащили вниз. Двое, не участвовавших в завершении дела, лишь вытребовав по монете, взялись за свободные концы плаща.

Утро второго дня Праздника Опресноков взбудоражило тихую Гефсиманию — прибежавшие с гулянья дети, захлебываясь от ужаса и восторга, поведали взрослым о том, что выше старой давилни, на верхней поляне они нашли висельника. Детей сгоряча отругали за то, что бродят, где не следует, и разогнали по домам. Взрослые, послав за стражей, сами отправились на гору — и обнаружили не только страшный, с исклеваным лицом труп, но и опрокинутый кувшин с подкисшим вином возле выпирающего из земли камня, усыпанного крошевом и кусками размякших опресноков. Подоспела стража, и с ними некто с сытым, гладким лицом. Он и назвал мертвеца по имени — Иуда.



Манана КВАЧАНТИРАДЗЕ

Обзор грузинской прозы (1990 год)

Постепенно заполняются белые пятна в истории нашей литературы. Современный читатель знакомится с новыми именами, преступно выброшенными историческими бурями из памяти поколений. Стефанэ Касрадзе один из этих авторов. Название его романа «Тари-Арале» («Мнатоби», № 3, 4, 5, 6, 7, 8), по словам самого автора, это имя божества, являющегося «духом владыки преисподней или же главным духом преисподней». Экспозицию романа предваряет короткое вступление, которое помогает понять смысловую основу романа. Из вступления читатель узнает, что распространенный припев грузинской песни есть атавистический отзвук грузинского духа, молитвы, возносимой владыке преисподней с тем, чтобы он выпустил проглоченное солнце, вернул на землю жизнь. Естественно, вступление имеет не только фактическое значение, ритуал песни-молитвы и периодическое повторение имени божества заключает в себе повторяемость циклов времени (как фундаментальной структуры мира), веру в периодичность, что, со своей стороны, становится стимулом для читателя к последующему расширению мыслительного поля «бинарной оппозиции» (противопоставление дня и ночи, преисподней и неба, зимы и весны перерастает в противопоставление добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти) и подготавливает

Окончание. Начало см. в № 9—10, 1991 г.

твердую эмоциональную основу для восприятия всего мыслительного пространства романа. Столь широкое мыслительное пространство создает для бытового плана романа мифологический фон, что дает нам возможность хронику семейной жизни, протекающую в сюжетном времени романа, осмыслить в общепсихологическом, общен историческом и мифологическом контексте.

Надо отметить, что связь этого мифологического фона с сюжетом слабая. Она представляет собой общие рамки, весьма осторожно смыкающиеся с основной художественной структурой романа, а именно — вступлением и предсмертным сном Соломона Переули. Этот сон Соломона Переули — единственная (в контексте романа) встреча его личного «я» с его же бессознательной сущностью. Осадок бессознательного, всплыв наверх, прорывает слой сознания, и Соломон как бы со стороны видит сцены соединения этих двух начал. Первое — дикое, непокорное, молящееся на Арале, второе — облитое грязью, опозоренное, утратившее будущее, обессиленное, готовое к небытию. Находящееся по ту сторону сна сознание фиксирует единство этих двух начал и очерчивает границы потери. Осознав цену этой потери, Соломон Переули выносит себе приговор. Манана (она же Мата) в подсознании Соломона — покровительница Грузии, дух, собирающий и распределяющий семейное тепло, берегущий и спасающий его; именно поэтому похищение Мананы окажется той последней каплей, что переполнит чашу терпения Соломона и лишит его жизненных сил. Вот тогда-то национальная идея романа приобретает четко выраженный характер и персонифицируется в образе солнца, поглощенного преисподней.

Идея разрушения старой системы ценностей и ответственности поколений раскрывается на фоне известных исторических явлений 1921 года. Во внутренне узнаваемой интеллигентности Соломона Переули проявляется генетический культурный опыт поколений и пробужденное этим опытом внутреннее достоинство, традиция христианской жизни и благодать тихой, деятельной, интеллигентной любви к родине.

Повесть Стефанэ Касрадзе несет на себе печаль ностальгии по прошлому. Особенно характерна она для образа Маты Переули, семейных взаимоотношений супругов Переули. В образе Маты проявляется сила человеческого духа, его одиночество и глубина, непреходящая грусть вкупе с твердостью. Прекрасный, нежный, благородный образ Маты решен в ныне утерянной грузинской традиции женственности и ма-

теринства; со смертью Маты начинается падение семьи Переули.

Пространство, окружающее старшее поколение семьи Переули, характеризует устремленность к прошлому, небытию. Старое бесшумно, с тихой меланхолией освобождает место новому с его шумными, живыми страстями. Вспомним сцену с храмом, где двор его представляет условное пространство для внутреннего несогласия поколений. В это же пространство врывается смерть и тот невидимый фантом, который становится причиной бесчестия и кончины Соломона. Символическое назначение этого пространства очевидно. Во втором случае такое пространство — комната отца, где встреча отца с сыном не состоится. Леван не сможет получить ответа на вопросы, что мучают его, так как эти вопросы должны быть осмыслены в ином общенародном и историческом контексте и, в сущности, никто не ждет их решения в сюжетном времени романа. Поэтому эту несостоявшуюся и весьма значительную для основного подтекста романа сцену Стефанэ Касрадзе переносит вглубь, в религиозно-психологическую плоскость человеческого сочувствия и христианского прощения и тут же эмоционально готовит читателя к состраданию, сочувствию к трагической судьбе Соломона и его поколения. Вспомним предсмертное настроение Соломона, исполненное тихого, невысказанного смирения и грусти расставания. Того смирения, которое рождается лишь беззащитностью. Вспомним песню Соломона, которую неожиданно услышит Леван. Это не песня, это крик отчаявшейся от беспомощности, бессилия человеческой души. Последняя прогулка Соломона по белым от снега приморским улицам и его мысль: «Когда приходит страдание, не надо шевелиться» — выражение полной покорности судьбе. Внутренний настрой этой весьма тонко выписанной, сложной психологической сцены выражает согласие человека с природой: «Стемнело, день подошел к концу. Начался снегопад, настоящий, обильный, который окрестности встретили в полном молчании». Лучи заходящего солнца в последний раз освещают этот мир, прекрасный под его недолговечным теплом. Весь внутренний настрой Соломона, его мысли, восприятие связаны уже с обетованной землей. От его натуры, склонной к созерцанию прекрасного, не ускользает прекраснейшая грань между жизнью и смертью. Вот последнее удивление души, прислушивающейся к вечному молчанию, готовой к переходу в мир иной. «Молчание, исполненное прелести, как всякое чудо, исполненное таинственности, как великая музыка.

Молчание—это последнее слово всего видимого и невидимого...» Вспомним заключительный пассаж почти безмолвного диалога с лекарем: «Они почти ничего не сказали друг другу, взглянули друг другу в глаза. Улыбнулись... и Соломон с тоской спросил: — А скоро ли?».

Вот он, желанный конец! Как не похож он на щемящую, но все же оптимистическую мысль героя «Февраля», обывательский инстинкт самосохранения. Как не похожа «кричащая тишина» февральского Батуми на те молчаливые окрестности, в которых готовится к смерти Соломон Переули. Во всех этих оценках, несущих различную функциональную нагрузку, отчетливо выражается непримиримость разных точек зрения. У Николо Мицишвили: строгая, критическая, безжалостная; у Стефанэ Касрадзе: мягкая, всепрощающая, сочувствующая. Примерно так же выглядели на протяжении 70 лет и две системы представлений о трагических событиях февральской Грузии. Наверное, символично, что грузинский читатель одновременно познакомился и с «Февралем» и с «Тари-Аралем».

Особо следует отметить легкость стиля, многообразие интонации, свободную, нестандартную, эмоциональную фразу Стефанэ Касрадзе. Стефанэ Касрадзе-рассказчик — очень своеобразное явление, и наблюдательный критик обнаружил в его произведении нечто, что отличает его от традиционного грузинского романа. Например, уклонение от прямых диалогов и реплик, когда они, в сущности, не несут в себе никакого драматического или принципиального начала. В таких случаях автор отказывается как от функционального, так и от композиционного диалога (первый — художественный эквивалент драматического противопоставления мыслей, второй же — недраматического) и дает описание диалогической ситуации. Это — весьма своеобразный и эффективный метод фиксирования эмоциональной направленности сцены. Судите сами: «Это вызвало гнев женщин: если срок сдачи истек, где был до сих пор этот тип? Разве опоздавших погладят по головке? Тем более сейчас, в военное время! Или он не желает нести ружье? Может, боится, наверняка боится!».

В журнале «Мнатоби» была опубликована монография Тамар и Александрэ Готуа «Жизнь Левана Готуа» (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). В этой публикации дан полный и впечатляющий портрет человека, чья монументальная духовная мощь помогла ему остаться писателем и личностью в то злосчастное время. Судьба уготовила Левану Готуа нелегкую участь — олицетворять собой злой государственный удел Гру-



4619359-20
818-2110133

зии и справиться, преодолеть, осилить его. Его жизнь была именно участью, и как таковая она с самого же начала получила драматическое обрамление.

Большая семья Парфена Готуа хорошо понимала значение этого. Поразительны та верность и внутренний дар заботиться о человеке, без устали бороться за спасение его жизни — в любом смысле — в социальном ли, моральном или каком другом, которые проявила семья Готуа. Вся эта история, лично для меня, — нравственный пример. Нравственность исходит здесь из глубин духовной мощи, стойкости, некоей внутренней целостности. Это, как мне кажется, сегодня самая необходимая для грузина черта, так как нравственная проблема сегодняшней Грузии заключается, на мой взгляд, в ослаблении именно этого феномена.

Национальный культурный опыт, откристаллизовавшийся в душе Левана Готуа, его характере, излучал тот удивительный свет доброты и достоинства, который должен был высветить контуры будущего в темных пещерах времени. «Тому, что я вернулся на родину и выжил там, в том аду, я обязан своей интуиции», — говорил он. «Не надо забывать, что доброму от природы народу всегда присущи высокая нравственная мораль, чувство ответственности, мудрость и добросердечие!». Годы его ссылки, в сущности, были годами накопления психологического времени, ибо каждый миг, проведенный в ссылке, без потерь формировался в психологический опыт (в отличие от времени человека, втянутого в водоворот жизни), создавая прочный фундамент духа. Именно ограниченность пространства рождает явление, которое называют кристаллизацией человеческого духа. Этот духовный опыт обязательно измеряется качественным показателем души.

В прошлом году на страницах журнала «Гантнади» (№ 6) была напечатана еще одна быль о человеческой жизни. Это произведение мемуарного жанра 20—30 годов принадлежит перу известной писательницы Сафо Мгеладзе и называется «Правдивая история моей жизни». В воспоминаниях, написанных лаконично и эмоционально, чувствуется рука и глаз талантливого прозаика. По своему душевному строю, манере мышления, наконец, требованиям к жизни Сафо Мгеладзе — сильная и цельная личность. Настоящая проза же, как правило, немислима без таких личностных черт. По произведениям, напечатанным до сих пор, можно судить, что она весьма смелая писательница и неординарная личность. Именно благодаря этому и ее удивительной способности замечать самые, ка-



залось бы, незаметные пороки общества ее воспоминания ^{звучат} очень современно. «Правдивая история» несет ^{на себе} печать своей эпохи. Ее герои — реально существующие личности, полвека назад создававшие нашу литературу. Насколько исчерпывающи сегодня оценки Сафо Мгеладзе — пусть судит читатель, что же касается позиции самой писательницы, то она выступает обвинителем писательского официоза. Сегодняшнему читателю особенно интересны личностные и индивидуальные черты автора, которые отразились в повествовании. Неприкрашенная жизненность отобранного писательницей материала, ее смелое, эмоциональное и аналитическое слово свидетельствуют об активной гражданской позиции Сафо Мгеладзе, ее хрупком внутреннем мире.

В статье Вахушти Котетишвили, посвященной Нико Самадашвили, есть такая мысль: «Никакая проза не может быть выразительнее поэзии». Само собой, эта общая фраза в данном случае — своего рода попытка самооправдания в связи с тем, что автор взялся комментировать поэзию Нико Самадашвили. Но поэт — явление необычное, и в своем прозаическом произведении «Встречи и сожаления» («Цискари», № 3, 4, 5, 6) Нико Самадашвили сам попытался передать прозой то, что сказано в его стихах. Факт, обязывающий нас серьезно задуматься над причиной этого явления. Одно очевидно — «Встречи и сожаления» родились на стыке особенных, глубоко человеческих и поэтических импульсов.

Скитающийся по трясине жизни, неустанно сеющий «духовный хлеб» поэзии и добра — таким предстает герой поэтической прозы Нико Самадашвили. Скитания «одержимого творчеством» человека — на сей раз на ином творческом поприще — попытка освободиться от той вечной муки, которую рождает «болезнь внушения». Проза Нико Самадашвили — рассказ поэта о себе самом и своей жизни, о том, что не уместилось в стихе, что «осталось» и не попало в стих. Характерно: рассказчик смотрит на свое собственное поэтическое «я» как бы со стороны — с жалостью, сочувствием.

«Встречи и сожаления» — летопись различных встреч поэта с миром и людьми, сложное единение абсолютно поэтического настроения и прозаического повествования, попытка создания бытийной прозы в поэтической форме. Но и в процессе создания прозы в Нико Самадашвили преобладал поэт и поэтическое вдохновение, поэтому слияние формы и реального содержания «Встреч и сожалений» фактически осуществилось вне жанра. Произведение не назовешь ни циклом рассказов

(так как несмотря на внешнюю схожесть «Встречи...» внутренне объединены общим сюжетом духовных приключений, эстетическим образованием, не имеющим внешних признаков сюжета, но эмоционально выполняющим эту функцию); ни романом, так как отсутствуют почти все внешние атрибуты романа. Своим появлением на свет оно обязано внутренней потребности поэта создать «историю души».

Более подробный разговор об этом значительном произведении Нико Самадашвили не уместится в рамки журнального обзора, поэтому мы позволили себе высказаться лишь в общих чертах, а детальный анализ отложить на другое время.

В прошлом году наряду с рассказами грузинские читатели ознакомились и с новым романом Джемала Давлианидзе («Гантиади», 1989, № 8, 9; 1990, № 1, 2, 3) «Год» (это название, безусловно, напомнит читателю его произведение «Неудавшийся год», которое было опубликовано в журнале «Цискари» в 1989 году). В своих романах и рассказах Джемал Давлианидзе предстает последователем «потока сознания», хотя это больше относится к его рассказам, чем к романам. Романы Джемала Давлианидзе представляют собой разновидность «центростремительных романов» (Затонский), в которых объективный мир преломляется в душевной призме героя. Это не подразумевает ни глобального психологизма, ни верности только художественным принципам «потока сознания». С жанровой точки зрения «центростремительный роман» содержит больше возможностей показать мир в его истинном эмпирическом состоянии так, чтобы личное «я» воспринимающего этот самый мир постоянно находилось в центре внимания читателя. Такая форма романа таит и определенную опасность: усиление субъективного момента может сузить объективное и эпическое видение, необходимое для романа. Джемал Давлианидзе сумел избежать этой опасности. Активная, «изнутри» социальная и национальная натура его героя со всеми своими положительными и отрицательными чертами — выражение социальных и психологических деформаций «мужской модели» грузинского характера. Эта модель в современном общественном сознании и сегодня является привилегированной и, надо сказать, что ее созданию во многом способствовала и литература. Имеется в виду «транслитературная» модель генетического гуманизма и рыцарства национального характера; литература напомнила о генетическом долге в моральном плане, но, к сожалению, предложенную литературой модель общество приняло не как желаемое, но как действительное. Понятием

«генетического гуманизма» прикрылись определенные, сформировавшиеся на протяжении последних двух веков, нездоровые тенденции развития национального характера, которые выразились, в первую очередь, в неразборчивости в средствах освобождения от мощного социального и психологического давления, в ослаблении нравственной ответственности перед тем, что происходило в обществе, а именно активном и наступательном конформизме, выработавшемся в нашем национальном характере.

Мы начали разговор в связи с романом Джемала Давлианидзе, чтобы выявить суть его персонажа: он являет собой серьезную попытку отмежевания от подобной модели мужчины. Его неорганизованный образ жизни, различные фривольные приключения находятся в полном несоответствии с его же эмоциональным и интеллектуальным внутренним характером. Это несоответствие налицо, читатель болезненно воспринимает его, но такова реальность, и Джемал Давлианидзе не бежит от нее. Все это — результат беспорядочной социальной и личной жизни, но герой романа проявляет внутреннюю готовность преодолеть их. Он — насмешливый, злой, бойцовского характера человек, постоянно пытающийся что-то изменить в жизни. Благодаря этому его художественный образ приобретает несомненное достоинство.

Рассказы Давлианидзе, с точки зрения формы, — продукт определенных творческих исканий, и их результат заслуживает внимания. Но главное в них, пожалуй, сознание, отраженное в речи персонажа-рассказчика. Его типологическое сходство с главным героем романа очевидно. Лексические и интонационные аспекты речи героя, иронический тон в отношении ограниченности возможностей познания создают психологический и интеллектуальный портрет героя. С одной стороны, раздраженное социальным хаосом сознание, граничащая с отвращением неудовлетворенность общественной образованностью и моралью, его странными склонностями и, с другой, постоянное стремление философского ума к поискам пути, свидетельствующее о социальной разочарованности персонажа и его сильной личной воле.

Подобный же способ раскрытия характера героя с помощью непосредственно процесса сознания встречаем мы и в романе. Рассказы Давлианидзе бессюжетны, действие разворачивается не извне, в объективном мире, а внутри, в сознании. Развитие действия в романе равномерно «распределено» между этими двумя плоскостями. Действие, разворачивающееся

внутри, в сознании, содержит в себе момент оценки другого действия. Основным руслом течения сознания становится время, рассказчик полностью персонифицирован в главном персонаже, процесс накопления его внутреннего опыта (приключенческие ситуации романа) не что иное, как путь к совершенствованию своего нравственного облика, возвращения к генетическим истокам.

В журнале «Цискари» был напечатан роман Джангула Джикидзе «Практикум познания» (№ 1, 2, 3, 4, 5). Граница художественной условности романа так глубока, что различие между условностью реальности и фантастикой почти стерта. Такое расширение границ условности дает писателю возможность создать точную картину нашей общественно-политической жизни в восприятии больной психики героя. В романе условно все, начиная от названия городов и кончая характерами персонажей и их взаимоотношениями, но в виду того, что читатель ничего не знает о больном сознании главного персонажа — Морчилы, его путешествие воспринимается иллюстрацией точки зрения писателя на действительность, а художественный мир романа — аллегорическим выражением этой действительности. Все его скитания в итоге доходят до абсурда, впрочем, в восприятии героя это — нравственный акт исполнения обязанности, что означает, что нравственность и в нарушенной психике остается прочной духовной структурой. Главный признак воображаемого мира Морчилы это мертвенный индифферентизм и эмоциональный инфантилизм. (Эти социально-моральные приметы нашего общества читаются между строк романа, как и полное равнодушие здорового человека по отношению к больному сознанию героя). Пространство здесь фантастично. Время условно (не физическое или психологическое, а именно условное). По существу его функция совпадает с функцией пространства (например, Морчила из зимы переходит в лето). Пространство — как бутафория, любая проблема фантастически лишена смысла в мире, в котором путешествует герой.

Художественное пространство разделено «стеной невежества» надвое. По одну сторону стены — мираж, куда стремится Морчила и в конце концов попадает. Все это воспринимается читателем как художественная адаптация нашей жизни. Лишь в конце читатель догадывается о болезни Морчилы, и с этого момента мир романа в восприятии читателя четко делится на две части. Одна из них — воображаемая Морчилой реальность. Она содержит оценку нашей общественно-по-

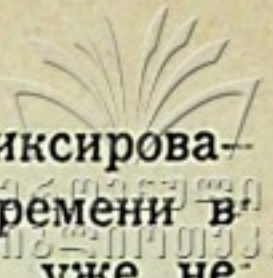
литической жизни. Вторая — реальность в восприятии рассказчика, «здорового общества», которая аннулирует мир Морчилы как ложный, отрицает момент оценки как плод больного сознания. Возвращение из воображаемого Морчилой мира в реальный мир рассказчика читатель воспринимает как своего рода насилие со стороны писателя. Впрочем, и это насилие выполняет свою функцию: оно возвещает о конце того практикума познания, который преподал читателю автор своим интересным романом.

В минувшем году читатель ознакомился и с двумя рассказами Реваза Джапаридзе — «Дым объял деревья» («Цискари», № 9) и «Божий человек» (№ 1). Оба повествуют о приключениях воинов из отряда национального героя Какуцы Чолокашвили. Возможно, эти рассказы — составная часть цикла, который тематически объединит страницы трагической истории отряда. И то, что эта мысль небеспочвенна, доказывает наличие в обоих рассказах общего смыслового стержня: показ восстания грузинского народа против коммунистического режима в плане действия рока. Эта общая национально-мировоззренческая точка зрения художественно реализуется в конкретных приключениях членов отряда Какуцы, в своеобразном, особенном колорите их характеров. Общее у них то, что все они выходцы из народа. Мы привыкли (приучили!) под понятием народ подразумевать безликую, лишенную воли и чувства долга массу. Грузинский народ в рассказах Реваза Джапаридзе — это воля и стойкость, любовь к родине и героическая поддержка ее защитников, нравственные и национальные убеждения. Герои рассказов Реваза Джапаридзе и персонажи, которые помогают им ценой риска для собственной жизни, являются носителями этих черт. Но смерть гонится по пятам за отрядом Какуцы, и роковое стремление к свободе с самого же начала обречено на гибель. Гибнут невеста Баадур — Тамро и ее семья, Иосиф Джамагашвили и его помощники. Большевистская лавина уничтожает десятки, сотни людских жизней, народ хранит их имена в своей памяти. Хранит и писатель, посчитавший своим долгом восполнить пропущенные трагические страницы истории и вспомнить имена, канувшие в Лету.

Рассказы Реваза Мишвеладзе («Мнатоби», № 6; «Гантиади», № 4; «Цискари», № 1) как всегда отвечают актуальной национальной и социальной проблематике. В событиях и ситуациях, описанных в его рассказах, человек пытается вернуться к своей человеческой сути, преодолеть тот социальный, государственный и правовой барьер, который воздвигнут вок-

ся крушением стереотипа. И хаос, вызванный этим, свидетельствует о весьма устойчивом свойстве нашего сознания. Художественную реальность рассказов Мамуки Долидзе довольно часто создают отдельные моменты и акты именно процесса познания и мышления, решение сюжетных иллюзий подразумевает преимущественно решение именно проблем сознания. В рассказе «Игра» показана полная субъективность и условность процесса перевоплощения. Просчеты мышления, несовместимость причинно-следственных связей дают начало цепи аналогичных действий. Та же несовместимость предстает основой пародийного пафоса рассказа, движущей силой развития сюжета.

Герои рассказов Мамуки Долидзе часто путешествуют в воображении. Именно здесь, в воображаемом пространстве действуют надматериальные поля добра, памяти, будущего. Соприкосновение с ними пробуждает в человеке веру в таинственное предназначение жизни («Путешествие в Алгетском ущелье»). Человек — часть Вселенной, ощущающий и раскрывающий ее таинственный код. История, осевшая и надежно скрытая в подсознании, в результате безжалостного, всепоглощающего хода времени неожиданно вырывается из глубин сознания и будит в герое моральную ответственность за будущее. «Путешествие в Алгетском ущелье» — интересный и своеобразный рассказ. Глубина и острота национальных чувств персонажа даны в сдержанной и утонченной форме. Авторское решение вопроса — возвращение в прошлое с помощью не памяти (которая пассивна), но воли — точный ответ на проблему, которая зовется поисками национального пути и которая выражает внутреннюю ответственность личности за свою генетическую и нравственную данность. Вот — диалог героя с мистическим защитником крепости Биртвиси (крепость Биртвиси здесь — метафора нашего исторического прошлого). «Я должен убить себя? — спросил я. — Пожалуй, — улыбнулся он. — От тебя должна остаться только воля, сила, которая преодолет все». С этого момента человек освобождается от материальной оболочки и превращается «лишь в волю». В таинственное, пугающее, незнакомое пространство крепости Биртвиси герой вступает как в неизведанное, не свое время, и актом этого вступления осуществляется сакральная воля и право человека быть носителем прошлого так же, как настоящего и будущего, познать свою таинственную принадлежность к тому, что находится в его внутренней сути, в его подсознании. Это необычное, осязаемое единение пространства и вре-



мени и материализация времени, по существу, — фиксирование мистического мига связи времен. Исчезновение времени в восприятии героя означает прекращение его течения, уже не воздействуя на человека, оно застывает и воспринимается как неизменное, недвижимое пространство. Это же в представлении человека не что иное, как вечность. «Застывание» времени означает введение прошедшего в настоящее. В этот момент общезначимое прошедшее превращается в личный опыт. Во временно-пространственном континиуме мира человек — единственная точка отсчета, которая во вселенской изменчивости должна воспринять и сохранить то основное, что называется добром, достоинством, долгом. Человек — «вектор времени», своей жизнью он должен связать времена, стать реальным проводником этой связи: «Мною действительно владело чувство, будто я сверху смотрю на себя, с верхнего угла прошедшего времени, где в треснувшей и застывшей скорлупе прошлого билось еще не состоявшееся будущее».

Мамуку Долидзе как писателя привлекает проблематика феноменологии. Для ее художественной обработки он использует своеобразный и различный материал. Освоение этого материала требует от читателя напряженной работы интеллекта, без которого его эмоциональное воздействие на читателя практически равно нулю. Составными структурами рассказов часто предстают эмоциональные и интеллектуальные клипы, коллажи, фантасмагорические видения, материализованные формы и образы, чувства и мысли.

Литература 1990 года продолжает обработку актуальной социальной и этической проблематики, поиски и решения причин психологической и моральной несовместимости человека с общественными нормами.

Я выделила бы «Рубеж» Заура Каландия («Цискари», № 10), «Под вопросом» Михаила Антадзе («Гантиади», № 4), и рассказ Георгия Лордкипанидзе «Антирабический курс лечения» («Мнатоби», № 5).

Михаил Антадзе с легкой иронией повествует о весьма серьезных аномалиях нашей социальной и психологической жизни. Точку зрения автора в двух словах можно выразить так: тенденция появления политических лидеров разных направлений характерна для общества, в котором человек не имеет возможности выразить себя в интересующей его области, где несовместимость цели и путей ее осуществления приводит сначала к моральному компромиссу, а затем к полному расстройству психической целостности человека. Надо отметить,

что писатель подчеркивает именно эту последовательность разрушения, и в этом проявляется его граждански правильная позиция по отношению к проблеме.

В произведении Заура Каландия дана социально острая картина фальсификации и деградации родственных отношений. В нашей грубой, циничной жизни нет места старым, светлым, добрым традициям, и сон — аллегорическая картина этой неуместности: горит дом старика Саба, и его тело, вытолкнутое к небу из этой пылающей массы, навеки прощается с грешным миром.

Отраженная в рассказах Георгия Лордкипанидзе картина социальной деградации человека весьма типична для нашего общества, она является результатом мощного давления безнравственного социума на психику индивида, за которым следует целый ряд моральных и личностных компромиссов с его стороны. Внимание читателя концентрируется на моральных потерях общества, так как общество — не просто сумма конформистов, а сложное и всеобъемлющее единение индивидов, и оно тем более сильно, чем больше в нем таких индивидов. Общество — социальное единение личностей, объединенных вокруг будущей цели. Характер главного персонажа рассказа раскрывается через его социальный (а не психологический) портрет, что направляет внимание читателя не на знание характера самого по себе, а на характер как носитель и олицетворение социального явления. Вынесенный в конце рассказа герою весьма суровый приговор (начинает действовать бацилла умирания), по существу, выражает отношение писателя не к герою, а к явлению, которое зовется конформизмом.

В рассказе Циалы Ардашелия «Почему охотник убил олененка» («Цискари», № 3) поднята весьма злободневная для нашего общества проблема воспитания и становления подростка, выведение его на «путь добра». Герой рассказа — мальчик-сирота четырнадцати-пятнадцати лет, но в нем уже заложены ориентиры, необходимые для нравственной личности — доброта, жалость, благородство, справедливость. Как сложится его жизнь во взаимоотношениях с эгоистичными, злыми и агрессивными людьми? Есть ли в обществе какой-либо механизм защиты добра и нравственности? Рассказ не дает прямого ответа на этот вопрос. Путь решения проблемы в сознании читателя связывается с художественным образом матери. Образ матери придает мальчику таинственную силу и возвращает его к жизни, та же сила должна заполнить трещины,

вызванные в отношениях между людьми безнравственностью, вероломством и равнодушием.

Этой же проблеме посвящен и рассказ Георгия Кечамадзе «Охота в лесу по ту сторону леса» («Цискари», № 4). Социальная жестокость, безответственность общества коверкают молодую жизнь, толкают человека на самоубийство. Виновато, в первую очередь, мещанское, подавляющее индивидуальность воспитание, разрушение традиций семейного единства.

Рассказ Омара Турманаули «Иосиф и Хорешан» («Цискари», № 1) повествует о жизни двух людей, связанных чудесной тайной любви. Вся атмосфера, в которой Хорешан выполняет ритуал своей сакральной любви к мужу, пронизана архаичной добротой.

Всемогущество человеческого добра, а именно его способность вытащить погрязшую в жизненном болоте женщину и одарить ее неожиданным счастьем, неотъемлемо от человеческой духовности («Мариам», «Цискари», № 1). В хрупкой психологической среде рассказа оживает вполне банальная любовная история.

В рассказе Мурада Чантурия «Который построил дом» («Цискари», № 7) интересен смысловой подтекст образа пожилой грузинской женщины Медеи, ее психогенетическое единство с национальной средой, магическая внутренняя сила быть хозяйкой и хранительницей этой земли. Вызывает тревогу полная несовместимость Медеи и ее сына, свидетельствующая о разорванной связи поколений.

«Бычий глаз» Нинс Дабрундашвили («Мнатоби», № 3) — попытка перенести на язык мифа 70-летнюю историю Советской Грузии. Мифологические элементы прозрачны и однозначны, то есть это — аллегория, а не символы. Ввиду такого художественного решения рассказ воспринимается как мифологическая реминисценция современности. Аллегии выразительны и точно отвечают основному смысловому подтексту. Несомненное достоинство рассказа составляет его сюжетное построение и цельность художественного мира.

В рассказе Владимира Джологуа «Караульный Берия» («Рица», № 1) дан живой, впечатляющий образ злого, жестокого и циничного человека. История человечества знает множество таких людей, стоявших на службе имперского государства, совершивших преступления против человечества по причине идеологической и политической близорукости. Караульный Берия — человек, которому государственная служба дает возможность удовлетворения уродливых, грешных страстей.

В рассказах Мурмана Хурцилава («Рица», № 1) читатель найдет критику социальных и нравственных пороков («Кочо»), парадоксы, выраженные на языке диктаторского государства — иносказания («Вахвахи»). В этом мире существует и невидимая сила, уравнивающая пороки («Денежный человек», «Наказание»). В рассказе «Наказание» этой силой выступает лежащая глубоко в подсознании человека его ответственность за все свои дела. Инстинктивный страх, «вызванный чувством безнаказанности за преступление», в определенных случаях толкает преступника к самонаказанию. В рассказе «Джвебе Ландия» такое самонаказание осуществляется на уровне художественной условности. Героя убивает его же тень.

Осмысление нашей истории в контексте последних достижений общественного сознания четко выявляет тенденцию писателей выработать новую точку зрения на наше историческое прошлое, представить психику современного человека в естественной исторической и генетической среде.

Эта тенденция и пафос «правдоискательства» углубляют интерес прозы к жанру психологического рассказа.

Проблема ответственности человека перед родиной дается в рассказе Тамаза Джигбгашвили «Варфоломеевская ночь» («Мнатоби», № 1) в двух различных ракурсах. Один олицетворяет собой активного участника политических репрессий, второй же — жертва этих репрессий. В одном сюжетном круге находятся события репрессий тридцать седьмого года и трагической ночи девятого апреля. История осмыслена как борьба нравственности и безнравственности, сфера политики и государственных обязательств очень часто служит прибежищем для этой безнравственности. Имперская идеология безжалостно противостоит и физически уничтожает все, что может «изнутри» взорвать империю: нравственность, духовность, личность, жажду свободы. Поскольку суть империи неизменна в любое время, в любую эпоху.

В прошлом году грузинский читатель ознакомился с несколькими рассказами, созданными на тему «несостоявшейся» жизни. Часть из них пронизана ярко выраженным социальным пафосом, часть же причину этого явления связывает со свойствами характера личности. Герой рассказа Юзы Качейшвили «Жертва» («Цискари», № 7) — молодой человек, пытающийся путем морального компромисса подняться на высокую ступень социальной лестницы, но его натура в момент опьянения отвергнет этот компромисс, и он возвращается к своему окружению, своему скромному месту. Юмористический тон

персонажа по отношению к собственному неукротимому «я» подчеркивает не значительность этой потери, а напротив, ироническое отношение к этому скоростному бегу по социальной лестнице.

Несостоявшуюся жизнь нашего современника — молодого человека — отражает рассказ Зураба Лобжанидзе «Цотне» («Мнатоби», № 10). Жизнь героя рассказа — наша тягостная, беспросветная мучительная повседневность. Исторические аппликации позволяют нам осмыслить пороки нашей современной жизни в более широком контексте, на фоне исторически сложившихся ситуаций. Прошлое в сознании героя продолжает жить в виде памяти и, в определенной мере, ответственности («бесконечность существует и нас кто-то слышит»), осколки же рыцарского духа великого предка Цотне Дадиани оседают в подсознании героя. Решающая роль отводится композиции. Кривая сюжета, обрывки воспоминаний, диалогов делают четким контраст между действительным и желаемым, пробуждают в читателе сочувствие и боль за еще одну неосуществившуюся, бессмысленно опустошенную жизнь.

«Белая кровь» Тенгиза Гоголадзе («Гантиади», № 7) — история социально незащищенного маленького человека. Морально опустошающий, тяжелый социальный быт человека полностью уничтожает его жизненную энергию.

На тяжелых физических и моральных последствиях, вызванных наркоманией, заострено внимание Лашы Хецуриани в рассказе «Кто они?» («Цискари», № 1). Рассказ этот — попытка разрушить определенный стереотип наркомана. Действительно, кто же они, эти люди — жертвы нашего государственного и социального строя, существа с хрупким внутренним миром или же психологически лабильные, апатичные, аморальные молодые люди?

«Потухший вулкан» Теймураза Ланчава («Гантиади», № 3) повествует о бесцельной, лишенной почвы жизни, бесплодных любовных историях. Конец рассказа выражает позицию писателя по отношению к такому образу жизни, бессмысленно растраченной народной энергии.

Нино Мдивани («Цискари», № 6) и Акакий Даушвили («Цискари», № 2) избрали в своих рассказах психологический путь передачи чувств одинокого человека. Это — сравнительно поверхностный «бытовой психологизм», связанный с личными жизненными эмоциями, утраченными надеждами. В рассказе «Вор» недолгое женское счастье душист мрак банального существования. Для героя рассказов Акакия Даушвили разо-

чарование в любви становится источником тихого морального удовлетворения. Его весьма почтительное отношение к женскому полу в нашей «стране охотников» выглядит очень необычно.

Неудачником с социальной точки зрения является и герой рассказа Ираклия Джавахадзе «Дуэль» («Цискари», № 5), но моральное и человеческое достоинство дает ему силы с юмором относиться к любому конфликту с официозом. С юмором и симпатией смотрят на него и автор, и читатель — как на обломок старых достойных времен и традиций

В основе маленьких рассказов Гуло Ксбиашвили лежит критика социальных пороков («Цискари», № 3). Писательница рисует поучительные сцены из сельской жизни лаконично, в меру эмоционально, колоритно.

Также колоритен «Зять» Эмзара Оманашивили («Цискари», № 8). В авторском повествовании, расцвеченном юмором, в свободной манере обрисовки персонажей, в кратких и впечатляющих картинах кахетинской жизни чувствуется полное владение материалом и любовь к тому уголку, где произошла эта странная, добрая и смешная история.

Рассказы Тенгиза Пипия («Цискари», № 6) — зарисовка грустных чувств поэтически настроенного человека.

Рассказ Нели Эремадзе «Плодов с древа познания... не ешьте» («Цискари», № 10) посвящен теме «эмоционального дальтонизма». Он рассказывает историю любви двух представителей интеллигенции. «Эмоциональный дальтонизм» как правило — результат «нравственного дальтонизма», и вопрос героя «интересно, где продается капкан?» полностью обнажает его безответственность как к близким людям, так и к себе самому. Литературная реминисценция (Маргарита М. Булгакова) в конце рассказа подразумевает решение писательской задачи в аллегорическом плане, но смена планов лишь частично удовлетворяет любопытство читателя к финалу.

С опозданием почти на тридцать лет состоялась встреча читателя с рассказом Гоги Майсурадзе «Акбай» («Мнатоби», № 7). После прочтения рассказа становится ясно, почему он не был напечатан в 1962 году. Интересно, что психологизм рассказа подталкивает сегодняшнего читателя к нравственно-политическим активным выводам. Советское государство морально растлеивает человека везде, на всех уровнях — и в тюрьме и вне ее. Страна превратилась в пустыню, где люди торгуют своим достоинством, преследуют друг друга, ловят, доносят, убивают из-за миски супа и куска хлеба.

Лейла Цомая в рассказе «Кладбище самоубийц» («Мнато-

«би» № 2) для описания душевного состояния героя избирает своего рода стенографический стиль, нервную, короткую и эмоционально выразительную фразу. Композиционная структура несет большую, в сравнении с сюжетом, функциональную нагрузку. Сюжет развивается по кривой, события располагаются во времени не последовательно, что активизирует интерес читателя к их причинно-следственной зависимости. Писательница привносит в рассказ мотив изначального греха рода, что сразу же создает драматическую основу для развития явления; несмотря на то, что общее направление замысла ясно уже из названия, и читатель в какой-то степени подготовлен к нему, ему все же трудно переварить этот «фабульный избыток» трагизма, и у него остается впечатление, что рассказ грешит сентиментальностью.

Разговор наш затянулся. Проза 1990 года во многих отношениях оказалась заслуживающей внимания, и мы постарались показать ее общую панораму, остановиться на тех тенденциях, которые более всего характерны для опубликованных в прошлом году романов и рассказов. Частично по этой причине в центр внимания попали не все рассказы. Надеемся, в будущем еще появится возможность поговорить о них. Наша литература — меняющийся, развивающийся духовный феномен и мы лишь попытались условно ограничить этот непрерывный процесс рамками одного года, что и определило отношение к рассматриваемому материалу.

ХРОНИКА

25 сентября: указом президента вводится чрезвычайное положение. Ситуация накаляется.

3 октября: Т. Китовани, не поддавшийся на провокации, даже на нападение гвардейцев Гамсахурдиа на Шавнабаду, где оставались несколько человек, надеясь разрядить обстановку, уходит из города и укрепляется на Тбилисском море. Перед зданием Департамента РТ, при огромном стечении народа, происходит церемония проводов гвардии.

В ночь на 4 октября: Гамсахурдиа санкционирует нападение ОМОНа на позиции гвардии с целью ее полной ликвидации. Несмотря на использование вертолетов, осуществить свой замысел ему не удастся. Жители района принимают активное участие в спасении гвардии.

(Продолжение на стр. 184).

ПОЕЗДКА НА РОДИНУ АВТОРА „ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ“

Что мы знаем об Александре Дюма? Да, да, том самом, авторе «Трех мушкетеров». Знаем ли, что он был поэтом, историком, политическим деятелем, публицистом, отважным путешественником, одним из основоположников жанра художественного описания путешествия? Знаем ли, что этот смелый человек видел многие явления куда тоньше и глубже, чем многие его современники, чьи имена были тогда у всех на слуху?

Очень мало мы знаем о Дюма, в основном сплетни; хорошо хоть, что в 1963 году на русском языке появилась книга Андре Моруа «Три Дюма», но ведь это не биография Дюма, а художественное воссоздание образа писателя, в этой книге тот Дюма, каким его хотел видеть Моруа. Например, ее автор лишь один раз упоминает о том, что Дюма бывал на Кавказе, о многих эпизодах и даже больших этапах жизни писателя и упоминаний нет.

И получается, что о человеке, написавшем, быть может, наибольшее число произведений в мире, мы знаем очень мало или почти ничего. Кстати, а сколько книг написал Дюма?

Недавно одно из московских издательств надумало издать наиболее полное на русском языке собрание сочинений Дюма и попросило меня возглавить редколлегию издания. Я стал составлять список произведений Дюма и насчитал их 477 — причем, не книг, а названий книг. В частности, одно из этих 477 произведений называется «Мои воспоминания», состоит оно из 22 томов, а в каждом томе минимум триста типографских страниц большого формата. И написаны эти воспоминания всего за два года. Почти каждый роман Дюма составляет несколько томов, но в перечне его книг каждое произведение пишется одной строкой. Поэтому если бы все эти 477 книг были изданы, то заняли бы не менее 600 объемистых

томов. И это без сборников стихотворений, без рассказов и повестей, без необозримого эпистолярного наследия. Необыкновенная продуктивность, невероятная работоспособность, чудовищная усидчивость — вот это и есть Александр Дюма.

Я и сам долгое время почти ничего не знал о Дюма; точнее, знал лишь то, что пишет о нем Моруа. Кстати, пишущий эти строки один из немногих в СССР, кто имеет дарственную книгу Моруа. В 1963 году я, будучи аспирантом-психиатром, написал Андре Моруа письмо, в котором восхищался его книгами о Дюма и о создателе пенициллина Александре Флеминге. Моруа прислал мне теплый ответ и книгу о Париже, которая в 1970 году вышла и на русском языке. Вскоре Андре Моруа умер. Прошло много лет, и вот теперь я, так любивший и сейчас любящий этого замечательного писателя, вынужден уточнять, дополнять, а в чем-то и не соглашаться с книгой Андре Моруа об Александре Дюма.

А я-то сам как стал дюмаведом? Каким ветром меня, кандидата медицинских наук, автора многих книг по психиатрии, занесло в дюмаведческие дебри?

Произошло это при обстоятельствах случайных, но — как все в жизни — закономерных.

В 70-х годах я собирал материал для книги, которая с началом перестройки вышла под названием «Беседы о детской психиатрии». Судьба ее была тяжелой, долгие годы ее не публиковали или требовали радикальной переделки. Я стоял на своем, издатели на своем. Сейчас книга уже переведена на английский, арабский, испанский, португальский и другие языки. В 1992 году «Просвещение» выпускает ее повторно. Я благодарен этому издательству, что тогда, в очень нелегкие годы, оно проявило известное мужество и, не поменяв ни слова в рукописи, все же ее напечатало.

Одним из героев «Бесед...» был аббат Хосе Кустодио де Фариа (1756—1819) — выдающийся психотерапевт, относимый историками к числу родоначальников современной гипнотерапии. Вы ведь, читатели, уже где-то слышали эту фамилию, она вам знакома? Конечно, знакома — по роману А. Дюма «Граф Монте-Кристо». Но что общего между реальным аббатом-психотерапевтом и персонажем романа?

Художественное произведение — это не отчет о командировке и не автобиография, создаваемая под суровыми взглядами кадровика. Роман есть роман. Персонаж Дюма и реальный человек имели много общего, но еще больше различий. Во всяком случае Дюма обессмертил реального аббата. Если бы

не «Граф Монте-Кристо», о реальном аббате знали бы лишь историки психиатрии, да и то очень немногие.

Итак, Дюма описал реального аббата, и в принципе верно. Как прекрасный художник, создавший незабываемый образ. А ведь о Дюма столько гадостей распространяли, столько выдумок...

В России есть такое выражение — «развесистая клюква». Мол, если человек врет, не стесняясь, то о его рассказах говорят, что это развесистая клюква. А некоторые добавляют, что эта фраза принадлежит Дюма. Якобы в своих описаниях поездки по России он сообщил, будто сидел в Тамбове под развесистой клюквой и пил чай. Потом я перепроверил это. Оказалось, что ничего подобного у Дюма не было, нигде он не пишет, что бывал в Тамбове и пил чай под развесистой клюквой. Выяснилось еще более парадоксальное обстоятельство: появилось выражение «развесистая клюква» в конце XIX — начале XX столетия, когда Дюма давно уже умер. Вот как несправедлива бывает людская молва.

Кстати, кто первый сказал «развесистая клюква», я не знаю, но есть основание полагать, что такое выражение могло прийти в голову только человеку охранительных взглядов, из тех, кто во всех иностранцах видит врагов, мечтающих лишь о том, чтобы унизить нашу высокодуховную, хотя нищую и безалаберную страну.

Узнав про аббата Фариа, я загорелся желанием проверить, сколько в книгах Дюма о России домысла, вымысла и документальности. Неужели все, что он пишет, «развесистая клюква»? Некоторые из ненавистников Дюма доходили даже до того, что уверяли, будто он в России не был, что за него писали книги какие-то никому не ведомые люди. Реакционеры, особенно так называемые русские патриоты, всегда плохо относились к Дюма.

В 1988 году в Москве вышла книга А. Дюма и А. Доза «Путешествие в Египет». Написана она от первого лица, читается с удовольствием, появилась в Париже еще в 1839 году. Злопыхатели злорадствуют: вот, мол, какой Дюма плохой, написал о том, где не был.

Адриен Доза побывал в Египте, написал об этом книгу, но никто не хотел ее публиковать из-за отсутствия в ней элементарных литературных достоинств. Опечаленный Доза принес рукопись к Дюма и попросил помочь ему. Дюма переписал рукопись, сделал из скучного перечисления фактов «конфетку», книга имела большой успех. На самом деле Дюма к

этому времени не бывал в Египте, для него было достаточно, что там побывал Дюма. Через два десятилетия Дюма посетил Египет, написал об этом так же увлекательно и откровенно, как это мог делать только он. Кстати, выпустил эту книгу под арабским псевдонимом.

Пусть книги Дюма о поездке, скажем, в Италию проверяют итальянцы, а книги о поездке в Германию — немцы. Я же — решил пиццущий эти строки — проверю книги Дюма о поездке в Россию, если она только состоялась. И выясню, были ли с ним соавторы, ведь Дюма написал о России семь объемистых томов: однотомные «Письма из Санкт-Петербурга», трехтомную книгу «Из Парижа в Астрахань» и трехтомник «Путешествие по Кавказу». Кроме того, находясь в России, он перевел пять стихотворений Пушкина, восемь стихотворений Лермонтова, роман И. И. Лажечникова «Ледяной дом», несколько повестей А. А. Бестужева-Марлинского, несколько стихотворений Некрасова и т. д. Русского языка Дюма не знал, языков народов Российской империи тоже, поэтому ему пришлось пользоваться услугами переводчика, а коли так, то, как полагают недоброжелатели, ошибок в его произведениях о России должно быть много.

Дюма прожил 68 лет, 4 месяца и 12 дней. Из них 8 месяцев и 18 дней находился в России. Кстати, хочу предупредить читателей, что, когда я говорю о пребывании Дюма в России, то имею в виду Российскую империю, ибо, например, Грузия — это, конечно, не Россия, она только была частью империи Романовых.

Дюма прибыл в Россию 22 июня 1858 года и в середине февраля следующего года покинул ее. Поездка его по России была триумфальной. Народ восторженно принимал автора книг о дружбе, о благородстве. Народу надоели свои литераторы, хилые и желчные, которые писали о том, кто виноват или что делать, но считали ниже своего достоинства прославлять красоту жизни, активность людей, их благородство, предприимчивость, смелость, деловитость. Обломовы или всякие разрушители с психологией разгульного Стеньки Разина были милее иным российским литераторам, нежели активные и разумные личности. Государство жило своей жизнью, народ своей, а литература своей. Государство видело в Дюма опасного смутьяна, литераторы — бульварного сочинителя, зато народ восхищался им. Это раздражало русских писателей — даже таких великодушных и благородных, как Герцен.

Тут нужно отметить следующее: Франция и Россия находились в неравном положении. В 1789 году в Париже была взята Бастилия, потом к власти пришли тогдашние большевики — их звали якобинцами — и устроили свой 1937 год, только назывался он 1793-им. К счастью, якобинцев удалось свергнуть, их вождя Робеспьера гильотинировали, кровопролитие было остановлено. Потом во Франции было много восстаний и войн, сопровождаемых страхом перед бунтом черни, неминуемо заканчивающихся террором.

В 1871 году в Париже опять случился мятеж, получивший на сей раз название Парижской коммуны. Французы — во всяком случае интеллигенция и средние классы — поняли, что до бунта доводить народ нельзя, нужно и ему дать жить прилично, не стеснять его. Поэтому свободы и культуры было на Западе куда больше, чем в России, еще, между прочим (дольше всех в Европе), сохранившей крепостное право.

Дюма никогда не восхищался террором, ему бы в голову не пришла мысль звать кого-то к топору. В якобинстве, как в символе самодовольной и безжалостной тирании, он видел взрыв примитивных эмоций, которые страшны, но и достойны осмеяния. Герцен, например, возмущался, как это Дюма могло прийти в голову величественные события 1793 года превращать в пародию.

Прошли многие десятилетия. Не только кровожадных вождей якобинского террора мы презираем и высмеиваем, но даже о вождях российского революционного террора отзываемся с брезгливостью. В России же образца 1858 года подобные мысли казались сверхпрогрессивным русским деятелям неопишным легкомыслием. Дюма смотрел на проблемы России как бы из ее будущего, а это не понималось современниками и не нравилось им.

Дюма был неплохим пророком. Вот как он, например, рассуждал о неминуемом будущем русской монархии: скоро случится революция, Польша и Финляндия станут независимыми, а из эмиграции в Россию вернется гениальный изгнанник (цитирую Дюма дословно) и установит федеративную республику. И впрямь: был 1917 год, Польша и Финляндия обрели независимость, а из эмиграции возвратился Ленин. Что было потом, читатели знают. И Дюма это предугадал, а вот ни Герцен, ни тем более консерваторы типа Достоевского его не понимали и не принимали, относились к нему плохо и сетовали на русских читателей, которые встречали заез-

жего иностранца куда лучше, чем собственных литераторов. И в который раз говорили, что неблагодарные русские не ценят своих глубокомысленных пророков-писателей, указывающих, как людям надобно жить, что народ дик и т. п. ^{даже} сейчас правительство утверждает, будто народ ленив и недостойн своего прекрасного правительства.

Между прочим, а как это Дюма занесло в Россию? Правительство его не приглашало, литераторы тем более, знакомых в России у него почти не было. Да и репутация Дюма была у россиян очень подмоченная, многие его не любили — каждый по своим, конечно, причинам.

Еще в 1840 году он опубликовал роман «Учитель фехтования» — первое в мире крупное художественное произведение о декабристах. Эта книга, восхищавшая декабристов, была запрещена в царской России, потом фактически была запрещена и при большевиках. Лишь с началом гласности ее стали публиковать большими тиражами. В «Учителе фехтования» Дюма решительно выступил против деспотизма, против принципа «Православие, самодержавие, народность», он имел смелость вслух сказать, что в России есть или рабы или господа. Это не нравилось не только царизму, но и бесчисленным кифам мокиевичам, этим национал-патриотам, которых высмеивал еще Гоголь, но которые не только не перевелись, а со временем стали задавать тон в государстве.

После «Учителя фехтования» пути в Россию писателю были заказаны, хотя он делал попытки приехать в эту страну, которая всегда его интересовала.

О Дюма ходит множество легенд, говорили, что он был чревоугодником, бабником и вруном. Реальный Дюма вина не употреблял, кофе не пил, не курил. Всю свою жизнь он собирал кулинарные рецепты и за девять месяцев до своей смерти сдал Альфонсу Лемеру подготовленный им «Большой кулинарный словарь». Книга вышла в 1873 году — через три года после смерти писателя. Между прочим, некоторое участие в подготовке рукописи к печати имел молодой сотрудник А. Лемера Анатолий Тибо — в будущем великий писатель Анатолий Франс.

Как всякий нормальный мужчина, Дюма любил женщин, но времени на них у него почти не было, хотя сами женщины, очень любившие погреться в лучах славы великого человека, не раз распускали слухи, что они, мол, были с ним в очень близких отношениях. Дюма был женат лишь единожды, что среди писателей и вообще людей творческого труда не такое

уж частое явление. Он имел трех незаконных детей: сына и двух дочерей. Род Дюма давным-давно уже угас, не сохранилось ни одного потомка писателя, хотя однофамильцев много встречаются и самозванцы. Иногда молва приписывает родство с Дюма какому-то его однофамильцу, порой весьма достойному. Например, меня часто спрашивали, не является ли нынешний министр иностранных дел Ролан Дюма родственником автора «Трех мушкетеров». Не зная, как ответить, я послал Р. Дюма одну из своих книг и попросил сообщить, какое отношение он имеет к А. Дюма. И очень быстро получил ответ, что родственником не является, но творчество А. Дюма очень любит, благодарит за книгу и желает успехов на всех моих поприщах.

В XIX веке весьма популярен был Александр Дюма-сын. Его драма «Дама с камелиями» была прославлена музыкой Дж. Верди и постановками ряда выдающихся режиссеров. Сын был замечательным человеком, очень благородным, мужественным, но писательская слава его уже позади. Ныне его драмы кажутся скучными и длинными. Кстати, Дюма-сын был одним из первых в мире писателей, разносторонне и точно осветившим тему формирования детского характера, находящегося в тяжелых социальных условиях (более подробно эту проблему я освещаю в книге «Ребенок из неблагополучной семьи (записки детского психиатра)», она вышла в 1988 году в изд-ве «Просвещение»). Вообще французы шли на сто лет впереди русских, да и всей планеты. То, до чего мы доходим лишь в недавнее время, было так или иначе решено французами и многими другими европейцами еще в прошлом столетии.

Итак, до наших дней дожила слава лишь автора «Трех мушкетеров», поэтому добавлять, что это Дюма-отец, не нужно — и без добавлений все понятно.

Всю свою жизнь А. Дюма интересовался психотерапией, он был знаком со множеством известных в его время гипнозистов (слово гипноз было предложено в 1843 году, а до этого говорили о магнетизировании). Да и сам блестяще владел гипнозом и об этом много писал. В своих книгах сообщал об операциях под гипнозом — их тогда проводилось много, ибо не было тех многочисленных обезболивающих препаратов, которые сейчас делают гипнотические операции бессмысленными. Дюма тянулся также к всевозможным людям — особенно с необычными способностями. (Об этом я подробно рассказываю в книге «Дюма, гипноз, спиритизм», вышедшей в Моск-

ве в 1991 году). Такой интерес — естественный во все времена; и в наши дни к экстрасенсам и гипнотизерам приходит много народа — поглазеть хочется, ведь интересно. Но многим из своих знакомых — обладателям сверхъестественных способностей — Дюма относился с уважением (и всегда с интересом), но многих — особенно спиритов — воспринимал с иронией. Вообще, он был веселым и здравомыслящим человеком, не витал в метафизических облаках, считал лицемерами тех, кто слишком религиозен или мнит о себе слишком много.

Среди знакомых был один спирит — Дэвид Дуглас Юм. Этот в свое время очень популярный человек (его, например, упоминает Лев Толстой в «Плодах просвещения») намеревался отправиться в Россию, чтобы обвенчаться с сестрой жены очень богатого и важного при царском дворе сановника — графа Григория Александровича Кушелева-Безбородко. Чтобы читателям был немного понятен облик этого графа, скажу, что в значительной степени князь Мышкин из романа Достоевского «Идиот» списан с Кушелева-Безбородко. Граф издавал несколько журналов, был известным филантропом, камергером императорского двора и прочее. Царский посол в Париже не мог отказать такому влиятельному человеку и дал разрешение Дюма на въезд в Российскую империю: как частному лицу и только на свадьбу.

Вот так Дюма оказался в Петербурге. При обстоятельствах одновременно сугубо житейских и детективных.

Побывав на свадьбе, пожив в Петербурге, Дюма вдруг заявил, что хочет добраться до Индии через Кавказ. Что делать? Не высылать же писателя во Францию! Ведь мы не варвары, мы умеем быть учтивыми... Тогда в России тоже была гласность и перестройка, во главе ее находился император, который тоже не мог найти общий язык с интеллигенцией, предъявлявшей к гласности и перестройке тех времен максималистский принцип «Все или ничего». Поскольку тогдашняя интеллигенция хотела немедленно установить в России те порядки, к которым Западная Европа шла очень долго, мучительно расставаясь со своими революционными иллюзиями, эта интеллигенция боролась с Александром Освободителем, а кончилось это 1 марта 1881 года взрывом на Екатерининском канале.

Но гласность есть гласность, поэтому власти решили: пусть едет Александр Дюма куда пожелает, но установили за ним строгое жандармское наблюдение. Это был, возможно,

единственный случай в мировой истории, когда жандармерия неотступно следила за иностранным писателем. На многих донесениях написано «Доложено Его Величеству» — делать нечего было царю, видно.

Впрочем, советские архивы еще не вскрыты, а когда их откроют (если не уничтожат документы), тогда окажется, что далеко не только за автором «Трех мушкетеров» следили — в этом я несколько не сомневаюсь.

Найденные мною донесения жандармов помогли проверить соотношение домысла, вымысла и документальности в книге «Из Парижа в Астрахань». Оказалось, что Дюма все писал верно и точно. То, что жандармы лишь перечисляли, он описывал многословно и образно. Никакой «развесистой клюквы» в его рассказах о поездке не было. Это, если не ошибаюсь, пока первый случай в истории литературоведения, когда жандармские донесения сыграли громадную положительную роль.

Так что уймитесь, недоброжелатели Александра Дюма: и в России он был, и описал ее очень точно, и с симпатией относился к ней, но не ко всякому народу, а только к тому, который не любит рабства, кто уважает свои и чужие права. Дюма ведь был демократом, не все ему в мире нравилось, он любил свободу, а не вообще жизнь.

Пробыв месяц в Северной Пальмире, которая не могла не восхитить писателя, Дюма направился в Москву, побывал на Бородинском поле, в Троице-Сергиевой Лавре, из Калязина на пароходе добрался до Астрахани и 7 ноября 1858 года прибыл в Кизляр, откуда и началось его путешествие по Кавказу.

В Нижнем Новгороде он повстречался с Иваном Анненковым и Полиной Гебль — героями его «Учителя фехтования». Этот случай, кажется, не имеет аналогов в истории литературы.

Находясь на Кавказе, Дюма пересек Дагестан, побывал в Дербенте и Баку, проехался по «саду Грузии» — Алазанской долине. Побывал и на Военно-Грузинской дороге, пожил в Тифлисе и через Гори и Кутаиси добрался до Поти, оттуда уехал в Константинополь и затем в Марсель. Все три книги о поездке по Российской империи он написал, находясь в России.

Обо всем этом я сообщал в самой первой своей статье о пребывании Дюма в Российской империи — «К истории двух путешествий», напечатанной в «Литературной Грузии» в июне 1981 года. Тут уместно отметить, что этот журнал стал

своеобразным первооткрывателем данной темы, я всегда буду благодарен этому родному мне изданию, которое неизменно помогало пишущему эти строки, поддерживало в самых сложных изысканиях.

Между прочим, читателям будет, возможно, небезынтересно, как я раскопал донесения жандармов. О том, что они существуют, я слышал давно, но где хранятся, каковы, не знал. Найти их мне помогла моя профессия врача. Попасть в архивы еще недавно было невозможно. Да и сейчас пускают не всех и не везде. Тогда же (ведь совсем недавно еще, лет прошло немного, а в психологическом смысле словно столетия) на всякого, кто интересовался тем, чем большевики считали неположным интересоваться, смотрели как на диверсанта. Но мои высокопоставленные пациенты помогли мне пробиться в Центральный госархив Октябрьской революции, где хранились секретные документы. В один прекрасный день я вошел в кабинет заведующей отделом информации — пожилой женщины, которая, если не ошибаюсь, давно уже на пенсии. Она внимательно слушала радиопередачу о том, как лечить головные боли. Своим появлением я оторвал ее от такой интересной передачи, она молча написала на поданном мною прошении слово «отказать» и углубилась в размышления о том, как, почему и каким образом у разных людей болит голова. Передача кончилась, и она недовольно спросила, почему я не ушел. Когда я ответил, она едва не свалилась в обморок: голос врача и мой голос были одинаковы.

Я пообещал, что вылечу ее и всех ее сотрудниц от любой головной боли, а она пообещала найти мне дело Дюма. Свое обещание я, к сожалению, не выполнил, а вот жандармские донесения и многое другое, что хотя к Дюма не имело прямого отношения, но нужно мне было для исторических занятий в других направлениях, я получил. А пришел бы в архив на полчаса позже или на полчаса раньше, не видать мне было бы того, что столько лет искал. Как часто наша жизнь зависит от случайностей!

Чтобы проверить достоверность «Путешествия по Кавказу», я проехал по тем же самым местам, причем в то же самое время года, что и Дюма. Я перепроверил все имена, все расстояния, все ситуации, все цитаты из «Путешествия по Кавказу» и, к удивлению своему, убедился, что Дюма был очень дотошным человеком, у него не было никакого авось, он был обязателен и честен, а коли так, то очень ответственно относился к своему долгу писателя. Достоверности его опи-

саний могут позавидовать самые педантичные ученые. В его книгах о Российской империи находишь куда меньше небрежности или ошибок, чем в книгах отечественных писателей о своей родине.

У Дюма был секретарь, который никак не мог быть его соавтором. Он был, что называется, на подхвате. Личное дело секретаря (это был студент Московского университета Александр Калино) я нашел в одном московском архиве. Студент, явно не блещущий успехами в науках. Что Калино не был слишком уж образованной личностью, подтверждают и современники. Скончался он в 1861 году и никаких воспоминаний не оставил.

Вместе с Дюма ездил еще один человек — Жан Пьер Муане. Это был парижский художник, он зарисовывал то, что его просил Дюма. Шесть акварелей Муане я нашел в музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Все свои «русские» книги Дюма написал сам, хотя и пользовался услугами переводчиков, сопровождавших его. Такими услугами пользуются все — тут ничего бросающего тень на Дюма нет. Все его книги сохраняют единство стиля, единство психологического настроения. Даже те, к созданию которых приложили руку другие люди. Забегая несколько вперед, скажу, что в конце 1990 года я побывал на Пер-Лашез и нашел могилу Огюста Маке — многолетнего сотрудника Дюма. На громадном памятнике Маке выбиты названия романов: «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера» и другие, которые в наши дни приписываются только одному Дюма. Маке действительно помогал ему в создании этих романов, но помогал не как равноправный мастер, а как мальчик на побегушках, подыскивавший цитаты, даты и прочее. Последние четверть века своей жизни Маке писал книги без помощи Дюма и ни одна из них не пережила своего создателя. И если сейчас о Маке кто-нибудь и вспоминает, то только в связи с тем, что он был причастен к книгам Дюма.

У Дюма был громадный дар творческого ясновидения, по одной детали он мог восстановить облик всего явления. И никогда не ошибался. У его книг есть, с моей точки зрения, лишь один недостаток: они слишком велики по объему. Их невозможно одному человеку не только обдумать, но даже и прочесть. А уж издать полное собрание книг Дюма никто не в силах — во всяком случае пока. К сожалению, Дюма остается в сознании читателей (особенно советских) лишь автором романов о мушкетерах и еще нескольких. В СССР его много из-

дают, но только одни и те же романы. Издают то, за что не нужно платить деньги авторам, но с лихвой можно нажиться за счет читателей, которые всегда тянулись к творчеству Александра Дюма.

Правда, в 1988 году в Тбилиси вышло первое в мире академическое издание хотя бы одной книги Дюма. Эта книга называлась «Кавказ» и подготовил ее пишущий эти строки. Радостно собирал я материал, так же радостно книга шла в издательстве «Мерани», никто не портил настроения, никто не приписывался в качестве соавтора, никто не посылал жалобы, что вот, мол, психиатр влез в недоступные любителям дебри дюмаведения. Кстати, еще и отечественного дюмаведения-то фактически нет, заложены лишь первые кирпичи в его фундамент. Тем более, что подходил я к Дюма не с традиционной точки зрения.

Пять лет у меня ушло на перепроверку книги «Путешествие по Кавказу», названной в «Мерани» «Кавказом». Перепроверял я все без исключения. Например, Дюма пишет, что в Дербенте он попал на могилу возлюбленной А. А. Бестужева-Марлинского Ольги Нестерцовой. Там он написал стихи в честь несчастной девушки, продиктовал их сопровождавшему его князю Ивану Багратиону, тот их записал и пообещал выбить на каменной призме, а ее водрузить на памятник О. Нестерцовой. Исполнил ли князь эту просьбу Дюма (кстати, очень скоро И. Багратион был убит горцами), была ли она вообще? Мало ли что мог написать автор «Путешествия по Кавказу».

Я приехал в Дербент в ноябре 1984 года — спустя ровно 126 лет после Дюма. Также лил противный осенний дождь, было такое же мрачное небо, могилы стояли на старом кладбище, словно понятия не имели о быстротекущем времени.

Могилы Нестерцовой не было, никто и не знал о ней, хотя какие-то туманные легенды об этой девушке существовали. Ни в местных музеях, ни в горисполкоме об истории с памятником никто ничего не ведал. Когда я упоминал Дюма, мои собеседники в недоумении и замешательстве спрашивали: «Какой Дюма? Неужели он у нас был?» Только после выхода мераниевского «Кавказа», благодаря нескольким сотням экземпляров этой книги, попавших в Дагестан, люди узнали о связи их края с великим писателем.

Если призма на памятнике была, кто-то ее наверняка сфотографировал, решил я и принялся за поиски фотографии. И через несколько лет нашел — в фототеке Дмитрия

Ивановича Ермакова — летописца Кавказа, скончавшегося в 1916 году. И камень на могиле есть, а на нем призма, и стихи Дюма. Все сошлось. Значит, Дюма все верно написал и князь Багратион успел исполнить его просьбу.

О том, как я проверял книги Дюма о России, можно написать новую «Тысячу и одну ночь».

В «Литературной Грузии» (№ 9—11 за 1988 год) была напечатана моя документальная повесть «Дюма на Кавказе», к которой и отсылаю любознательных читателей. Естественно, что и в этой повести я не мог изложить все, чем располагал, ибо тема «Дюма на Кавказе», наверное, неисчерпаема.

Больше всего меня поражало, что Дюма предстал в результате моих поисков совсем в ином свете: он ни о ком не говорил плохо, был, как бы еще недавно выразились, интернационалистом, уважал людей, призывал их к действию. В наше нервное время, когда люди много говорят да мало действуют, книги и взгляды Дюма могут сыграть большую умиротворяющую роль, призывающую людей к деятельности, а не к бесплодной рефлексии.

Перестройка фактически началась с конца 1986 года, когда из горьковской ссылки был возвращен А. Д. Сахаров, за эти годы мы научились лишь ругани друг с другом, а пока одни ругаются, другие, советские обломовы, бездельничают, те, кто разоряли нашу страну, продолжают ее разорять. Человек не может жить без свободы, только демократия может в наивысшей степени выразить творческий потенциал и предприимчивость личности. Все эти мысли красной нитью проходят через творчество Дюма. Но еще в середине 80-х годов, уже при перестройке, эти мысли были крамольны в тоталитарном обществе. Издатели, шедшие по наезженному пути, предпочитали видеть в Дюма лишь развлекателя, а не публициста, борца за свободу. И поэтому не издавали и сейчас не издают многие из его книг. По сей день Дюма остается для советского читателя автором лишь нескольких книг — не 477.

Никто не хотел печатать и подготовленный мною «Кавказ». Но, к счастью, была на свете Грузия, и именно в Тбилиси вышла эта книга. К сожалению, она почти неизвестна отечественному читателю. Тираж ее 110 тысяч, почти полностью он ушел на черный рынок. В редкой библиотеке имеется эта книга.

За вклад в дюмаведение Французское общество друзей Александра Дюма избрало меня своим членом и пригласило посетить Париж в ноябре—декабре 1990 года.

Я никогда не выезжал за пределы Советского Союза и сразу в Париж — в столицу культурного мира, на родину свободы.

Я решил отправиться на поезде, чтобы побольше познакомиться. Оказалось, что это не так просто. Восемь дней я стоял в очереди, чтобы получить транзитную визу через территорию ФРГ, три месяца стоял в очереди, чтобы поменять валюту, несколько недель пытался купить билет до Парижа. Наша безалаберная (нет, не безалаберная, а человеконенавистническая) система все делала, чтобы омрачить поездку.

Перед поездкой я попытался подписаться на пятнадцатитомное собрание сочинений А. Дюма, которое выходит в качестве приложения к журналу «Огонек». Куда я только ни обращался, чтобы подписаться, все было бесполезно. Я даже обратился к президенту СССР, из его канцелярии мое письмо переслали в московскую «Союзпечать», оттуда мне ответили, что подписка вся уже распределена между ветеранами войны, так называемыми афганцами, и вообще заслуженными людьми, а я человек незаслуженный и нечего просить то, что мне не положено. Мой отец — ветеран войны, многих ветеранов я знаю, но ни от кого не слышал, чтобы кому-то позволили подписаться на А. Дюма. Зато на черном рынке подписывайся, сколько хочешь (так я, кстати, и сделал).

Вот как система, созданная большевиками, еще раз показала свое лицо. Всю свою переписку с президентом и прочими чинами по поводу подписки на Дюма я передал в музей Дюма возле Парижа.

Итак, я в Париже. Ничто меня не потрясло, кроме самого факта, что я нахожусь здесь, что могу пройти по парижским улицам.

В Париже жили многие изгнанники, и Париж всегда укрывал их. Я тоже виделся со многими эмигрантами. Одно дело, когда ты слышишь — годами! — их выступления по зарубежным радиостанциям, и уже привыкаешь к ним, они — часть твоей духовной жизни. Другое дело, когда их видишь, общаешься с ними. В парижской редакции радио «Свобода» (с ней я сотрудничаю много лет) первыми, кого я увидел, были историк Михаил Геллер и писатель Юрий Мамлеев. Мы встретились, словно всю жизнь знали друг друга, хотя могли узнать лишь по голосам. И на радио «Свобода», и в «Русской мысли» и в других эмигрантских изданиях я увидел живых, мужественных, симпатичных людей, живущих жизнью нашей

страны, мечтающих все сделать, чтобы помочь нашей демократизации, тех, кого преступная система в свое время вытолкнула за родные пределы.

Они поддерживали в нашем народе тлеющие огоньки свободомыслия. Особенно после того, как под восторженное улюлюканье черни большинство советских вольнодумцев было арестовано или изгнано из страны. Как герценовский «Колокол» хранил высокие идеи русской литературы, так «Континент» удержал высокую планку литературы, а «Русская мысль» сохранила непрерывность русской журналистики, ее преемственность.

В Париже есть прекрасный памятник Дюма работы Гюстава Доре, он открыт в 1883 году. Недалеко и памятник автору «Дамы с камелиями». Вообще в Париже очень много памятников, среди них нет безобразных, нет чудищ и идолов, это памятники культурного народа, делающие этот народ еще более культурным.

Один из самых красивых мостов в Париже — мост царя Александра Третьего. В городе есть Русская улица, площадь Сталинграда — там не было случая, чтобы улицы и площади переименовывали в угоду быстро меняющимся политическим настроениям.

Увидел и Триумфальную арку, на которой находится моя любимая скульптура «Марсельцы» — о ней мы с Георгием Шхвацабая рассуждали на страницах «Литературной Грузии» (№ 2, 1991, год).

Насмотревшись на ужасы деспотизма в крепостнической России, Дюма понял, что человек должен сам принимать участие в борьбе за свободу. Вот почему после поездки по России он отправился в армию Гарибальди, чтобы принять участие в борьбе за свободу Италии. Поездка в Россию произвела в нем психологический переворот. Поездка моя на Запад сделала то же самое: вместо того, чтобы остаться там, я вернулся еще более убежденным, что место каждого из нас на родине, что надо бороться, что за нас никто ничего делать не станет, улучшить жизнь на нашей родине мы можем только сами. И к этому я призываю вас, мои читатели.

Как бы ни был волнующ Париж, как бы ни было интересно в других городах Франции, а также в Бельгии и Германии, которые мне довелось посетить, все же не буду отвлекаться от главной задачи этого очерка — рассказе о Дюма.

В 1844 году, разбогатев на книгах о мушкетерах, Дюма

решил построить себе дворец. Строительство длилось три года, и вот в 22 километрах от Парижа (во Франции все расстояния отмеряются от Собора Парижской Богоматери; сейчас дворец, о котором я рассказываю, находится уже недалеко от Парижа, до него за 15 минут можно добраться на метро, если сесть в поезд на площади Звезды — там, где Триумфальная Арка) между Сан-Жермен ан Лей, Марли ле Руа и Лё Пэк был построен замок, который он назвал Замок Монте-Кристо. Это большое трехэтажное здание, над входом в которое написан лозунг Дюма «Я люблю тех, кто любит меня». У него был солнечный характер, это был рослый, физически сильный человек, его любили женщины, у него не было комплексов неполноценности и ущербности. А для писателя это очень важно.

У Дюма, к сожалению, были завистники и враги, он мучался от непонимания окружающих — творческим людям ведь всегда нелегко, они всегда пасынки времени, и, как правило, пишут для потомков.

Официально Замок Монте-Кристо был открыт 25 июля 1847 года, а уже через год Дюма вынужден был его покинуть, ибо нечем было платить за содержание дворца. После этого замок переходил из рук в руки, вконец разрушился, пришел в полное запустение. Местная мэрия решила реконструировать его, создав в нем 40 квартир, но вмешалась общественность и с очень большим трудом выкупила замок. Сейчас в нем размещается правление Французского общества друзей Александра Дюма и небольшой музей его имени.

Так бы и стоял дворец в очень неприглядном виде, если бы ему не повезло: в 1985 году его часть была отреставрирована на личные средства марокканского короля Хасана Второго — большого поклонника творчества Дюма. В знак благодарности Хасан II избрали почетным членом Французского общества друзей Дюма. Автор этих строк является вторым (и пока последним) почетным членом этого общества, возглавляемого известным ученым академиком Аленом Деко — многолетним министром по делам культурного сотрудничества в часто меняющихся правительствах Французской республики.

Меня очень тепло приняли руководители Общества, показали все, что я хотел посмотреть. А я привез в дар музею много всевозможных документов и книг.

Замок пока неблагоустроен, но для поклонника творчества Дюма это не имеет большого значения.

Поскольку в замке при нем бывало очень много гостей,

и они мешали писателю работать, он построил примерно в 200 метрах, на пригорке, небольшой домик, который сам назвал замком Иф или Собачьей конурой, ибо домик был очень мал. В нем Дюма дни и ночи писал свои замечательные книги. На стенах этого романтического домика имеется 88 табличек, на которых написаны названия книг Дюма, вышедших к тому времени.

Вскоре после моего приезда в Париж меня повезли в маленький городок Виллер-Коттре, который находится примерно в ста километрах к северу от Парижа.

Великий писатель родился в Виллер-Коттре. Городок находится в стороне от больших дорог, туристы его не посещают; я, например, был первым советским человеком, побывавшим там. И мэр города, и члены муниципального совета, и просто жители, когда встречались со мною, искренне интересовались нашей страной. Я никогда не забуду их гостеприимства.

Когда кавалькада машин с моими друзьями прибыла на кладбище, жизнь в Виллер-Коттре, можно сказать, приостановилась. Я привез цветы из Москвы, чтобы возложить их на могилу Дюма. Во Франции на могилы кладут чаще всего искусственные цветы, а тут живые, да еще из далекой Москвы, да еще из страны, в которой происходит демократизация.

Когда Дюма был в Тифлисе, его пригласили на банкет в один из литературных журналов. Гостю дали большой рог, в который налили полтора литра вина. Дюма не знал, что с ним делать, и выпил эти полтора литра. Тогда ему налили еще столько, он и это выпил. Писатель, видно, решил, что ему нальют еще, и ретировался. И ему выдали справку, что он перепил всех грузин. Я рассказал эту историю на могиле Дюма, вытащил бутылку «Энисели», и мы выпили ее за этого великого писателя, за дружбу наших народов, и, конечно, за свободу... А как французы хотят, чтобы наша борьба за демократию окончилась победой!

На местном кладбище лежат три одинаковые белые плиты: под левой покоится отец писателя, республиканский генерал Тома Александр Дюма (25.3.1762—27.4.1806), под средней мать Мария Луиза Элизабет Лябуре (1.7.1769—1.8.1838), а под правой — автор «Трех мушкетеров». Дюма скончался 5 декабря 1870 года, вначале его похоронили в Дьеппе, где он умер, а потом перенесли в Виллер-Коттре.

Что касается даты рождения Дюма, то тут полная путаница: в одном справочнике указывают 1803 год, в другом

— 1802. Сам Дюма называл то один год, то другой. В Виллер-Коттре я видел своими глазами запись в мэрии, из которой следовало, что он родился 24 июля 1802 года.

Здесь же захоронена внучка писателя Жаннина Д'Отерив (1867—1943).

Завершая этот очерк, я хочу сказать о самом главном. С моей точки зрения, это то, что Дюма любил и прославлял свободу, что он был глашатаем демократии. Не тот Дюма, которого усиленно навязывали читателям в течение многих десятилетий, нужен нашей свободе — только еще нарождающейся. Нам нужен Дюма — борец за демократию. А для этого необходимо иными, чем прежде, глазами взглянуть на творчество этого писателя.

Поездка по трем странам Западной Европы (в основном по Франции) не исчерпывалась только моими дюмаведческими интересами. Побывал я и в прекрасном городе Виши, о котором так трогательно писала на страницах «Литературной Грузии» (№ 1, 1991 г.) Жанин Небуа-Момбе. Повстречался и с этой удивительной женщиной, активно разрабатывающей тему грузино-французских связей. Я вел семинар со славистами по вопросам психологического литературоведения и русско-французских литературных связей, выступал на конгрессе Международной лиги прав.

У каждого третьего француза имеются недавние иностранные предки. Русскоговорящих во Франции очень много. Все хотят помогать нашей демократии, но возвращаться домой никто из эмигрантов не хочет. Не столько оттого, что у нас нищета, сколько из-за беззакония и хамства. Во Франции вы не встретите такого социального расслоения, как у нас. У всех есть тот минимум, который позволяет уважать себя. В СССР же 95 процентов народа производят, а 5 — распределяют, этим пяти и принадлежит власть. Во Франции власти распределителей нет. Ни разу не видел нищих. Пьяных тоже. О том, что они существуют, я, конечно, знал как врач — и из такого комичного призыва на одной из станций парижского метро: «Не пейте больше двух литров вина в день — иначе станете алкоголиками».

Во Франции все не так, как у нас: черный хлеб дороже белого, чай дороже кофе. Утром едят мало, днем побольше, вечером наедаются. И хотя с нашей точки зрения там питаются неверно, но французы живут, естественно, намного дольше, чем мы. Однако главное не в продолжительности жиз-

ни, а в ее качестве. Люди воспитанны, улыбчивы, даже собаки не лают.

Свое государство не восхваляют, но и не ненавидят его.

Во многих своих медицинских и педагогических книгах я писал о необходимости бороться с вещиизмом, одолевшим наш народ. Но цензура не позволяла мне говорить правду. Побывав на Западе, я еще больше убедился в том, что существует лишь один способ борьбы с вещиизмом: надо наполнить все прилавки тем, что душе угодно. Этого добились на Западе. Неужели мы у себя этого не увидим?

В 1942 году, в самый страшный год гитлеровской оккупации, великий Поль Элюар написал стихотворение, которое знает каждый француз и в наши дни.

И силой единого слова я вновь возрождаюсь к жизни,
Я рожден, чтоб тебя постигнуть, чтоб назвать свое имя —
Свобода!

Как бы нам ни было трудно, не будем отказываться от свободы. Утратим ее сейчас — потом ее еще труднее будет приобретать и привыкать к ней. Без демократии мы все равно никуда не двинемся.

Достоевский уверял, что ни от чего люди не отказываются быстрее и радостнее, чем от свободы. Неужели наш народ согласится вернуться под иго тоталитаризма? Неужели свобода ему невыносима?..

9 июля 1866 года в Неаполе Дюма написал четверостишие:

Я люблю жизнь из-за любви и свободы—
Единственных сокровищ, которых желаю.
За любовь я готов отдать жизнь,
Но за свободу я отдам все — даже любовь.



Союз писателей: быть или не быть?!

Редакция обратилась к ряду писателей — прозаикам, поэтам, критикам, публицистам — с предложением высказаться по поводу будущего Союза писателей Республики Грузия. На нашу просьбу откликнулись:

МУХРАН МАЧАВАРИАНИ, председатель Союза писателей Грузии — Я знаю, Союз писателей в том виде, в каком он существует ныне, не должен существовать. Но каким он должен быть и должен ли быть вообще, я не знаю. Кто знает, пусть выскажется.

Необходима дискуссия.

Вопрос настолько актуален, что его следует вынести на обсуждение. Убежден, в ходе дискуссии непременно выявится не одна новая модель структуры Союза писателей.

Это даст возможность писателям на будущем своем общем собрании большинством голосов выбрать из всех моделей наиболее приемлемую (либо же вообще аннулировать Союз — общее собрание писателей правомочно поступить таким образом).

Словом, быть или не быть Союзу писателей, решать самим писателям.

РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ — Союз грузинских писателей, вернее Союз писателей Грузии создавался как творческая организация, построенная на демократических началах. В условиях авторитарного режима, оказавшего на него безусловное влияние, Союз писателей Грузии тем не менее оставался выразителем национального духа грузинского народа. Пусть нас не



пугает тот факт, что в разное время в нем находили прибежище не один и не два подлеца, которые затем бесславно исчезли с литературной арены.

Известно, что коммунистическая партия и советское правительство делали все, чтобы в стране не осталось ярких личностей, тем более писателей, представителей интеллигенции, которые в любой исторической обстановке могли сказать правду и указать на путь истины, по которому как заступники народа и люди одной с ним судьбы повели бы его за собой.

Слова «интеллигент», «интеллигенция», которым в дореволюционной Грузии соответствовали «джентльмен», «джентльменство», превратились в ругательство. Это было время, когда одержимые карьерой нелюди, гордясь своей духовной и материальной нищетой, посчитали построенную на демагогии и аморальности советскую власть своей властью и потребовали от нее особенных привилегий. Таких субъектов в 30-е и последующие годы немало набралось в Союзе писателей. Они терроризировали, травили жизнь той оставшейся горстке истинных писателей, которые твердо стояли на ногах и всячески пытались оградить себя от всеобщей безнравственности.

Но не надо представлять себе, как это делают некоторые, кто одержим физиологической ненавистью к грузинским писателям, будто Союз писателей Грузии был преступным сборищем негодяев, имена которых история почти не сохранила, а из современников мало кто помнит. Очень ошибаются те, кто так думает и пытается убедить в этом других. Если бы дело обстояло именно так, погибла бы вся духовная культура грузинского народа, значительнейшую часть которой представляет литература.

Давид Клдиашвили, Василий Барнов, Нико Лорткипанидзе, Михаил Джавахишвили, Геронти Кикодзе, Павлэ Ингороква, Григол Робакидзе, Константинэ Гамсахурдиа, Галактион Табидзе, Поликарпе Какабадзе, Виктор Габескирия, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Серго Клдиашвили, Константинэ Чичинадзе, Демна Шенгелая, Колау Надирадзе, Александр Абашели, Георгий Леонидзе, Лео Киачели, Шалва Дадиани, Симон Чиковани, Теренти Гранели, Георгий Шатберашвили, Ладос Асатиани, Иосиф Нонешвили, Реваз Маргиани, Нодар Думбадзе...

Наверное, это не полный перечень имен людей, которых среди нас уже нет. Да простят мне их души, если я забыл кого-нибудь из них, достойных писателей-патриотов, да, именно писателей-патриотов!

Была ли это истинная литература? Может ли она состав-



014135340
545-1119333

лять гордость какого бы то ни было народа? Вот **каков был** Союз писателей в не таком уж далеком прошлом, он принимал на себя и в какой-то степени отражал яростные атаки нанятых правительством служак.

В условиях авторитарного режима Союз писателей Грузии был единственной национальной организацией, где господствовал вытесненный на кухне грузинский язык, это была Мекка грузинского языка, единственная неприступная цитадель национальных чувств и помыслов.

Меня удивляет, как вообще можно ставить вопрос — должен ли быть Союз писателей в независимой Грузии. Это кощунство! Задаваться таким вопросом — все равно, что лить воду на мельницу одержимых цинизмом писателишек-неудачников.

Союз писателей Грузии должен непременно существовать, как действенное оружие писательской консолидации, их сплочения во имя национальных идеалов. Другой вопрос, каким он должен быть сегодня, когда уже не является составной частью объединяющего писателей департамента или министерства развалившейся империи. Должны ли измениться его форма, состав, руководящий аппарат? Безусловно должны, тут не может быть двух мнений.

Пусть никого не удивляет, но я без околичностей скажу: писатель, истинный, наделенный дарованным свыше талантом, выражаясь современным языком, привилегированная личность. Его знает родной народ, он почитаем, к каждому его слову чутко прислушиваются. Вспомним хотя бы Константи́на Гамсахурдиа или Галактиона Табидзе. Разве они не были исключительными личностями, разве они не пользовались особенной любовью и уважением грузинского народа? Эту привилегию — народное уважение и вечную память — со всеми вытекающими отсюда нюансами, они заслужили своим божественным талантом и необычайным трудолюбием.

Недавно мне рассказали, как однажды Галактион Табидзе, находясь в Сухуми, стоял в очереди на стоянке такси. Кто-то узнал его, вышел из очереди и куда-то скрылся. Через некоторое время подъезжает к стоянке в такси, выходит из машины и, открыв заднюю дверь, приглашает поэта: пожалуйста, батона Галактион. И сам расплачивается с шофером.

Кроме Галактиона, в очереди стояло немало людей, но никому из них не подали машину, эта честь была оказана только поэту. Почему? Объявим борьбу преимуществу, которым

наделили его небеса, уравним со всеми и не признаем за ним никакой исключительности?

А вот следующему случаю я сам был свидетелем: как-то в Гори к Константи́не Гамсахурдиа, когда он садился в машину, подошел бедно одетый человек и почтительно спросил: вы — батони Константи́не? Получив утвердительный ответ, он опустился на колени и попросил: позвольте поцеловать вам руку. Константи́не Гамсахурдиа рассмеялся: но я ведь не священник!

Отсюда мораль: не каждому писателю и не каждому священнику целуют руки. Я намеренно использовал слово «привилегия». Сегодня оно звучит как ругательное, а в отношении истинного творца никогда не применяется. Использовал для того, чтобы сказать: порицать следует не привилегии или привилегированность, а незаслуженное их получение — путем организованных махинаций и далеких от творчества усилий.

У нас почему-то высокое должностное лицо обязательно считается выдающимся общественным деятелем и в случае смерти его хоронят с помпой, обязательно в пантеоне. Но то же лицо, переведенное на другую, менее важную должность или же вовсе отправленное на пенсию, теряет ореол общественного деятеля и как простой смертный находит вечное упокоение на общем кладбище.

Вот достойная порицания привилегия, с которой следует бороться и, в первую очередь, в Союзе писателей.

Как это сделать?

Писатель, избранный председателем или секретарем Союза писателей, не должен иметь никаких привилегий. Тогда этот пост или посты потеряют для карьеристов всякую привлекательность и станут обыкновенным рабочим местом.

И все же как этого добиться?

Я могу предложить свой вариант.

Независимый Союз грузинских писателей и других писателей, живущих в Грузии, как творческая организация должен быть создан заново. На общем собрании членов ныне существующего Союза секретариат должен снять с себя полномочия, но по поручению того же собрания продолжить работу до создания новых структур. Тут же собрание должно избрать организационный комитет по формированию нового Союза и выработки его устава — кто и как может стать членом независимого Союза писателей Грузии. Собрание изберет приемную комиссию, либо же возложит ее функции на организационный комитет. Надо отказаться от устаревшей практики приема в

члены Союза путем тайного голосования. Это правило сопряжено со множеством недоразумений и несуразностей. Каждый претендент на членство в новом Союзе должен быть принят в результате свободного обмена мнений и открытого голосования.

Число изданных книг не может быть решающим для принятия в члены Союза. Автор этих книг должен иметь определенный авторитет в обществе, репутацию писателя. И его дальнейшая судьба как писателя не должна в будущем ограничиваться лишь членством в Союзе, как это имеет место сегодня, напротив, членство отдельных писателей должно что-то прибавлять Союзу.

Общее собрание нового Союза, вероятно, создаст руководящие органы на общественных началах.

Избрание на эти посты должно происходить не по принципу представительства, как сегодня, но по тому творческому вкладу, который тот или иной писатель вносит в родную литературу.

Тут мы подошли к вопросу о председателе и секретарях.

По моему глубокому убеждению, председатель и секретари, которых выберут писатели на своем общем собрании, так же как и председатели жанровых секций, должны исполнять свои обязанности на общественных началах. И только секретарь с правами директора-распорядителя, который будет направлять административную работу аппарата СП согласно плану и директивам, разработанным коллективным органом — секретариатом, может получать зарплату. Что касается творческой деятельности, работы секций и комиссий — это предмет заботы всего секретариата.

Союз писателей должен освободиться от персональных машин и довести до минимума свой аппарат. Часть функций Союза должна быть передана подчиненным ему организациям — Литфонду и Коллегии по переводу. Поскольку в этой заметке я выражаю свою, личную точку зрения, считаю необходимым добавить, что к нынешнему руководству СП у меня нет никаких претензий. Более того, считаю, что каждый из них может быть избран в руководящий состав нового Союза писателей.

Еще два слова: в последнее время появилась тенденция к формированию писательских ассоциаций. Не следует мешать этому, напротив, надо всячески поощрять эту тенденцию, но я лично считаю: было бы лучше, если бы подобные ассоциации возникали внутри Союза писателей, чтобы это не распыляло творческие силы и, что хуже всего, не приводило к взаимопротивостоянию.

СОСО СИГУА — Союз писателей Грузии был создан в октябре 1917 года по инициативе известных наших писателей, так что ни меньшевики, ни большевики тут ни при чем. И тогда во всей империи царили хаос и анархия, и никому не было дела до писателей. По существу, Союз писателей был обществом, формально объединившим людей одной профессии (не обязательно единомышленников). Советская власть превратила его в часть государственной структуры, подчинила своему диктату, трансформировала в разновидность министерства, учредив за ним строгий идеологический контроль (вспомним некоторых руководителей — Силибистро Тодриа, Симона Цверава, Давида Деметрадзе, Кандида Чарквиани). Согласно известному ленинскому воззрению, литература должна была стать частью партийной борьбы, и она стала ею. Поэтому государство покровительствовало и финансировало Союз писателей, журналы и газеты, обеспечивало преданных себе лиц постами, премиями, квартирами, дачами. Принцип государственной иерархии распространился и на структуру Союза писателей, впрочем, чисто партийное устройство всегда признавалось писателями неверным. Этот механизм, с невиданной жестокостью внедренный государством, принес свои плоды, почти отлучив писателя от мыслей о литературе. Ремесло писателя стало осмысливаться как средство делания карьеры — все иные пути для молодого творца были закрыты. Впрочем, став частицей официальной структуры, он неизменно превращается в бездушного проводника партийных идей.

Если пересмотреть сегодня произведения авторов, которые в 70—80-х годах казались нам оппозиционерами, мы обнаружим, что и они несут на себе печать господствовавшей идеологии. Малейшее противодействие, отклонение от генеральной линии воспринималось как геройство, подрывающее марксистско-ленинскую идеологию. Но это был эволюционный процесс, требующий длительного времени. Надо сказать, что уже в 80-е годы грузинская литература отвергла метод т. н. социалистического реализма. Но диктат государства продолжался, бразды правления все еще находились в его руках. Оно регулировало служебные, жилищные проблемы, возможность публикаций. Тот, кто был против правительства, никогда не смог бы стать членом Союза. А не будучи членом Союза, не считался писателем, стало быть не мог издать книги, получить нормальный гонорар, квартиру, машину, мебель, путевку за рубеж и т. д. Нейтралитет допускался, но к таким личностям Союз под давлением правительства проявлял полное равноду-

шие; отверженец, чувствуя себя притесненным, начинал задумываться о своем положении и в конце концов приходил к конформизму, который так осуждал в молодости.

Одним словом, Союз писателей не был нацелен на подъем литературы, но в тех условиях его надо было использовать, каким он был. Так и происходило. В эпоху всеобщей нетерпимости Союз оставался островком надежды. Не будь его, положение писателей могло быть еще худшим. Правительство все равно потребовало бы от них верной службы, а взамен ничего не дало бы. Мне возразят, что истинный писатель может работать в любых условиях, но истинных писателей по пальцам перечесть, и труд их равносителен подвигу. Не все, однако, способны на подвиг, но все хотят жить.

Сегодня иная ситуация. Рушится централизованная система. Основано множество новых негосударственных газет, журналов, издательств. Приватизация, частная собственность, свобода слова открывают новые перспективы, и в это время, естественно, встает вопрос о Союзе писателей. Любое государство заинтересовано в подлинном искусстве, но как это искусство будет создаваться — государства это уже не касается. Это — дело индивида, и, как бы правительство ни старалось, оно не сможет заставить его создать шедевр или помешать ему в этом. Таким образом, писатель снова становится вершителем своей судьбы. Но для этого окончательно должны быть разрушены социалистические структуры и созданы новые общественные нормы и структуры. В нынешний наш переходный период Союз писателей должен быть сохранен. Без поддержки правительства писатели пока не смогут существовать, точнее, большая их часть не сможет не только уладить свои жилищные проблемы, но и книгу издать. Возможно, оно и к лучшему, но не надо думать, что в условиях жесткой конкуренции выигрывает обязательно талантливый. Часто случается и наоборот. Немало тому примеров дает Европа, и мы не будем исключением.

Но существующий Союз действительно нуждается в преобразовании. Он уже вышел из-под идеологического диктата. Писателей сегодня объединяет не какая-либо доктрина, но любовь к грузинскому языку и Грузии, которую каждый понимает по-своему, настолько она всеобъемлюща. Поэтому единство СП весьма и весьма условно, что, естественно, порождает различные группы, ассоциации, которые учреждают свои издания и издательства. Так что Союз писателей должен быть преобразован в Ассоциацию писателей, профессиональное объединение,

которое будет иметь своего символического руководителя (президента), авторитетного писателя, чье слово и личность чтит весь народ. Сегодня такой личностью является поэт Мухран Мачавариани. Естественно, что именно он начал дискуссию о будущем Союза писателей. Думается, что секретари и секции в новом Союзе совершенно излишни. На смену секциям придут ассоциации, которые, в свою очередь, сами будут решать, какие им нужны секции. Писательская ассоциация как организация, объединяющая противоположные друг другу группы, станет пропагандистом литературы, защитником прав авторов, каковы бы ни были их значение или убеждения.

А в будущем, когда литература окончательно освободится от государственной опеки или привилегий, Союз писателей, вероятно, прекратит свое существование, ибо каждый найдет к тому времени подходящую для себя форму существования, и отдельные писатели или группы писателей, придерживающиеся противоположных точек зрения, не захотят быть вместе.

ДАВИД МЧЕДЛУРИ — Председатель Союза писателей Грузии предлагает нам дискуссию о будущем СП.

Было бы несправедливо забывать, что еще два года назад группа писателей начала кампанию за проведение подобной дискуссии, но определенные круги усмотрели в этом некий криминал и резко воспротивились абсолютно мирной идее.

Время же, как выясняется, берет свое, и движение, начатое «снизу», продолжает ныне председатель Союза.

Прежде всего считаю нужным сказать, что возможность роспуска Союза писателей, которую, как один из вариантов решения проблемы, допускает батони Мухран Мачавариани, считаю совершенно неприемлемой. В нынешней социально-политической обстановке упразднение писательской организации даже в сегодняшнем ее номинальном значении будет не просто ошибкой, но преступлением. Подобное действие не оправдать ни «демократизацией», ни «разрушением имперских структур», ни прочей идеологической фразеологией. Вообще, по моему глубокому убеждению, демократизацию общества начинать с роспуска Союза писателей и других творческих организаций попросту нельзя. Дотошный человек может подумать, что за вопросом — «Нужен или нет Союз писателей?» — скрывается позиция определенных политических сил, которые постоянно ополчаются на мыслящую часть общества и, если чутье не изменяет мне, ныне заподозренную в «оппозиционности», собира-

ются изгнать из последнего прибежища «творческой интеллигенции».

Скажу прямо: в силу всего этого и ряда других причин, речь о которых пойдет ниже, грузинские писатели обязаны сплотиться, преодолеть противостояние, разногласия и раздоры, которые посеяла между ними политическая нестабильность, впрочем, убежден, что процесс этот долгий и сложный. Со своей стороны, творческая организация писателей должна представлять собой не испытанную в политических боях марионетку, а полностью аполитичную, радеющую о писателях, мобильную, гибкую структуру управления. По этому пути и должна идти дискуссия.

Понятно, что Союз писателей как структура, созданная в советский период, имевшая в основном идеологическую функцию, совершил немало преступлений по отношению к писателям, но все это уже в прошлом и нет необходимости снова затевать об этом разговор. Гораздо более важно, чтобы будущий Союз писателей, если таковой состоится, не превратился бы в такую же идеологизированную организацию и не стал на службу определенных политических сил, как это имело место в прошлом.

Необходимы глубокие, радикальные преобразования нынешней структуры Союза. Из идеологического надзирателя он должен превратиться в чисто творческую организацию, из повелителя-распорядителя писательских судеб — в заботливого покровителя. Сегодня, в условиях кардинальных социально-политических изменений, писатели сильнее всех нуждаются в защите социальных и творческих гарантий. Большая часть писателей, так же как и большинство граждан, находится на грани нищеты. Издание книги становится проблемой, в обозримом будущем почти неразрешимой. Что делать поэтам, прозаикам, критикам, публицистам, драматургам, что делать начинающим, еще не известным читателю авторам в условиях экономического кризиса и, если хотите, рыночной экономики, когда сбыт находят дешевые, откровенно развлекательного характера произведения, непрофессиональная литература? Союз не выполняет своей роли — защитника писателя в редакциях, издательствах, в обществе — этими вопросами вообще никто не занимается. На каждом шагу грубо нарушаются авторские права писателя, издание книги и законная, своевременная выплата гонорара за нее зависят от настроения и взглядов издателя. Жилищные и творческие условия многих писателей крайне тяжелы.

Никого не заботит воспитание будущих поколений грузинских писателей, их утверждение на литературной арене, оно попросту игнорируется, более того, намечается тенденция некой враждебности к ним. Командные должности отданы на откуп посвященной в «вечные руководители» писательской касте.

Достоинство и авторитет грузинских писателей поколеблены мелкими эгоистичными раздорами и сведением личных счетов, что не имеет ничего общего с литературой.

С 1921 года грузинская литература надолго выпала из колеи развития мировой литературы, став заложницей «социалистического реализма» и «партийности литературы». Эстетические, литературные, философские процессы свободного мира, приобщение к богатейшей духовной сокровищнице стран Европы и Америки стало недостижимой мечтой для нас, в результате современный грузинский писатель, как жертва интеллектуальной агрессии Центра, по своему кругозору во многом уступает грузинским писателям двадцатых годов (за редким исключением, естественно). Печально и то, что интеллектуальные ценности свободного мира, как скоро мы ни приобщились бы к ним, для ныне действующих литературных поколений так и останутся вещью в себе, ведь для их восприятия требуются годы, они станут доступны лишь будущим поколениям, поэтому первейшая забота писательской организации — воспитание новых литературных поколений и вывод их на литературную арену. Именно они будут создателями независимой литературы будущей свободной Грузии.

Во всех этих структурных преобразованиях главное — окончательно изжить административно-начальственный дух Союза писателей. СП должен выделиться из государственных структур, невзирая на то, какие политические силы стоят у власти. Писательская организация Грузии должна стать автономным, абсолютно деполитизированным союзом свободных писателей.

В моем представлении будущий Союз писателей Грузии — это демократическая творческая организация, состоящая из творческих ассоциаций, писательских групп и отдельных писателей, объединившихся на добровольных началах, организация, которую, я думаю, не унижит, если вместо скомпрометировавшего себя имперско-диктаторского «Союза» мы назовем «Обществом», или «Ассоциацией», или «Клубом». Разве плохо звучит, скажем, «Общество грузинских писателей», «Ассоциация грузинских писателей» или «Клуб грузинских писателей» (кстати, одно из толкований слова «клуб»: организация, объе-



диняющая людей для общения, связанного с определенными интересами).

Ныне вновь настали тяжелые для грузинской литературы времена. Яростные нападки на интеллигенцию вообще и писателей в частности окончательно подорвали их авторитет, писатели разбились на враждебные группировки, и никому не известно, чем это кончится. Ежедневно мы сталкиваемся с действиями, недостойными звания писателя, исходящими как со стороны поддерживающих правительство, так и со стороны оппозиционеров. Писатели перестали заниматься своей профессиональной деятельностью, превратились в высшей степени политизированную прослойку, ищущую в условиях нового режима свое место.

Поэтому повторяю, необходимо сохранить Союз в том или ином виде. Писатель должен иметь какую-то точку опоры в обществе, необходимую для него как с моральной, так и с материальной стороны.

Я далек от мысли, что в среде писателей, как, впрочем, и в обществе, когда-нибудь наступит социальное и имущественное равенство. Всегда будут богатые и бедные, талантливые и не очень, избранники судьбы и неудачники, предприимчивые и инертные, но когда те или иные писатели пользуются благами этого мира не потому, что являются творцами книг, а в награду за покорную службу властям, это оскорбительно для **всей** литературы. Присуждение литературных званий и регалий — исключительная прерогатива писательской общественности, свободной литературной критики и читателей, а не государственной идеологической службы.

Одним словом, будущая организация писателей Грузии должна стать эпицентром свободных, профессионально-литературных процессов, у нее не может быть никаких других дел и забот, кроме как дать новый толчок литературной жизни, способствовать созданию новых литературных течений, содействовать высказыванию свободных мыслей, бороться за демократию и прогресс, что является не таким уж легким делом в нашей «демократической» стране.

Коренного пересмотра требует также механизм приема в члены СП. Целостность Союза писателей должна определяться не членскими билетами и структурными рамками, его основной опорой будет добровольное единение писательских групп и отдельных писателей с учетом их национальных, профессиональных, литературных и общественных интересов.



НОДАР ЦУЛЕЙСКИРИ — Союз писателей основывали не коммунисты. Они просто преобразовали его на свой лад. Профессиональное объединение писателей, мне кажется, во все времена должно приветствоваться и заслуживать одобрения. Более того, если бы у нас не было сегодня Союза писателей, его надо было бы создать. Прежний Союз писателей, который мы имели, по своей структуре подобный райкому (первый секретарь, оргсекретарь, секретарь и т. д.) — сегодня просто не представим, невозможен. Бюрократический аппарат СП должен быть в корне изменен, но сам СП сохранен. Но не это главное. Должна измениться сама литература, должна стать иной литературная жизнь. Сегодня писателем может называться тот, кто лучше обругает коллегу или вообще ни в чем не повинного человека. Чем убедительнее эта ругань, чем униЗИтельно-оскорбительнее она, тем талантливее считается ее автор.

Этот порок оставила нам прежняя система. Мы должны полностью оздоровить литературную атмосферу; издавать новые газеты и журналы, писать новые книги. Правда, новыми газетами и журналами, т. н. свободной прессой, заполнен весь город, но она не отражает нашу жизнь в полной мере. О творчестве забыли — где стихи, романы, рассказы, пьесы? Так продолжаться не может — грузинская натура долго не выдержит без стиха. Не сегодня — завтра вновь возникнет острая необходимость в истинной литературе. А газеты и журналы, именуемые свободными, оппозиционными, основной упор делают на ругани и склоках. Слова «оппозиция», «свободная» утратили свое первоначальное значение, свободомыслие и оппозиционерство умалено, низведено до нуля.

Лет десять назад, когда свободомыслящие оппозиционеры боролись против советской власти, у них был высокий политический идеал — свобода Грузии. Мераб Костава и Звиад Гамсахурдиа хотели вытащить Грузию из рабства (и добились своего!), правительство же противилось этому. Тогдашнему правительству нравился Советский Союз, пребывание в нем считалось исторической необходимостью. Оппозиция выступала против. Сегодня обстоятельства изменились.

Сегодня свободомыслящий человек — тот, кто чувствует себя обиженным и потому борется против президента. Человек, борющийся за должность, считается оппозиционером.

У сегодняшних оппозиционеров нет политического идеала. Сегодняшний свободный мысли-

тель ограничен, его «свободные мысли» скудны, порой он просто невежда.

Грузинская же свободная оппозиционная мысль имеет свою историю и традиции — истоки ее уходят в миф. Первый великий грузинский оппозиционер (отступник) — прикованный к кавказской горе Амирани, о венцом свободного мышления, оппозиционности (отступничества) нам представляется Илья Чавчавадзе.

Новые газеты и журналы нужны хотя бы для того, чтобы исследовать глубочайшие, мощные корни национального движения, показать тот сложный путь, который оно прошло, кто были его прошлые лидеры и кем являются нынешние патриоты. Как развивалась у нас идея свободы с самого ее зарождения по сегодняшнее время. В каком направлении она будет развиваться дальше, на что опирается, какое ее ждет будущее. Надо разъяснить нашим современникам, что такое оппозиционерство и свободомыслие.

На эти вопросы не ответить наскоком, вдруг, ограничившись газетной информацией. Необходим вдумчивый, спокойный анализ, полный отказ от традиций советской литературной жизни. Но нельзя выбросить в мусорную корзину семидесятилетнюю советскую литературу — здесь и Галактион Табидзе, и Георгий Леонидзе, и Константинэ Гамсахурдиа и многие другие. Надо отобрать все ценное, а от остального без раздумий отказаться.

Литература стояла на службе партии, и мы должны отвергнуть такую литературу!

Новым темам, новым идеям нужны новые журналы. Вокруг этих журналов должна сплотиться молодежь и зародиться новая литература. Это не чей-то каприз, но требование времени. Коммунистическая эпоха закончилась, и литература, ее прислужница, должна почить в бозе. Разумеется, истинная грузинская литература никогда не прислуживала режиму. Даже после того, как в здании Союза писателей грянул выстрел, литература не стала на колени. Я имею в виду избранных ее сыновей, т. е. настоящих писателей. Но что касается лже-литературы (т. е. продукции членов Союза писателей СССР), то она должна быть предана забвению. Авторы этих произведений пришли в литературу, не найдя себя ни на каком другом поприще. По знакомству, просьбами и уговорами добились они публикации первых своих творений. Затем издали первую книгу, уже используя определенный нажим. Далее — членство в Союзе писателей, тут хороши были все средства — мольба-

уговор, сила, нажим (скандал, угроза рукоприкладства) плюс покровительство «сверху». Вот такие «писатели» и пополнили ряды всесоюзного СП, и Грузия, естественно, первенствовала в этом деле.

Зарождение новой литературы будет происходить естественным, эволюционным путем.

Наше поколение обязано подготовить почву для будущей литературы. Убрать с дороги глыбы коммунистического бетона, очистить путь. Новая литература будет отвечать новому времени, задачам новой Грузии и будет воистину новой — по мысли, форме, языку. И все же как представить себе эту новизну? Назад, к Руставели! Только так! Каким будет Союз писателей Грузии — с секретариатом или председателем во главе писательского совета, как это было в двадцатые годы, — безусловно, имеет значение, но не столь важное. Важно другое — как будут закладываться основы новой литературы, как мы пойдем назад, к Руставели?! Как и е газеты и журналы нам выпускать, как и е книги издавать?

Не развлекательная литература, не Союз писателей-дельцов, но литература Руставели, Гурамишвили, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела, Григола Робакидзе, Константины Гамсахурдиа, Галактиона Табидзе и Союз писателей, молодых их последователей — таким представляется мне будущее Союза писателей новой свободной Грузии.

От редакции:

Не разделяя многих соображений и положений авторов этого материала, к тому же значительно устаревшего ко времени выхода номера, мы сочли необходимым его опубликовать, так как он является документом, в определенном смысле фиксацией вчерашнего дня, тяжелого, противоречивого, кровавого, но — прожитого и пережитого Грузией.

ХРОНИКА

В ночь на 5 октября, стремясь вызвать кровопролитие и теоретически обосновать начало массовых репрессий, правительство из окон Дворца открывает стрельбу по своим же митингующим (факт засвидетельствован съемкой тележурналистов Си-эн-эн). Убит член Общества Ильи Праведного Гия Дэдэлашвили.

В октябре же в бункере проводится сессия парламента, на

которой всему происходящему дается оценка: путч (I). Весь ноябрь и три декады декабря проходят многотысячные митинги оппозиционных сил. Со стороны президента созывается (и подготавливается!) народ на расправу с оппозицией.

20 декабря: многотысячный митинг оппозиции на площади Республики. Оттуда митингующие совершают очередное шествие к Дому правительства с требованием открыть баррикады, и повести переговоры. Возле Кашветской церкви шествие останавливается перед баррикадами. На неоднократные предложения лидеров оппозиции вступить в диалог с представителями правительства следует упорный отказ. Митинг продолжается и на второй день, 21 декабря. На 22 декабря снова назначается митинг, которому не суждено было состояться. Митингующие не расходятся и ночью.

22 декабря в 8 часов 15 минут утра автоматной очередью из Дворца правительства Грузии президент Звиад Гамсахурдиа начал военные действия против собственного народа. Пока к 9 часам спустились с Тбилисского моря части гвардии, было ранено и убито несколько человек.

Так в Республике Грузия началось то, что скорее всего можно назвать демократической революцией и что закончится ранним утром 6 января бегством из бункера президента с семьей, охраной, свитой и приверженцами.

К. КОРИНТЭЛИ.

РЕВАЗ ИНАНИШВИЛИ

В грохоте автоматных очередей и свисте пуль Грузия не сразу расслышала, не сразу узнала, что 26 декабря перестало биться сердце одного из замечательных ее сыновей, тонкого и лиричного художника, великолепного рассказчика, человека светлой души — писателя Реваза Инанишвили. В одном из его рассказов есть такая фраза: «...если ты ложаешься в постель, задумываешься хоть на минуту о том, что где-то там под кустом дрожит от холода больная птица, и в берлоге лижет лапу голодный зверь — ты уже человек». В этих словах — глубокий смысл, суть мировосприятия и отношения к миру. В те сумрачные дни конца декабря мы даже не смогли воздать ему должные почести — на улицах Тбилиси лилась кровь, рвались гранаты, танки вспарывали асфальт. Его хоронили 31 декабря. Он унес с собой боль и тревогу за свою родину

Рэм ДАВИДОВ

О ДРУЗЬЯХ—ТОВАРИЩАХ

(ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ)

I

БУЛАТ ОКУДЖАВА

В начале пятидесятых годов поэт Булат Окуджава запел свои стихи под гитару. Запел не как артист на эстраде, а как-то по-домашнему, доверительно-просто. Стихи были философские, чеканно-отточенные: «Вы слышите, грохочет барабан», или грустно-лирические: «Музыкант играет вальс». Эти стихи, бесспорно, обратили бы на себя внимание любителя поэзии, прочитавшего их. Но песни стала слушать вся страна. К имени Булата Окуджавы стали примерять давно забытые слова — бард, менестрель, но они не прижились, потому что относились к чему-то прошедшему, старому, а Булат создавал что-то неизвестное, новое.

Он, Булат Шалвович Окуджава, стоял у истоков нового, современного вида искусства, названия которому до сих пор не придумано, и поэтому пока называемого по-разному: стихами, положенными на ритмическую основу, песней-монологом, авторской песней.

Пожалуй, первым, кто осознал значение творчества Булата Окуджавы, был Владимир Высоцкий. Осознал и сразу же подхватил его бархатный, немного печальный голос своим мощ-

ным хриплым «рыком» с поющими согласными звуками. Его сразу слышали миллионы людей планеты.

Сам он по этому поводу говорил: «Я вдруг услышал приятный голос, удивительные по тем временам мелодии и стихи, которые уже знал, — это был Булат Окуджава — и вдруг я понял, что впечатление от стихов можно усилить музыкальным инструментом и мелодией... Я считаю его своим крестным».

Сегодня мало кому известно, что начинал петь свои песни Булат в Тбилиси не в пятидесятых, а в начале сороковых годов, когда еще учился в Тбилисской 101-й средней школе. Жил один, без родителей, которые были репрессированы в 1937 году, как сам пишет, «в комнате первого этажа, которую оставила тетя, переехав в другой город». Его отца — первого секретаря нижнетагильского горкома партии в феврале 1937 года арестовали как врага народа, когда Булату было 12 лет. Не увези его с маленьким братом Виктором в Москву их мать, жизнь уготовила бы им худшую судьбу. Вслед за этим была арестована и мать, возвратившаяся лишь в 1947 году.

17-летним мальчиком, вместе со своим близким другом Юрием Папинянцем, он добровольцем в 1942 году пошел в армию. Служил сперва в 10-м ОЗМД (отдельном запасном минометном дивизионе), потом были бои за Моздок, был 1943 год, когда он на фронте написал свою первую песню «Нам в холодных теплушках не спалось». Под «занавес» войны — ранение, возвращение в Тбилиси и поступление на филологический факультет Тбилисского государственного университета.

Вот что пишет Булат Шалвович о своей дальнейшей жизни: «Учился я на филологическом факультете, писал подражательские стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы — не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь: жив-здоров, чего же больше?»

И в годы войны, и в первые послевоенные годы Булат Окуджава жил на Грибоедовской улице, затем на улице Бараташвили в Тбилиси. Он, как и многие другие молодые любители поэзии, посещал редакции газет «Молодой сталинец» (впоследствии «Молодежь Грузии») и «Боец РККА» (впоследствии «Ленинское знамя»). В 1945 году группа начинающих поэтов и писателей, среди которых были Булат Окуджава, Даниил Храбровицкий, Густав Айзенберг (Анатолий Гребнев), Роман Чернявский, Николай Колесников, Федор Колунц (Тадеоз Бархударян), Муза Рамендик, Симор Шульц, Георгий Зурабов,

автор этих строк и другие, создали молодежный литературный салон «Зеленая лампа», который возглавил заместитель редактора газеты «Заря Востока» (ныне «Свободная Грузия») поэт Георгий Крейтан. Кто-то из «стукачей», которых в те годы у КГБ было бесчисленное множество, «настучал» на нас. О «салоне», как о «рассаднике политической заразы», было сказано на съезде комсомола Грузии, и редактор «Молодежки» поторопился распустить нас на все четыре стороны. Тогда мы начали собираться на «Грибоедовке» — у Булата. Помню, как он играл на пианино и напевал своим тихим голосом:

Колумб Америку открыл
И глупость сделал он большую.
Дурак! Зачем он не открыл
Для нас еще одну пизную...

«Молодежка» стала остерегаться «вольнодумцев великой сталинской эпохи», как нас называли, и мы с Булатом «двинулись» в «Ленинское знамя», тем более, что хорошо знали ведущего работника газеты, писателя-фронтовика Эммануила Фейгина. С ним затем Булата связывала долгая и крепкая дружба. В редакции газеты в те годы работали, поддерживали с ней тесные связи Петр Павленко, Виталий Закруткин, Ираклий Андроников, Анатолий Кузьмичев, Ванион Дарасели, Реваз Маргиани, Иосиф Нонешвили, Константин Лордкипанидзе, Александр Гомиашвили, Гиви Гогичайшвили, Наири Зарьян, Гурген Борян и другие. Цвет и гордость литературы тех лет. В те далекие 1943—1947-й годы редакторами газеты были люди, ценившие литературу — это И. Лаврухин, Н. М. Кольцов, А. Мурашев. Они организовывали литературные вечера, встречи с такими известными поэтами и писателями, как Николай Тихонов, Павел Антокольский, Ираклий Абашидзе, Демна Шенгелая. На страницах военной газеты появились также первые стихи и переводы молодых тогда Александра Межирова, Даниила Долинского, Бориса Котлярова, Василия Телепнева, Геннадия Лавлинского, других, ставших потом более или менее известными поэтами.

Помнится, первые стихи Булат Окуджава представил редакции газеты под псевдонимом Б. Долженов. Псевдоним, как он как-то признался мне, был составлен из слов: должен он. Таким образом, «Ленинское знамя» первое протянуло ему руку дружбы и помощи. Слушателями Окуджавы можно считать и солдат взвода, с которыми он воевал на фронтах Великой

Отечественной. Но Булат не принадлежит к поэтам военного поколения, он пришел в большую поэзию с поколением шестидесятых годов. Давид Самойлов в поэме «Юлий Клопус» писал:

Былым защитникам державы,
Нам не хватало Окуджавы...

Со временем менялись темы его песен, образы, характер лирического героя, но главное осталось. Это — творческое «я» поэта, не подвластное моде и влияниям времени. Он все тот же, что и много лет назад в Тбилиси, на «Грибоедовке». В верности себе, принципам своей молодости кроется, наверное, притягательная сила Булата Окуджавы и для современной молодежи. Стремление к правде, открытость присущи всем, кому хочется жить по-новому. Поэтому сейчас его стихи звучат не менее актуально, чем много лет назад, поэтому, как он же восклицает, —

в земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
шагнет однажды ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.
Но, простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идуший следом ангел белый
прошепчет, что надежда есть.

Из Тбилиси, буквально преследуемый властями как сын врага народа, вольнодумец, Булат уже в начале пятидесятых годов уезжает в Калугу, где учительствует и где в 1956 году издает первую свою книжку стихов «Лирика». В том же, пятидесят шестом, сразу же после реабилитации родных, едет в Москву, начинает работать в «Литературной газете».

«Моя жизнь сложилась не совсем обычно, — вспоминал Окуджава в 1987 году. — Мое созревание (писательское) совершалось в деревне, в провинции, в относительном одиночестве. В полноценную художественно-культурную среду я окунулся уже взрослым и сложившимся человеком. Она, конечно, оказала на меня влияние, но умеренное. Наверное, я что-то потерял, как теряет всякий, приходящий с опозданием».

«Фраза об «одиночестве», — как указывает критик Галина Белая, — не обмолвка писателя. Хотя с первых же песен

1957 года Окуджаву запела сначала Москва, а вскоре и вся страна, хотя выступал он одновременно с «громкой» поэзией Е. Евтушенко, А. Вознесенского, Р. Рождественского, — его обособленность — несомненна... Окуджава оставался человеком индивидуальной судьбы».

Давайте горевать и плакать откровенно,
то вместе, то порознь, а то попеременно...
Давайте понимать друг друга с полуслова,
Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова,

— пишет Булат Окуджава.

А ошибок в оценке его таланта было немало.

Первая запись его песен была произведена лишь в 1961 году, но пластинка тогда не вышла из-за разгоревшихся споров вокруг имени молодого автора. В то время песни Окуджавы не только не были эталоном, их вообще не считали за песни. Сложность и метафоричность поэтических строк, многочисленные повторы, неровная мелодия разрушали сложившиеся представления о массовой песне. А индивидуальность автора, камерность его интонаций казались вычурными, неестественными.

Чем дальше живем мы, тем годы короче,
Тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
Глаза бы глядели в глаза.
То берег — то море, то солнце — то вьюга,
То ангелы — то воронье...
Две вечных дороги — любовь и разлука —
проходят сквозь сердце мое.

В 1985 году Булату был присужден приз «Золотая гитара» на фестивале в Сан-Ремо в Италии. Пластинки его пользуются большим успехом в США, Франции, Англии, Германии, Японии.

С рождением авторской песни как жанра Окуджава занял среди бардов по праву ведущее место, у него появились преемники и последователи. Даже на такую яркую, резко выделяющуюся творческую личность, каким был Владимир Высоцкий, его «крестный» оказывает известное влияние. Песня Высоцкого «Правда и ложь» написана в подражание автору «Молитвы Франсуа Вийона». В одном из интервью Высоцкий говорил,

что под воздействием поэзии Окуджавы стал писать военные песни.

Вслед за стихами пошла проза — автобиографическая, военная, романтическая, историческая. Один за другим выходят романы и повести Окуджавы «Будь здоров, школяр!» (1961 г.), «Бедный Авросимов» (1969 г.), «Похождение Шипова, или Старинный водевиль» (1971), «Путешествие дилетантов» (1976 г.), «Свидание с Бонапартом» (1983), другие.

Встречи мои с Булатом в начале восьмидесятых годов, когда он приезжал в Тбилиси и выступал у нас в Грузинформе были очень трогательны. Мы вспоминали годы, проведенные им в Тбилиси, старых друзей, «Зеленую лампу»... Он рассказывал о своей жизни после Тбилиси, звал в гости в Москву.

II

ДАНИИЛ ХРАБРОВИЦКИЙ

Любовь к поэзии во мне пробудилась в раннем детстве. Сперва она представлялась просто как игра в рифмованные строки. Я строил одну фразу, к примеру, как помнится: на улице красавец-дом, а потом начинал подбирать к ней другую строку, обязательно рифмованную. И получалось: на улице красавец-дом, живет начальство в доме том. Таких рифмованных предложений за день складывался в голове не один десяток. Игра в рифмы шла бесконечно: дома, во дворе, на улице, в трамвае, в школе. Долгие годы потом из головы не выходили строки тех далеких лет:

Пестры тбилисские базары,
Здесь всех земель найдешь товары.

На небе вспыхнул звезд костер,
А луч луны, как меч, остер.

Недописанная строка,
Что не впавшая в море река,

и много других, им подобных.

Узнав об этих моих «опусах», отец как-то сказал: «Видишь, сынок, во дворе валяется большой камень. Придумай к

нему маленькое стихотворение». Я немного подумал и произнес:

Жалок этот камень. Перед нами
Он валяется, раздавленный ногами.

— Ну и что ж? — удивился отец.
— А то, что:

Но умрем, и камень в тот же час
Вечностью своей придавит нас.

На это отец еще больше удивился, можно сказать, лишился дара речи и через некоторое время тихо, словно раскрывая большую тайну, произнес: «Да ведь это философия, сынок, философия...» Потом спросил — а могу ли я создать экспромт о поэзии, поэтах? Я дал согласие, немного подумал, и тут же выпалил:

Сперва стихи приносят славу нам,
Потом приносим славу мы стихам.

На второй день, явно у букинистов, отец купил сборники стихотворений Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Крылова, Байрона. Еще через несколько дней принес книги о теории стихосложения, произведения Георгия Шенгели о том, как писать стихи, много других разных книг о литературе. Помню, мы вместе с ним не раз ходили на Сабурталинскую толкучку, заходили чуть ли не во все книжные магазины города в поисках поэтических сборников, биографий поэтов-классиков.

В 1937 году, в 14-летнем возрасте, я написал «Поэму о Сталине». Она была большая — 20, если не больше куплетов, и было в ней все: и «родной, любимый вождь», и «лучший друг детей», и «партии рулевой», и «штурман революции». Отец хвастался, что такой поэмы нет ни у Джамбула, ни даже у Лебедева-Кумача, и повел меня к заместителю редактора газеты «Заря Востока» Георгию Владимировичу Крейтану. Его он хорошо знал по совместной работе.

Имя Крейтана (настоящая его фамилия Попов) сегодняшней молодежи почти неведомо. Но в тридцатых — начале сороковых годов оно было довольно известным. С Георгием Владимировичем считались, его стихотворения, переводы грузинских, армянских, азербайджанских поэтов публиковались во

многих газетах и журналах республик Закавказья. Родился он в 1900 году в Петербурге, в семье офицера. Когда ему было десять лет, семья переехала в Карс, а оттуда в Тбилиси, где он учился в реальном училище. С 1918 года стал писать стихи. Позже он работает в грузинском отделении РОСТА (Российского телеграфного агентства) секретарем русской секции пролетарских поэтов. С 1936 года член Союза писателей Грузии, был делегатом первого Всесоюзного съезда писателей. С 1928 года находился на руководящей газетно-журнальной работе. Первая книга стихотворений «Маршрут жизни» вышла в 1926 году, вторая — «Человек на крыше» в 1927, далее — в 1931-ом — «Земные звезды», в 1940-ом — «Мужество». Всего при жизни вышло десять книг его стихотворений и переводов. Выходили они и после смерти. Умер Г. В. Крейтан в 1951 году в Тбилиси, где и похоронен.

Так вот, будучи в 1937 году руководителем русской секции Союза писателей Грузии Георгий Крейтан попросил меня прийти на очередное заседание секции в Союз писателей. Я туда пошел с матерью и попал в мир поэтов, намного старше меня как по годам, так и по опыту. Это были Борис Серебряков, Борис Корнеев, Давид Шерман, Нина Карашевич, Василий Гудович, Борис Левицкий, Борис Пирадов, Николай Колесников, Нина Беренс, Ираклий Аракишвили, Николай Шахбазов, другие. Я очень обрадовался, когда после меня через несколько дней пришел другой мальчик, который, правда, выглядел чуть старше меня, хотя оказался моим одноклассником. Это был Даня Храбровицкий. Я подружился с ним. По его рассказам, родился он в Ростове. В Тбилиси живет в районе Плехановского проспекта (ныне пр. Давида Агмашенэбели), где и учится в 41-й средней школе. Сотрудничает в газетах «Дети Октября» и «Пионерская правда», пишет стихи.

Несколько слов о «Детях Октября». В редакцию этой газеты позже наведывался и я. Отец стал водить меня регулярно в русский Театр юного зрителя, познакомил с заведующим педагогической частью театра Константином Николаевичем Вайсерманом, массовиком Лизой Соколовской, которые в свою очередь познакомили меня с редактором газеты Бабаяном (имя позабыл). Газета делалась исключительно силами ребят-активистов ТЮЗа, членов Дома художественного воспитания и технической пропаганды детей. Первый номер газеты вышел 18 апреля 1934 года. В 1936-ом ее уже подписывал ученик 8 класса 11-й средней школы Юня Поляков. В газете печатались стихи ученика 107-й школы Густава Айзенбер-

га, Семы Гефтлера, очень много стихотворений, статей, информации Дани Храбровицкого, ученика 44-й школы Бори Добродеева, учащейся 5-й железнодорожной школы Тани Щекиной-Кротовой, учеников других школ Васи Чернышева, Шалвы Хореашвили, Вити Сокольского, Павлика Асланиди, Миши Лохвицкого, Юрия Изралева... Запомнилась серия юмористических стихов, публиковавшихся в течение ряда лет, «О Кузе и Пузе и их приключениях в ТЮЗе и на Луне». Ее подписывал Густав Айзенберг, но, по-моему, это был коллективный труд.

В газете «Дети Октября» за 1934—1941 годы Даня Храбровицкий опубликовал стихи «Вечер затейливых развлечений в ТЮЗе», «Пылающий Мадрид», «На Финском заливе», «Полярная сказка», поэму «Тайга» и другие.

Даня не только выглядел старше меня, но и держался солидно, был красавцем, с черными, тщательно причесанными назад волосами, нежной кожей лица, большими умными глазами, отличался эрудицией, прекрасным знанием поэзии. Вскоре я, Даня, Коля Колесников, Георгий Зурабов, Каганович (имя его, к сожалению, забыл), Петя Гамарник, которые были моложе других, отошли от «стариков» и, можно сказать, создали «секцию в секции». А затем вообще не стали признавать поэзии «стариков», их ура-патриотических стихов, посвященных родине, Сталину, партии, Красной Армии, а стали искать что-то новое в поэзии. Нашими богами в поэзии были тогда Илья Сельвинский, Арсений Тарковский, Семен Кирсанов, Николай Ушаков. С их творчеством нас знакомил Даня. О Пастернаке, Ахматовой мы тогда только слышали — не более.

На одном из заседаний секции я прочел «Поэму о Сталине». Она была принята очень настороженно. Выступавшие говорили о моих патриотических чувствах, о том, что такая поэзия нужна, отмечали отдельные недостатки в стилистике. Но я чувствовал неискренность в высказываниях. В таком же духе выступил и Даня. А после заседания секции, когда мы возвращались домой, он прямо заявил, что был неискренен в отношении меня, и что так, как я пишу, писали при Петре Первом и Екатерине. «Это какая-то ода, хвалебный гимн, а не поэма, и тебе лучше никому впредь ее не показывать», — закончил он разнос «моего любимого детища». Но был Даня и самокритичен. «К сожалению, так писал и пишу и я, — сказал он. — Куда нам деваться. В этом наша трагедия».

Потом Даня долго рассказывал мне о некоей «Деве-поэ-

зии», в которую влюблен безумно и без которой не может прожить ни одного дня, что посвятил ей цикл стихотворений «Видение», одно из которых, помню, начиналось так:

Я сижу на палубе пустынной,
Чуть блестит луна на небесах.
В мачтах стонет ветер заунывный,
Вьется дым, как дзвичья коса.

Гаснут звезды где-то в отдаленье,
Где-то скалы серые видны,
Чуть заметным призрачным виденьем
Ты всплываешь с мутной глубины...

Он писал лучше меня, лучше всех нас. И чувствовал это. С ним невозможно было состязаться. На одном из заседаний секции он прочел свою поэму «Мамаево побоище». К этой читке готовились заблаговременно. На «Вечер Храбровицкого» были приглашены не только члены русской секции, но и такие грузинские поэты и писатели, как Георгий Леонидзе, Александр Абашели, Георгий Цагарели, Симон Цверава, другие. Все хотели послушать чудо-мальчика. Чтение поэмы длилось долго, почти час, а когда Даня закончил, то все присутствующие аплодисментами встретили поэму. Его поздравляли. Особенно долго говорил Александр Абашели, который выступление свое закончил здравицей в адрес будущего большого поэта.

Много лет прошло с тех пор. Но у меня сохранился первый литературный альманах русской секции Союза писателей Грузии со стихами и отрывком из поэмы «Мамаево побоище» Даниила Храбровицкого, изданный в январе 1940 года в Тбилиси.

Приведу начало поэмы 15-летнего школьника, чтобы выразить сожаление о том, что он преждевременно оставил свою «Деву-поэзию».

Все было словно при Батые,
Когда готовили набег...
Скакали конники лихие
Рабы валились в талый снег.

Орда готовилась к бою,
Свистели стрелы, ночь сверля,

И под монгольской пятою
Стонала русская земля.

В дыму баскаки пролетали,
Во тьме набег поля топтал,
Их только пули провожали,
Их след лишь пепел заметал...



Я крепко подружился с Даней Храбровицким. Помню, как вместе ходили по улицам старого Тбилиси, его базарам, заходили в так называемые «Железные ряды», шли по «Банным рядам». Даня говорил мне, что непременно напишет цикл стихотворений о Тбилиси. Не знаю, насколько это ему удалось.

Как неожиданно Даня появился в Тбилиси, так неожиданно и исчез. Позже я узнал, что он был участником Великой Отечественной войны. А после войны хотел поступить на режиссерский факультет, но остался за бортом, хотя сдал все предметы не хуже, если не лучше остальных абитуриентов.

Затем долго опять о Храбровицком ничего не слышал. Случайно от Георгия Зурабова узнал только, что после войны он работал в редакции газеты «Пионерская правда». Об этом мне сообщил и Виль Орджоникидзе — хороший писатель и очеркист, уроженец Тбилиси, также уехавший в Москву и работавший в редакции журнала «Пионер». Виль же сказал мне, что Даня написал пьесу, пробивает ее в одном из московских театров, будет сам ее ставить.

С Даней я встретился в Москве уже в конце пятидесятых годов. Приехал же я туда в качестве участника какой-то солидной конференции по развитию химической промышленности с мандатом корреспондента Руставской городской газеты. Встретился в Доме журналистов. Даня подтвердил все сказанное Вилем Орджоникидзе и еще добавил, что с пьесой ему не очень повезло, поставил ее лишь один театр, а с киносценариями, по всей вероятности, повезет. Он, вместе с другим юношей из Тбилиси Густавом Айзенбергом, который известен под псевдонимом Анатолий Гребнев, поступил в сценарную студию, в то время только что организованную и призвавшую под свои знамена свежие литературные силы — прозаиков, поэтов, очеркистов. По его сценариям за три года были поставлены одна за другой три картины — «Четверо», «Все начинается с дороги», «Исправленному верить», а сейчас он работает над сценарием «Чистое небо», в котором раскрывает подлинную античеловеческую сущность культа личности Сталина. Именно

этому фильму, поставленному Григорием Чухраем, суждено было прозвучать на всю страну, стать событием общественной жизни, неотъемлемой частицей своего времени. Полная драматизма история Алексея Астахова — военного летчика, попавшего в плен и несправедливо лишившегося доверия по возвращении домой, и Саша Львовая вызывала много жизненных ассоциаций, воспоминаний, раздумий.

Долго мы с ним беседовали в тот день. Разумеется, вспомнили и Тбилиси, Георгия Крейтана, других членов нашей литературной секции.

— Георгий Владимирович дал нам много хорошего, — сказал мне Даня. — Я никогда его не забуду. Не забуду ни Нину Карашевич, ни Бориса Левицкого. Все они были чудные ребята.

Он сожалел, что жизнь их сложилась неудачно и многие, по всей вероятности, погибли на войне.

Во время беседы у меня вырвалась фраза о том, что Георгий Крейтан боялся нас, молодых поэтов, особенно после того, как мы создали «секцию в секции» и к нам присоединились такие маститые для нас в те годы поэты, как Борис Серебряков со своими переводами Эмиля Верхарна, французских символистов, Давид Шерман со своими явно антисоветскими стихами и воспоминаниями. Даня поправил меня, сказав, что Георгий Крейтан не нас боялся, а за нас боялся. «Не забывай же, Рэм, — многозначительно произнес он, — ведь это были 37-й, 39-й годы, а заместитель редактора органа ЦК Компартии Грузии хорошо знал, что нам угрожает, если на наш след нападут».

Так уж получилось, что фильм «Чистое небо» мне пришлось видеть на экране на следующий год в Москве. Моя жена приехала туда вместе со мной и очень обрадовалась, узнав, что я знаком с автором сценария, изъявила желание встретиться с ним. И опять встреча в Домжуре. И опять много разговоров вокруг Тбилиси, грузинской кинематографии. Даня сказал, что многие талантливые ребята из Грузии сейчас находятся в Москве, и что он многого ждет от таких тбилисцев, как Марлен Хуциев, Борис Добродеев, Анатолий Гребнев. «Каждый из них — большой талант, фигура, личность, — говорил он. — Причем каждый работает в своем стиле, отличном от другого». Рассказал и о своем содружестве с великим Михаилом Роммом, с которым создал картину о физиках-атомщиках, об их нелегкой судьбе.

По возвращении в Тбилиси в газете «Социалистический

Рустави» я опубликовал подробную рецензию на кинокартину «Чистое небо», за что мне сильно досталось как от своих коллег-сотрудников, так и от партocrats, мол, как я посмею поднять на щит произведение, направленное против Сталина.

На кинокартины «Девять дней одного года» и «Почтовый роман» я ответил поздравительными телеграммами.

Позже не раз еще ездил в Москву, но никак с Даней не удавалось встретиться. Он был то на съемках, то в разъездах, то сообщали, что болеет и ни с кем не встречается. Но мне приходилось беседовать о нем со многими москвичами, особенно журналистами-тассовцами. И ни одного плохого слова. Даню любили все, кто его знал. И в жизни он ничем не был обделен. Много и плодотворно работал. Имел много друзей. Получил признание и награды Родины, мировые призы, был членом Правления Союза кинематографистов Российской Федерации, известным очеркистом.

Гордился тем, что работал у Ромма вторым режиссером, учась профессии, к которой давно стремился. Судьба в свое время не уготовила ему места на режиссерском факультете — ну что же, он прошел этот путь самостоятельно. И снял свои картины «Перекличка», «Укрощение огня», «Повесть о человеческом сердце», «Поэма о крыльях», где выступал как сценарист и режиссер. Только жаль, Даниил Яковлевич Храбровицкий мало прожил. Он умер 1 марта 1980 года на 57 году жизни. Умер, любя жизнь, поэзию, кино, и особенно детей. Вот как он сам писал о себе: «Только что кончилась Великая Отечественная война. Я заглянул в редакцию «Пионерской правды» прямо в гимнастерке и в сапогах. Заглянул на минутку, а задержался надолго. Десять лучших лет моей жизни связаны с «Пионерской правдой». В те годы я писал обо всем, объездил нашу страну. Журналистская жизнь сводила меня с удивительными людьми. Не знаю, много ли я дал газете, но мне «Пионерка» дала много. Жизненные впечатления, которые накопил тогда, сослужили мне добрую службу потом в работе драматурга и режиссера кино». Всю свою жизнь Даниил Храбровицкий писал для ребят о дружбе и мужестве, о долге и чести, о людях с большой буквы. Вообще он всегда создавал произведения, которые отличались высоким гражданским пафосом, публицистичной страстностью, художественной убедительностью. Его, повторяю, человека редкой душевной чистоты, доброты и таланта, прекрасного советчика, мне долг будет не хватать.

Григол ПАЧКОРИА

«ИСТИНА ВОСТОРЖЕСТВУЕТ!»

Народ должен знать свою историю, — считал Иванэ Джавахишвили, — но не прикрашенную и лживую, а правдивую, истинную. Это справедливое утверждение, оставленное нам как завет, в равной мере относится и к истории религии в Грузии, некоторых страниц которой я и коснусь в этой статье.

Итак, вернемся к началу минувшего столетия, когда законами 1811 и 1815 годов царское правительство окончательно упразднило независимость грузинской православной церкви, введя ее под эгиду русской православной церкви. Последовательно проводимая ее экзархами русификаторская политика вызывала недовольство не только грузинского духовенства, но и всей общественности Грузии. Возглавил это движение Илья Чавчавадзе.

С той поры вплоть до 20-х годов нашего века не утихала борьба за восстановление автокефалии грузинской православной церкви, которая, наконец, была торжественно провозглашена 12 марта 1917 года, после победы Февральской буржуазной революции, в мцхетском храме Светицховели.

А спустя всего четыре дня на состоявшемся в Тбилиси собрании духовенства было принято решение отныне вести богослужение на грузинском языке.

Следующим шагом в восстановлении автокефалии грузинской церкви явилось утверждение всех положений ее само-

стоятельного управления, а также избрание католикосом-патриархом Грузии епископа Кириона (Садзаглишвили) на проходившем с 8 по 17 сентября в столице республики церковном собрании при участии 600 духовных и светских деятелей.

Большая заслуга в этом принадлежит епископам Кириону и Леониду (Окропиридзе). А в целом этот акт можно считать победой всего грузинского народа. Ведь высокопоставленные служители русской православной церкви всячески затягивали окончательное признание независимости грузинской православной церкви, которое состоялось лишь в 1943 году.

Существенную моральную и материальную помощь в ходе этого процесса ей оказывало правительство Демократической Республики Грузия, возглавляемое Н. Жордания, но после оккупации и фактической аннексии Грузии частями Красной Армии положение в корне изменилось.

Тезис Маркса «религия опиум для народа» стал для большевиков руководством к действию. Развив его, Ленин поставил перед партией цель: беспощадной борьбой с религией довести ее до полного уничтожения. Недаром вторая программа, принятая на VIII съезде РСДРП(б) в марте 1919 года, вменяла в обязанность каждому ее члену быть атеистом и вести антирелигиозную пропаганду. По предложению Ленина из рядов партии исключались те, кто не порывал связи с церковью.

С первых же дней установления в Грузии советской власти началась борьба с церковью, духовенством и верующими. Это была акция репрессивная, варварская, беспощадная.

Согласно декрету ревкома Грузии от 15 апреля 1921 года «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» религия объявлялась личным делом каждого гражданина. Поэтому церковь отделялась от государства и от школы. Во всех школах запрещалось преподавание религиозных дисциплин.

Под нажимом партийных органов правительство приняло декрет, по которому все движимое и недвижимое имущество церкви конфисковывалось в пользу государства. А религиозные ритуалы, праздники фактически подвергались запрету.

Партийным, советским и комсомольским органам декрет этот предоставлял право распоряжаться церковным имуществом по своему усмотрению.

Однако борьба против грузинского духовенства осложнялась рядом причин местного порядка. Прежде всего, Грузия была многонациональной республикой с различными религиями, где имелись еще даже отголоски язычества. Все это, есте-

ственно, требовало различных методов и форм антирелигиозной работы. И, наконец, нельзя было не учитывать при этом практических дел, необходимости улучшения экономического и бытового положения трудящихся, их культуры.

Наибольший интерес к проведению антирелигиозных мероприятий проявляли члены партии и комсомольцы.

На первых порах имели место действия, оскорблявшие достоинство служителей церкви. По инициативе комсомольских организаций и под их непосредственным руководством осуществлялось так называемое расстрижение духовных лиц, надругательство над иконами и святыми мощами.

С целью разоблачения служителей культа устраивались диспуты, судебные процессы (как, например, в Опи, Кутаиси и других местах), но эти методы не получили широкого распространения.

Не смирившись с создавшимся положением, духовенство как легально, так и нелегально принимало участие в национально-освободительном движении, содействовало его участникам.

Так в 1922 году католикос-патриарх Амброси (Хелая), митрополиты Назар (Лежава) и Николоз (Джапаридзе), священник Калистрат (Цинцадзе) и другие от имени церковного совета и всего грузинского народа составили и послали на Генуэзскую конференцию меморандум, в котором содержалась просьба вмешаться в дела Грузии, добиться вывода с ее территории оккупационных войск, восстановления церкви и молодой Демократической Республики, проведения здесь референдума.

Эту просьбу на Генуэзской конференции в апреле 1922 года поддержали лишь представители Франции. Возглавляемая же наркомом иностранных дел Г. Чичериным делегация Советской России не только категорически воспротивилась выполнению меморандума, но и всемерно пыталась обойти стороной рассмотрение законных требований грузинской церкви, всячески фальсифицируя факты, вплоть до отрицания наличия XI армии. Прибывшая из Парижа грузинская делегация на конференцию допущена не была, остались без внимания и вооруженные восстания в Сванети и Хевсурети.

Конференция ограничилась устным признанием трагедии Грузии. Но никаких практических шагов для оказания ей помощи предпринято не было. Попытка грузинского народа привлечь к себе внимание мировой общественности потерпела фиаско.

Грузинское правительство решило в связи с меморандумом, отправленным на Генуэзскую конференцию, устроить судебный процесс. Несмотря на клеветническую кампанию против составителей меморандума, развернувшуюся на страницах тогдашней прессы, и в первую очередь против главы грузинской церкви католикоса-патриарха Амброси, его авторитет среди грузин лишь возрос. (Скандалный судебный процесс, состоявшийся 19 марта 1924 года, присудил Амброси и его соратникам различные сроки заключения. Католикосу — 7 лет и 9 месяцев. Но уже 28 марта сердце горячего патриота своей родины, первого патриарха, открыто выступившего против советской власти в Грузии, перестало биться).

Террор и репрессии против духовенства продолжали усиливаться. Вместе с большевиками юродствовали и комсомольцы. Это по их инициативе проводились так называемые «комсомольское рождество», «комсомольская пасха», «комсомольские крестины» и тому подобные кощунственные мероприятия, глубоко оскорблявшие чувства верующих.

Всеобщее возмущение вызвало раскрытие в монастыре Моцамета (Мучеников) в 1923 году святых мощей правителей Константинэ и Давида, замученных Мурваном Кру (глухим) в VIII веке. Организаторы этой постыдной акции надеялись доказать народу, что мощи великомучеников не имеют никакой чудодейственной силы. Глумление над святынями грузинского народа было пресечено лишь вмешательством правительства Грузии.

В некоторых уездах партийные и комсомольские активисты в присутствии местных жителей разрушали церковные памятники, а верующим угрожали физической расправой и даже расстрелом.

В 1923-24 годах закрытие, а то и разрушение церквей приобрело, можно сказать, массовый характер. Местные советские и партийные руководители, исходя из директив, полученных из центра, проводили собрания и митинги, на которых, якобы, подчиняясь воле народа, выносили постановления о закрытии, либо разрушении церкви, а иногда даже и кладбища, как, например, в Сенакском уезде.

Доходило до полного абсурда. В некоторых местах горе-руководители устраивали соревнования между регионами — кто скорее и больше церквей закроет. По неполным данным в тот период в Грузии было закрыто до 1500 церквей, а в одной только Гурии — 200.

В книге И. Квеселава «Страницы истории Грузии 20-х

годов XX века» (1990 г., с. 80—81) приведены конкретные данные. Так, к апрелю 1923 года в Тифлисском уезде было закрыто 48 церквей, Кутаисском — 160, Сенакском, Шоропанском — 148, Озургетском — 130, в Горийском — 78, Зугдидском — 75, Сигнахском — 65, в Раче — 117, в Лечхуми — 78, в Южной Осетии — 60.

Закрытые церкви использовались под склады, а также для различных хозяйственных нужд. В Тифлисском уезде, например, церковь в районе Нахаловки была приспособлена под баню, а в селе Цхнети — под пекарню. Но многие церкви постигла гораздо худшая участь — их варварски разрушали и грабили, а развалины использовали как строительный материал.

Подобное отношение к церквям вызвало недовольство народа и тогдашнее правительство Грузии было вынуждено приостановить этот разнузданный разгром. Было издано постановление о правилах закрытия церквей и их восстановлении. В нем указывалось, что церковь может быть открыта в том случае, если не меньше трехсот верующих подпишут документ. Однако запуганные люди воздерживались от составления подобных бумаг. Поэтому большинство закрытых церквей продолжали оставаться в прежнем плачевном состоянии. Но не всегда народ сковывал страх. Так, например, был спасен древний храм Гелати, гордость нации. По рассказу очевидца, в те черные дни начала 1924 года повсюду в Грузии создавались комсомольские бригады для разрушения церквей. И вот когда они стали подходить к Гелати, все кутаисцы, и стар и млад, вооружившись палками и камнями, поднялись на защиту храма. А ведь эти «каннибалы» XX века намеревались еще выкопать останки Давида Строителя и других грузинских царей!

Но церкви не только разрушались. Они грабились под самыми разными предлогами. Тогдашнее партийное руководство, например, требовало, чтобы Сионская, Кашветская, Дидубийская, Мцхетская, Петропавловская, Харпукская, Верийская и другие церкви сдали свои сокровища в пользу голодающих России. Спас эти храмы только категорический протест общественности.

Это послужило толчком к принятию в ноябре 1923 года правительством Грузии постановления о правилах использования церковных богатств, исходя из которого, сокровища, представлявшие историческую ценность, находились под охраной государства для передачи музейным ведомствам, остальные —

золото, серебро, драгоценные камни — передавались местным властям для налаживания культурно-просветительской работы.

В действительности же, изъятые у церквей и монастырей ценности сбывались частным лицам или фиктивно приписывались комитетам бедняков, якобы для строительства культурных объектов. Вот так бесследно исчезло богатейшее достояние нации огромного исторического значения. И возможно, только в далеком будущем удастся определить в полном объеме, в результате долгих и многосторонних исследований этот невосполнимый духовный и материальный урон, нанесенный не ведающими что творят рьяными атеистами в первые годы советской власти.

А пока вернемся, как говорится, к истокам тех трагических событий. Сохранились письма Ленина, от которых и сейчас бросает в дрожь. В одном из них он писал В. Молотову о необходимости изъятия сокровищ из наиболее богатых лавр, монастырей и церквей, не отступаясь от подавления какого бы то ни было сопротивления, о проведении операции в кратчайшие сроки и о расстреле под этим предлогом как можно большего количества представителей буржуазного и реакционного духовенства.

Думаю, комментарии тут излишни...

В 1924 году репрессии и террор против грузинского духовенства заметно усилились. Как уже отмечалось, грубая, неуклюжая антирелигиозная политика подвигла грузинское духовенство на участие в национально-освободительном движении.

Восставшие в августе 1924 года требовали свободу вероисповедания и восстановление частной собственности. Особой активностью отличилось тогда духовенство Озургетского, Зугдидского и Сенакского уездов. Только в Сенакском уезде в восстании участвовало до 60 лиц духовного сана; в некоторых деревнях они возглавляли восставших.

Как известно, восстание было жестоко подавлено. Мятежников расстреливали прямо в вагонах на чиатурских подъездных путях.

После августовского восстания 1924 года большевистская партия сделала соответствующие политические выводы по ряду вопросов, и в частности, касающихся антирелигиозной практики. Центральный Комитет Компартии Грузии постановлением от 21 ноября аннулировал все старые инструкции и постановления в отношении религии и принял новые. Но это вовсе не означало спада антирелигиозной деятельности. В № 6 жур-

начала «Соплис комунисти» («Сельский коммунист») за 1925/ год, к примеру, читаем: «С величайшей осторожностью, предусмотрительностью, с использованием опыта, учетом допущенных ошибок, партия продолжает свою борьбу со всякого рода боггами, церквами, попами, религиозными праздниками, поминками, суевериями — целенаправленную, беспощадную борьбу».

В 1921—1925 годах в республиканской и местной прессе систематически публиковались статьи, письма и карикатуры на антирелигиозную тему. В основном эти материалы были направлены против православной церкви. Но чрезвычайно низкие по своему теоретическому уровню, лишённые научной глубины, веских доводов, они ограничивались, в основном, наклеиванием реакционных и контрреволюционных ярлыков. И, разумеется, в них не было ни слова о том вкладе, который внесла религия в грузинскую культуру.

Развернувшиеся административные репрессии, террор и идеологический прессинг, испытываемые церковью и духовенством, нанесли невосполнимый урон вере.

Как следует из книги Т. Панджикидзе «Сущность религии и атеизм» (1983, с. 138), до установления советской власти в Грузии было 1350 православных церквей, 2600 служителей культа, 227 архидьяконов, 1706 дьяконов, действовало 29 мужских монастырей с 1388 монахами, 6 женских монастырей с 280 монахинями.

Противозаконные и противоправные деяния 20—30-х годов привели к тому, что в Грузии закрылось 1300 церквей. Действующих осталось всего 50. Катастрофически падало число служителей культа. В 1917 году было 1527 монахов и 1700 священнослужителей. В первые годы советской власти их общее число сократилось до 100 (см. газету «Новая Грузия» от 16 ноября 1990 года, «Свидетельствуют документы»).

Но несмотря на насильственно навязываемый атеизм, грубый террор и цинизм, попрание святая святых — духовной жизни грузинского народа — веры, им была проявлена удивительная стойкость и несгибаемость духа, в чем и сказалась сущность христианской религии. Как справедливо заметил Г. Асатиани, народ принял от христианства то, что оказалось для него «роднее всего: идею милосердия, всепрощения и пафос созидания (созидания любовью)» («У истоков». Тбилиси, 1982, с. 86—87).

А католикос-патриарх Кирион писал: «Грузинский народ сохранял на протяжении веков свободу родины благодаря сво-

ей вере, и если народ все еще говорит на родном языке и существует как нация... то это благодаря православной церкви».

А вот великолепное изречение великого Ильи: «Иисус взошел на Голгофу ради мира, а мы взойдем на нее ради Иисуса».

И далее он пишет: «Мы раскрыли объятия этой маленькой Грузии, а в Грудь своей, как на скале, воздвигли храм христианства, фундаментом же послужила наша кровь, и судьи адовы не смогли сокрушить его, хотя нас истребляли, уничтожали, мы пожертвовали собой, женами своими и детьми, вступили в неравный бой, отдали плоть свою взамен на душу и горсточка народа сохранила христианство, не дала погаснуть ему в этой маленькой стране, так гордо называемой нами родиной и отечеством» (см. И. Чавчавадзе, Собр. соч., т. I. Тбилиси, 1955, с. 12).

...И свершилось непостижимое. Если, по словам мудреца, Каин и Авель—почти все содержание истории человечества, то мы можем, вторя ему, сказать, что это же есть и суть нашей истории за последние 70 с лишним лет,

История горько посмеялась над словами тогдашнего руководителя коммунистической партии Грузии М. Кахиани: «Закрытие церквей отнюдь не приведет к искоренению религии, разве что искоренение самой религии и религиозных настроений приведет нас к полному и окончательному закрытию церквей, так как они никому не будут нужны» (газета «Комунисти», 30 октября 1924 г.).

Теперь мы снова обратились к Богу. Верующим возвращаются церкви, выделяются средства на их реставрацию, а также на строительство новых храмов.

И сбываются слова патриарха Амброси, которые он произнес после вынесенного ему приговора: «Верую, истина торжествует!».



Вильям ХАЦКЕВИЧ

Любовь поры безмолвия

ЛЕВАНУ ХАИНДРАВА, писателю и публицисту, исполнилось 75 лет. Коллектив редакции «Литературной Грузии» поздравляет Левана Ивлианозича с днем рождения, желает ему здоровья и творческого долголетия.

Той мартовской ночью 1956 года я бежал, подхваченный толпой, по узким тбилисским улицам. Как им тогда подходил этот затасканный эпитет. Они в ту ночь действительно были узкими для толпы и... для бронемашин, охотившихся за прохожими. Улица пустела, когда по ней, вращая башней, мчалось серое чудовище. И вновь заполнялась людьми, когда чудовище исчезало. Люди выходили из подворотен, подъездов, заполняли улицу и торопливо продолжали свой непонятный кошмарный путь. До следующего взрыва стрельбы, нарастающего железного лязга бронемашин, когда все снова бросались в укрытия... Поздно ночью я добрался до дома, многие другие — нет.

И было дождливое утро, грузовики с солдатами на улицах, очумелый веснушчатый солдатик, который на мой вопрос о том, что им сделали демонстранты, ответил: «Курну в машину бросили. Проходи!». Позднее поэт Борис Серебряков догадался посмотреть в словарь Даля. «Курна» — это кошка. Диалектизм. Несчастный солдатик вразумлял нас как мог... А потом была появившаяся словно в одночасье посреди главной площади города статуя с простертой в неведомую абстрактную даль рукой.

Много лет спустя я встретил описание этого кошмарного театра абсурда в романе «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса. «Но почему, — думал я, узнавая страшные события нашей ночи в той, латиноамериканской, — почему у нас никто не описал это?!».

Теперь я знаю, что книга, вобравшая в себя ту ночь и многие другие дни и ночи, была тогда уже зачата, уже жила, росла, зрела, ждала своего часа. Эта книга — вышедший в Тбилиси в издательстве «Мерани» роман писателя Левана Хаиндрава «Час шестой». Фундаментальное произведение, вместившее в себя целую эпоху, увидело свет, по слишком понятным нашему поколению причинам, лишь спустя более чем треть века, в 1990 году. Следует сказать, что в русскоязычной литературе это, по-видимому, первое описание тбилисских событий 1956 года, известных каждому в Грузии, но далеко не каждому в России. Своеобразная «неизвестная война» — битва армии с народом...

Однако те события — завершение и кульминация повествования. Им предшествует жизнь целого поколения, но и это лишь одна из граней романа, есть еще главная, вечная... Это история любви в жестокие времена всеобщего молчания и одновременно история подспудного прозрения, исцеления подавленных молчанием душ, их возвращения к Богу. История гибели и воскрешения героя, воскрешения, которое проходит уже вне рамок романа, не на его страницах, а в самом читателе. Очень редкий эффект чтения, возвышающий читателя к сопереживанию и сотворчеству...

В шестидесятые годы вместе с первыми дуновениями т. н. «оттепели» в литературу пришло новое поколение, призванное сыграть большую роль в формировании всей последующей духовной жизни страны. В ту пору в Тбилиси появился молодой тогда писатель Леван Хаиндрава, произведения, да и личная судьба которого волновали читателя. Его юность прошла в русской колонии в Китае. Движимый патриотизмом, он вернулся на Родину, подвергся репрессиям... Уникальный жизненный опыт, глубокая культура и эрудиция способствовали популярности той части творчества писателя, которая увидела свет в те далекие годы. Теперь мы знаем, что была еще «подводная часть айсберга» — произведения, которые писались, как тогда говорили, «в стол», т. е. без надежды на публикацию в обозримом будущем. Можно предполагать, что ныне открытая нам книга, роман «Час шестой» Левана Хаиндрава, зани-

мает важное место в этой части его творчества, с которой читатель только начинает знакомиться.

Интересно заметить, как преодоление идеологических табу влечет за собой преодоление модных поветрий и в творческих установках писателя, в избранной им литературной форме.

Книга написана в жанре, которому как раз в шестидесятых годах теоретики усиленно предрекали исчезновение. Но именно тогда, на исходе «шестидесятых», пока еще сокрыто от мира создавались, зрели великие романы Г. Г. Маркеса, А. П. Солженицына, европейских поставангардистов. Несомненно, что в русле этого могучего движения писался и роман Л. Хаиндрава, начатый в шестидесятые годы. В те годы советские журналы, издательства заполнили «повести» — жанр, можно сказать, заново сотворенный эпохой, любимый, лелеемый «застоем»: аморфный, безразмерный — под стать времени. В отличие от западных романов того же поколения, роман Левана Хаиндрава написан традиционно, «неспешно», с тщательным выписыванием деталей, подчеркнута независимо от литературных новаций. Таков и язык произведения: на первый взгляд чуть старомодный, а по сути добротный, ясный и чистый язык русской интеллигенции, достоинству которого равно чужды как стерильная бесплодность современного «новояза», так и юродство псевдонародных диалектизмов. Быть может, сказалась юность писателя, проведенная в среде русской колонии Харбина, видимо, сохранявшей старинную чистоту русской речи. В то же время это очень грузинский роман, несущий в себе родовые черты грузинской прозы — углубленное философское осмысление жизни, постижение феномена трагического и прекрасного.

Здесь мы имеем дело с очень сложным и многоплановым явлением — со своего рода грузинской литературой на русском языке. Трудно назвать это явление естественным: в подобных литературных фактах всегда есть привкус трагедии. Трагедии личной, общественной, а чаще и той, и другой. Бихри истории, насильственные высылки породили такого очень английского писателя, как поляк Джозеф Конрад, таких тонких русских стилистов, как Юрий Олеша и Константин Паустовский, но прозу Исаака Бабеля трудно отнести только к русской литературе, хоть она и написана по-русски.

Интересна этимология подобного литературного явления в Грузии. Вести ли ее от Анны Антоновской или искать корни гораздо глубже в контексте грузинской литературной и общественной жизни второй половины девятнадцатого века, по-



родившей плеяду «тэргдалеулеби», как ответ на не только внешний, но и внутренний вызов национальному самосознанию? Процессы, имевшие место тогда в обществе, были достаточно сложны и противоречивы. Специалистам известны пьеса и ряд других произведений Акакия Церетели на русском языке... Как бы ни обозначить это литературное явление — одно бесспорно: оно существует, оно имеет свою историю, ждущую исследователей, и... оно живет. На сегодняшний день Леван Хаиндрава — самый крупный представитель этой неожиданной ветви грузинской литературы. Роман «Час шестой», по-видимому, можно считать ключевым для его творчества.

Тонкий психологический анализ пронизывает повествование. Как знакомы нашему поколению чувства одной из героинь романа, Мариам, матери Наны: «Когда долго все шло гладко, ее начинали одолевать предчувствия. Ей казалось, что за этот благополучный период придется заплатить бедой, и только молила судьбу, чтоб цена не оказалась слишком велика. Как-то она поймала себя на том, что радуется не очень серьезной болезни Наны. В другой раз она испытала удовлетворение от неприятности с начальством. Все это были терпимые беды. Могло ведь быть и хуже». Как беспощадна найденная ею страшная разгадка действительности: «Помощи в главном ждать было неоткуда, потому что она поняла одну основную истину: кто может — тот не хочет, кто хочет — тот не может. Это был ключ, которым зашифрована жизнь. Теперь она начала читать ее, страница за страницей, и уже ничто не удивляло ее».

С таким горьким знанием жизнь, признанная высшим даром, воспетая поэтами, теряет смысл, когда бы не нечто еще более высокое: «Вера была для нее не только состоянием и потребностью души, но и подобием политических убеждений. Бог был ее тайным другом, невидимым, но могущественным союзником, который еще себя проявит». И вот кредо глухих времен, прозвучавшее в словах мудрого Христофора, сказанных юному Нодару: «Надо ждать. То, что происходит, противно человеческой природе. Время многое изменит. Когда рана заживет — короста спадает. Нужно сохранить душу свою, вот, пожалуй, все, что мы можем сделать сейчас. Христос сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?». Это великие слова. Запомни их и руководствуйся ими. Вот все, что можно сделать сейчас. И это немало». И еще:

«Сомнение — великая вещь. С сомнения началась наука, сомнением она движима».

Но первая любовь пришла к Нодару, и жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, любовь и в немоте — любовь. «И тогда он взял голову Наны и повернул к себе так, что сразу нашел ее губы. Они были твердые и сухие. Она сжимала их так плотно, как будто от этого зависело спасение ее жизни, но уже не пыталась больше уклоняться в сторону. Наоборот, она сама еще плотнее прижала свои губы к его губам...» И прекрасна весна в Тбилиси: «Еще вчера бесновался март, по десять раз на день менялась погода, дул пронзительный холодный ветер. Потом из-за Коджорской гряды выползла огромная серо-фиолетовая туча. Солнце просачивалось сквозь нее густо-оранжевым, неестественным, как в театре, светом... Но однажды город просыпается среди поразительной тишины. Улицы высохли, ветер стих. Ясно и спокойно сияет весеннее солнце...» А рядом, как бы в другом измерении, существует иная реальность, иные размышления и по-прежнему точный беспощадный анализ: «Константин вспомнил тридцать седьмой год. Ведь уцелел же он тогда. Что творилось, скольких взяли, а его миновало. Он снова — в который раз задавал себе вопрос: как случилось, что он уцелел? Ответы были давно готовы, и все опровергались: он был еще молод, но брали и более молодых; он был тогда беспартийным, но гибли и беспартийные; он еще не занимал никакого положения, но в поле зрения оказывались и менее значительные люди. Были такие, которые считали, что если донесут на кого-нибудь, то этим докажут свою преданность и отведут от себя удар. Но и доносчики почти всегда становились жертвами всеохватывающей подозрительности. «Он говорил с вами об этом? Значит, он считал вас подходящим объектом для такого разговора, он доверял вам. Вам доверял преступник, враг народа!».

Леван Хаиндрава, сам прошедший через сталинские тюрьмы, — автор известной статьи, направленной против модной среди журналистов в 1986-88 годах бездумной «Сталинианы». И тот, кто так же бездумно поторопился записать его в сталинисты, должен был бы прочесть роман «Час шестой». Вот что говорит один из умудренных героев романа: «Воистину этот человек — проклятие грузинского народа, — заговорил он, глядя куда-то мимо Нодара и как бы говоря не с ним, а размышляя вслух... — Он нас ненавидит за то, что мы не пошли за ним. А люди нам не прощают, что он вышел из нас. Это наша трагедия, но вины нашей тут нет. Мы страдаем больше

всех. Как всякий отщепенец, он ненавидит свой народ. Еще в двадцать третьем году на Двенадцатом съезде партии он противился тому, чтоб Тбилиси был столицей Грузии на том основании, что грузины-де не составляют большинства в этом городе. А почему они не составляли большинства? Да потому, что в результате русификаторской политики царского правительства Грузию, в частности Тбилиси, искусственно заселяли армянами, русскими и другими национальностями. И Сталин, прекрасно зная это, все же настаивал перед съездом, чтоб его родной народ был лишен своей древней, прекрасной столицы. Кстати, его в этом поддерживал Орджоникидзе... А тридцать седьмой год? Ведь в городах Грузии буквально нет ни одной семьи, где кто-нибудь не пострадал бы от ежовского террора. И пусть не говорят, что он этого не знал».

Вопрос о Сталине вообще вопрос мучительный, фантом, который еще долго будет маячить перед каждым новым поколением в России. Но для Грузии этот вопрос еще мучительней: он связан с преодолением своеобразного «корсиканского синдрома» — отторжением Сталина от национального сознания. Это и моральное отторжение нации от империи, осуществление суверенного права на самоопределение. Ведь существует мнение историков, что такая по природе «итальянская» Корсика осталась частью Франции единственно из-за магии имени Великого Корсиканца по обе стороны Средиземноморья.

К чести Грузии с ней этого не произошло. Она предпочла независимость, а не детскую тряпичную куклу «родного» диктатора. С разрывом этого туго завязанного историей узла связано в романе потрясающее описание трагических событий 1956 года.

Этому описанию соответствует полная смена ритма повествования, предельно сжатые и емкие фразы, заставляющие читателя ощутить «пиковый час» истории не только умом, но и «всей кожей», как это ощущали в водовороте тех дней герои романа. Чувство истории, способность услышать ее шаги, дарит читателю автор, и читатель, принявший этот дар, понимает, что последние страницы романа ставят точку на целой эпохе и возвещают о приходе нового времени.

И еще одно прозрение из тех далеких лет: «Я думаю, что национальный подъем придет к нам с возрождением религиозного чувства».

Конечно, нелегко анализировать все многообразие мыслей, ассоциаций, вызываемое чтением книги, по-настоящему мудрой, написанной человеком умудренным, но гораздо труд-

нее выразить то, что говорит эта книга не уму, а сердцу. Ду-
мается, что не раз при чтении страниц, посвященных жизни в
ссылке, верности в любви, у чувствительного читателя появят-
ся на глазах слезы, и это, пожалуй, характеризует мастерство
писателя больше любых многоумных дефиниций.

Вот что думает Нодар, когда спешит к Нане, подозревая,
что ее вместе с матерью «взяли», отправляют в ссылку: «Гос-
поди! Хоть бы она заболела! Простудилась и лежит с темпе-
ратурой. Или споткнулась, упала и сломала руку. Левую ру-
ку — это не так страшно. Нет, лучше простуда. Сейчас при-
ду, а она в постели. На стуле рядом капли, микстура, гра-
дусник. Температура — тридцать восемь и пять. Нет, это мно-
го. Ровно тридцать восемь. Сильная головная боль, озноб, ка-
шель. Какое счастье! Я сбегаяю в аптеку, принесу чего-нибудь
еще. Буду сидеть у нее целый день, тренировки пропущу! Чер-
ная машина «М-1». В таких ездят они. Наверно, и ее увезли в
такой. Нет, она больна. Надо будет попросить маму, чтоб при-
гласили профессора... Чего плачет эта женщина? Может, и у
нее кого-нибудь взяли? Говорил же Размадзе, что была мас-
совая операция. Массовая и еще какая-то? Какая? Забыл. Что-
то аптечное или больничное. Операция. Почему привязалось это
слово?».

Абсурдный жизненный порядок, спроектированный и за-
программированный великими социальными вивисекторами, в
описании Л. Хаиндрава, вопреки всему, пронизывает побеждаю-
щая абстракцию человечность. Заданная программа жизни,
несмотря на все ухищрения Системы, постоянно дает сбой, ко-
гда сталкивается с реальным человеком, с неподвластным ей
человеческим чувством.

«Солдат медлил. Нодар вспомнил, что не сказал еще все-
го. Надо успеть.

— Выстрелить в меня не трудно. В сорок первом стре-
лять надо было получше. Не отдали бы пол-России!

Свет фонарика внезапно погас. Вот сейчас...

Нодар ждал с таким напряжением, что дышать перестал.
Выстрела все не было.

— Ну что? Не стреляешь? Тогда я вылезу, мне надоело
здесь сидеть. Можешь меня арестовать.

Нодар продвинулся навстречу своему молчаливому со-
беседнику, вылез из-под вагона и встал. Выпрямившись, он
увидел, что солдат ниже его, но широк в плечах. Лицо его
в темноте он хорошо разглядеть не мог.

— Ты что, сшалел, парень? — вдруг заговорил солдат.—

Разве так можно? Ведь тебя за такие разговоры знаешь куда упекут?».

Но так же тонко показаны и психологические механизмы, при помощи которых Система уродует человека, превращает в нечто нечеловеческое — в аппаратчика. Вроде неплохим парнем был школьный товарищ Нодара, к которому он зашел после ссылки.

«Шота, совершенно не изменившийся внешне, — так во всяком случае показалось Нодару с первого взгляда, — сидел за письменным столом в глубине довольно большой комнаты, под огромным портретом Ленина. Он не расслышал звука шагов Нодара и не сразу оторвался от чтения каких-то бумаг, видимо, вызывающих озабоченность, потому что его густые брови сошлись на переносице, образовав знакомую сплошную линию — от виска до виска. Как хорошо помнил Нодар эту черту на лице Шота, и как приятно было снова ее увидеть!

Нодар сделал несколько быстрых шагов, и Шота наконец поднял голову.

— Ааа!.. Нодар! Здравствуй, мальчик, здравствуй!

Лицо Шота выражало неподдельную радость. Он был доволен, что сумел выдержать эту маленькую паузу, которую заранее задумал и которой хотел показать Нодару, какое ответственное положение занимает и какие важные дела находятся в его компетенции. Теперь можно было дать волю чувствам, а радость Шота была искренняя, потому что Нодара он всегда любил и последние годы еще и жалел — без толку потерял несколько лет».

Но...

«Как только речь зашла о Сибири и особенно о чеченцах, вопрос о возвращении которых на родную землю — Шота это знал — был решен отрицательно, лицо Шота приняло отсутствующее выражение. Улыбка сохранилась, но изменилось ее содержание: она стала отчужденно-официальной, с некоторой долей напряжения, а глаза смотрели уже совсем серьезно... «Напрасно я его здесь принял! — упрекал себя Шота. — Надо было дома. Все же там спокойнее». И, опасаясь, как бы Нодар опять не сморозил какой-нибудь ерунды, решил взять нить разговора в свои руки».

Он уже «аппаратчик», все человеческое отступает и, кажется, даже вместо души — аппарат.

Но объективности ради спросим себя: не во все ли времена многие власть имущие таковы? И роман, который мы

читаем с болью и узнаванием, не только о тех временах и не только на это время.

Автору можно поставить в упрек некоторые фактографические неточности. Например, в описываемое им время в школах Грузии было отдельное обучение девочек и мальчиков. Но мы имеем дело не с историческим исследованием, а с гораздо более глубоким проникновением в иррациональную ткань жизни, которое и составляет тайну художественности.

Несомненно, что произведения Левана Хаиндрава — явление, еще ждущее своих исследователей, обширный материал для размышлений и выводов. В предлагаемой журнальной статье, посвященной одному из основных произведений писателя, сделана лишь попытка наметить некоторые проблемы, связанные с его творчеством.

Страшной мартовской ночью 1956 года мы метались по улицам — песчинки, не ведающие, какие вихри правят их движениями. Чтобы понять, нужно было время, новые люди и книги, которые зарождались тогда.



Гоча ДЖАПАРИДЗЕ

„ОДИН ГОД И ТЫСЯЧА ЛЕТ“

Так называется книга известного писателя и историка Тамаза Натрошвили, выпущенная в свет издательством «Мерани» в 1988 году. Выход книги совпал с информационным бумом, обрушившимся на читателей, когда произошло почти невероятное — не стало запрещенных тем, тайное стало явным, так долго скрываемая правда вышла наружу. Писатели, критики и историки жадно набросились на запретные когда-то темы. Вчерашний день страны и ее настоящее заняли приоритетное место в ожесточенных спорах и столкновениях точек зрения. В таких условиях, естественно, несколько угас интерес к более далекому прошлому, о котором мы всегда могли говорить открыто, которым гордились и которое ввергало нас в печаль. Наверное, этим и объясняется то,

что грузинская критика молчанием встретила новую книгу Тамаза Натрошвили, хотя она бесспорно заслуживает особенного внимания.

Напомню читателю, что свою творческую деятельность Т. Натрошвили, совсем еще молодым, начал в 1958 году как прозаик. Сравнительно позднее, в начале 70-х годов в нем открылся талант историка-исследователя, проявившийся в трудах о деятельности известного грузинского дипломата и историка Иосифа Грузина, а также о движении исмаилитов. В это же время он увлекается новой тематикой — созданием художественно-исторических очерков о прошлом Грузии.

Широкому читателю малодоступны объемистые научные исследования, испещренные научной терминологией и примечаниями. Он предпочитает изложенные популярным языком и художественно переданные картины прошлого, которые надолго остаются в сознании и пробуждают фантазию. «Хроники жития Картли» Вахтанга Челидзе наглядно показали неисчерпаемые возможности этого жанра.

Можно популяризировать чужие труды, уже хорошо известные. А можно — плоды собственных мыслей и раздумий. Т. Натрошвили избрал второй путь. Он ищет в источниках — восточных, европейских, грузинских и армянских, находит материалы, относящиеся к истории Грузии, которые затем под его пером, пером писателя и историка, получают новое звучание.

Что представляет собой книга Т. Натрошвили? В очерках, собранных в ней, отражен не один эпизод нашей истории, начиная от Шушаник и кончая почти современностью. Перед глазами читателей проходит тысяча пятьсот лет. Но что значит тысяча пятьсот лет для истории человечества? Мгновение, не больше. Ход времени долог, но в то же время молниеносен. Апостол Петр говорил: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Важа Пшавела выразил ту же мудрую мысль следующим образом: «Один год и тысяча лет равноценны во времени». Эти слова и легли в основу названия рецензируемой книги.

У Т. Натрошвили есть свои любимые темы, он часто возвращается к ним, отшлифовывает, обогащает новыми фактами. К таким темам относятся битвы при Дидгори и Марабде и восстание в Марткопи. Его «Дидгори» невозможно читать без волнения. Автор рисует эпоху, увиденную глазами ориенталиста, повествует о причинах похода Иль-гази и междуна-

родном резонансе блестящей победы Давида. Нельзя не согласиться с Т. Натрошвили, что Дидгори ничем не уступает многим прославленным битвам в мировой истории. Для нас Дидгори, возможно, даже значит больше, чем Саламин и Ленавто, Трафальгар и Аустерлиц. Хотя бы потому, что «Дидгори подготовил почву для эпохи Руставели и Тамар, передал эстафету Шамхори и Басиани». Битва в Дидгори, как справедливо отмечает Т. Натрошвили, была логическим результатом политико-экономического возрождения единой Грузии. Совершенно иная ситуация — в XVII веке, кровавом и трагическом, когда грузинский народ самоотверженно боролся за свое физическое выживание. XVII век был свидетелем восстания в Марткопи и битвы при Марабде. «Восстание в Марткопи было самоотверженной схваткой, дошедшей до грани бытия — небытия страны и напоминает сражение библейского Давида с Голиафом» («Деяния Моурави»). Марткопи стало обнадеживающим прологом к освобождению от персидского рабства. Марабда же — последней точкой его. 21 июня 1625 года (месяц и число уточнены Т. Натрошвили) грузины потерпели поражение в марабдинской битве, но это поражение было почти равноценно победе. По словам автора, «Марабда это урок, который враг хорошо усвоил, начисто забыв о «химерической мечте «омусульманить» грузинский народ» («Марабда»).

Эпоха Тамар — одна из любимых тем Т. Натрошвили. В эту эпоху феодальная монархия в Грузии достигла своего зенита. Имя Тамар для грузинского народа одно из самых святых. В его сознании оно овеяно венценосным ореолом. Но в представлении соседних мусульманских и христианских стран деятельность царицы оценивалась по-разному.

Военные успехи Грузии не давали покоя мусульманским правителям. Терпеть поражение от страны, управляемой женщиной, было для них позором. Ведь основоположник ислама Мухаммад говорил: народ, которым правит женщина, никогда не добьется успеха. Поэтому враги всячески старались очернить имя Тамар в мусульманском мире.

Попытку дискредитации имени Тамар видим мы и в историческом сочинении Ибн Биби, летописца сельджукского государства в Малой Азии, написанном на персидском. Летописец рассказывает, что Тамар была очарована красотой сына сельджукского султана Кылыч-Арслана Рукн ад-дина и пожелала выйти за него замуж. Тамар дала знать о своем желании Кылыч-Арслану, но ее предложение оскорбило Рукн ад-дина. Он отказался жениться на ней и пригрозил, что опустошит

Грузию. Став султаном, Рукн ад-дин решил привести свою угрозу в исполнение. Но финал битвы в Басиани всем известен. Рукн ад-дин был жестоко разбит и с трудом спасся от «цепей позорного плена». В очерке «Два сказания» Т. Натрошвили убедительно показывает, что рассказанная Ибн Биби история — попытка отмщения за поражение в Басиани. Сменив затупившийся в Басианской битве меч на перо, он на страницах своей летописи бросил тень на имя Тамар, чтобы хоть как-то поддержать опозоренного Рукн ад-дина.

Образ грузинской женщины в творчестве Т. Натрошвили отличается большой чистотой. Из очерка «Добродетель и грусть» читатель узнает, каким авторитетом пользовалась грузинская женщина в средние века. Ее красоту и добродетель славил как европейские, так и восточные авторы. Романтически настроенные европейские писатели, — пишет Т. Натрошвили, — причиной несчастий, выпадавших на нашу страну, иногда считали красоту грузинских женщин. Разорение Кахети, полагали они, было результатом безнадежной любви правителя Ирана к жене Теймураза I. На эту тему написана «Легенда о любви государя». Но в галерее образов грузинских женщин на первом месте, безусловно, — царица Кетэван, замученная в Ширазе в 1624 г. Ее образ фигурирует во многих очерках. Чтобы окончательно подчинить себе Грузию, Шах-Аббасу необходимо было склонить царицу Кетэван к принятию мусульманской веры. Царице-мученице он предпочел бы царицу-мусульманку. Но если бы это произошло, Теймураз утратил бы моральное право призывать грузинский народ к борьбе с кызылбашами.

Трагической была жизнь Кетэван и ее сына Теймураза I. Царь самоотверженно боролся против Ирана и возложил на жертвенный алтарь этой борьбы жизнь своей матери и своих сыновей. Т. Натрошвили объективно оценивает личные качества царя. «Иногда он был и вероломен и коварен, но наряду со многими человеческими слабостями и недостатками у него было величайшее достоинство — он никогда не предавал своей родины, своего народа и своей души» («Нежный цветок поэзии и красоты»). Рожденный грузином Теймураз грузином и умер. Он «ни разу не подумал о принятии мусульманской веры, о том, чтоб променять свои мучения и невзгоды, преследование и ссылку на роскошь и негу, что всегда было и вечно будет для многих столь привлекательным». На фоне этого вызывают своего рода удивление слова Теймураза, царя-поэта из «Лейлмаджнуниани»: «Сладость персидского язы-

ка возбудила во мне желание к стихотворству». Чем объяснить похвалу персидского языка в устах непримиримого врага Ирана? Т. Натрошвили убедительно показывает, что «язык персов» не был языком тех, кто в XVII веке шел с огнем и мечом на нашу страну. Персидский язык в первую очередь — язык простого народа и писателей. Царский двор Ирана и войско кызылбашей говорило на одном из диалектов турецкого языка. Нашу родину разоряли говорящие именно на «кызылбашско-татарском».

Для Т. Натрошвили характерно тяготение к разгадке исторических тайн. Замечательное знание материала, большая эрудиция и критическое чутье дают ему возможность и в этой сфере достичь успеха. Хороший пример этому его прекрасный очерк «Ринды». Автор раскрывает истинное лицо риндов и объясняет причины взаимосвязей с риндами царя Грузии Лаши-Георгия, которые грузинский летописец XIV века считал постыдными. В другом очерке («По следам одной легенды») он, как мне кажется, убедительно показал, что грузинский предок известного армянского историка XVII века Закария Канакерци попал в Армению в 60-х годах XIII века в годы царствования Давида Улу, также убедительным представляется его аргументированное утверждение, что бегларбег Гянджи, имевший во время восстания в Марткопи связь с Георгием Саакадзе, не являлся Дауд-ханом Ундиладзе («Молва и истина»).

Т. Натрошвили часто обращается к народной поэзии, раскрывает ее значение для истории Грузии. Иногда случается, что делая глубокий комментарий к произведениям фольклора на основе исторических материалов, он заставляет их звучать по-новому. Так предметом его исследований стал записанный в Хеви в 1875 году стих. «Двинулся великий султан, задрожали поля и горы» — так начинается это стихотворение («Двинулся великий султан»), которое передает хорошо известный эпизод из истории Грузии: вторжение хоразмийцев и требование Джалал ад-дина отдать ему в жены царицу Русудан. Вроде бы исследовать и искать в этом стихотворении нечего, все ясно и понятно, но Т. Натрошвили и здесь находит незначительные на первый взгляд детали и делает их более выразительными. Сочетание «великий султан» в народном стихотворении отнюдь не случайно. Именно так упоминается в источниках Джалал ад-дин. В различных вариантах стихотворения он — «Хварам-шах» и «низкорослый». Хварам-шах то же, что и Хваразм-шах. Что же касается его телосложения, то Джалал ад-дин был действительно низкорослым. Этот факт, по мнению

Т. Натрошвили, производил большое впечатление на людей. Наверное, от низкорослого султана никто не ждал «героических дел». Двинувшийся на Грузию султан остановился у реки «Решши» или «Рехи», т. е. Аракс, и отправил в Грузию доверенное лицо с письмом: «Это отдайте царю кучов». «Царь кучов» расшифровывается как царь курджов. По-арабски курдж — означает грузин. Отсюда заключение исследователя: употребление в народном стихотворении для названия грузин арабского термина подчеркивает его древность. Если сочетания «великий султан» и «Хварам-шах» могли попасть в фольклор из письменных источников, то упоминание царя «кучов» объясняется по-другому: «Грузинский стихотворец хорошо знал, как называли грузин в мусульманском мире и... точно отразил историческую действительность».

Ранее в цикл стихов, посвященных Ираклию II, вносили одно замечательное народное стихотворение «Царевич Датуна». Т. Натрошвили первый усомнился в подобной квалификации («Дождь пролился с облаков»). Согласно историческим источникам, Давид, царевич Датуна, был сыном Теймураза I. Но, может, содержание стихотворения дает возможность иной идентификации? Т. Натрошвили строчку за строчкой рассматривает это стихотворение и наряду с анахронизмами выносит на свет и крупинки истины. В стихотворении упоминается Джабалхан. Это тот же Джамал-хан, полководец кызылбашей. В стихотворении отражена происходившая в 1648 году последняя битва Теймураза I с Ростомом, которого поддерживал царский двор сефевидского Ирана. По историческим источникам, именно в этой битве, происшедшей, судя по стихотворению, в Кахети (Кизики), погиб царевич Датуна. Исторические данные и реалии стихотворения совпадают друг с другом: имена действующих лиц, место битвы, храбрость и гибель царевича Датуну. И еще одна деталь: Датуну оплакивает «дочь Сиасамури». Это, должно быть, его жена. И действительно, Бери Эгнаташвили и Вахушти Багратиони отмечают, что сын Теймураза был женат на дочери Диасамидзе. Сиасамури, по-видимому, является трансформацией Диасамури.

В очерках Т. Натрошвили соперничают и спорят друг с другом писатель и историк. Как писатель он может беседовать тогда, когда историк предпочел бы молчать. Как писатель он может повести читателя в те лабиринты, на пороге которых историк остановился бы. Но писатель Т. Натрошвили никогда не теряет чувства меры. Его фантазию питает историческая реальность, каждый художественный поворот опира-

ется на строгий анализ исторических фактов. Но пусть литераторы оценят художественную сторону его книги, я же рассматриваю ее с позиции историка.

Т. Натрошвили прекрасно владеет материалом из первоисточников как на родном, так и на иностранных языках. Он хорошо информирован о достижениях грузинской и европейской историографии. Возможно, его свидетельства не всегда полны — в той или иной публикации отсутствуют год издания и страница — но все это необходимо в том случае, если бы они публиковались в научных, академических изданиях. Как его коллега и бывший соавтор могу подтвердить, что Т. Натрошвили при передаче исторических фактов и ссылке на них, равно как и на точку зрения какого-либо исследователя, весьма точен.

Очерки Т. Натрошвили, которые вошли в рецензируемую книгу, так же как и в книгу «От Машрика до Магриба», своеобразные, оригинальные творения, большинство которых, несмотря на форму (я имею в виду особенности жанра), обогащают грузинскую историографию. Разработанные им темы дают ему право претендовать на обе существующие на сегодняшний день научные степени. Игнорирование результатов исследований Т. Натрошвили во время исследований той или иной эпохи, которое, к сожалению, еще иногда происходит, не оправдано ничем. Лично я всегда принимал во внимание и в будущем буду принимать их в своей исследовательской работе.

В заключение хочу отметить, что книга «Один год и тысяча лет» написана замечательным грузинским языком. Стиль писателя свободен от ложной патетики. «Один год и тысяча лет» относится к той категории книг, которые формируют читательский вкус.



Содержание журнала „Литературная Грузия“ за 1991 год

Поэзия

- АДЕИШВИЛИ Н. VIII, 123.
АРАБУЛИ Б. VI, 126.
БААЗОВ Н. VIII, 128.
БЕГАШВИЛИ М. IX, 65.
БЪЕРКЕГРЕН Х. IV, 183.
ГАПРИНДАШВИЛИ В. IV, 120.
ГИГАУРИ Г. VII, 138.
ГОНАШВИЛИ М. I, 55.
ДЖАВАХИШВИЛИ Т. XI—XII, 3.
КАЛАНДАДЗЕ А. I, 3.
КАЛАДЗЕ К. II, 17.
КАХНИАШВИЛИ Т. V, 112.
КАХИДЗЕ М. VI, 121.
КОРИНТЭЛИ К. II, 113.
МЕГРЕЛИШВИЛИ И. II, 146.
МИМИНОШВИЛИ Р. VIII, 90.
НАДИРАДЗЕ К. VIII, 3.
НИШНИАНИДЗЕ Ш. III, 3.
ОТАРАШВИЛИ В. XI—XII, 11.
ПОЦХИШВИЛИ М. IX, 3.
РЧЕУЛИШВИЛИ Г. III, 78.
СТОЙКОВ Г. IX, 67.
ТУРМАНАУЛИ О. XI—XII, 78.
ЦЕРЕТЕЛИ А. V, 3.
ЧАРКВИАНИ Д. VII, 66.
ЧЕЛИДЗЕ Л. VIII, 158.

Проза

- АБАШИДЗЕ Г. Обезлюдевший аул. II, 3.

- БИТ-КАПЛАН Д. В изгнании. VIII, 121.
ГЕЛАШВИЛИ Н. Миниатюры. Из цикла «Осколки зеркала». VI, 62.
ДЕМЕТРАШВИЛИ О. Форточка. XI—XII, 7.
КАЛАНДАДЗЕ Л. Красота бесплотна. I, 3.
КАРЧХАДЗЕ Д. Соломо-ниада. III, 82.
КЕТЕЛАУРИ С. Здравница. IX, 5.
КИРНА Д. Игра во взрослых. VIII, 4; IX—X, 71; XI—XII, 13.
КОБЕРИДЗЕ К. Два рассказа. VIII, 98.
КУРДОВАНИДЗЕ Т. «...Заступник мой еси...» I, 58.
ЛИНЕЦ В. Другая смерть. XI—XII, 82.
ЛОРДКИПАНИДЗЕ Г. В ожидании шедевра. IX, 27.
МЕСХИ Л. Притяжение. V, 115.
РОБАКИДЗЕ Г. Змеиная рубашка. I, 7; II, 19; III, 8; IV, 121. Фалестра. VII, 3.
ТОПУРИДЗЕ Д. Два рассказа из архива писателя. II, 117.
ХАИНДРАВА Л. Асланбек. V, II.
ЧХИКВАДЗЕ В. Птицы зимой. V, 135; VI, 3; VII, 68.
ЦУЛЕЙСКИРИ Н. Гиена. IV, 3.

Вопросы философии

- МАМАРДАШВИЛИ М. Метафизика Антонена Ар-

то. I, 176. Вена на заре XX века. V, 207.

Критика и литературоведение

АСАТИАНИ Г. Слово о поэте. IV, 195.

БАКРАДЗЕ А. «Укрощение литературы». II, 151; III, 145; V, 175.

БАРНОВ Г. Повстречались мы с кипчаком. IV, 186.

БУЯНОВ М. Поездка на родину автора «Трех мушкетеров». XI—XII, 152.

КАЛАНДАРИШВИЛИ М. П. И. Берков о Руставели. IX, 172.

КВАЧАНТИРАДЗЕ М. Обзор грузинской прозы (1990). IX—X, 146, XI—XII, 133.

МУЗАШВИЛИ Н. Суровая правда. I, 210.

НЕБУА-МОМБЕ Ж. Страницы прошлого листая. Вводное слово Михаила Буянова. I, 218.

ТЕВЗАДЗЕ Д. Галактион и революция?! I, 198.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО В. Методы изучения и анализа художественного произведения. IV, 198; VI, 150.

ЧХАИДЗЕ Т. Бессмертная душа. VI, 129.

ЭЛИЗБАРАШВИЛИ Н. Живые отзвуки. III, 164.

Документы, письма, воспоминания

БОСТАШВИЛИ Н. Почему была закрыта газета «Дрозба»? VI, 161.

ГВАСАЛИА Д. Эскизы. VI, 190.

ДАВИДОВ Р. «Жертвовать всем, даже жизнью, для блага отечества». II, 180. О друзьях-товарищах. XI—XII, 186.

ДОДАШВИЛИ С. «Ради

любви к отчизне...» Вводное слово И. Бахтадзе и Н. Димитриади. III, 215.

РЕХВИАШВИЛИ С. «Не забуду его доброе сердце». III, 223.

ХАРИТОНОВ В. Достоверность в современном искусстве. VI, 196.

Искусство

ГУГУШВИЛИ Э. Спектакль о любви и коварстве. VIII, 209.

КОПЕЛЕВ Л. Милосердная мощь. VII, 212.

ФИЛАТОВ А. Мастер, несущий радость. IV, 216.

ЧХЕИДЗЕ А. Пиросмани глазами Пикассо. II, 201. Некоторые мысли и суждения... IX, 183.

ШХВАЦАБАЯ Г., БУЯНОВ М. «Скульптура всегда человечна». II, 205.

Контакты

АХВЕРДЯН Р. «Я — Грузия, я — Родина твоя!». VIII, 222.

ОРЛОВСКАЯ Н. «На что искусство, коли оно бесполезно». VII, 195.

ФУРИЕР А. «Польский дом» в Тифлисе. II, 211.

Наши публикации

НОЗАДЗЕ В. Борьба за восстановление территориальной целостности Грузии (Месхети). VII, 142; VIII, 161. Вводное слово Г. Мамулиа.

Публицистика

МИРИАНАШВИЛИ Т. Мы, абхазы и другие. III, 170.

Рецензии

ДЖАПАРИДЗЕ Г. «Один год и тысяча лет». XI—XII, 215.

НАДАРЕИШВИЛИ Г. О единой с вельможами воле, IX—X, 221.

ФИЛИНА М. Связующая нить стиха. V, 193.

ХАЦКЕВИЧ В. Любовь поры безмолвия. XI—XII, 207.

ЦИЦИШВИЛИ Т. Литературные взаимосвязи: формирование теоретических принципов. VII, 221.

Страницы истории

ГВАСАЛИА Д. Шида Картли. IX, 207.

НАТРОШВИЛИ Т. «Красавица наша Матерь!» V, 198. Летописец. VII, 202. Мудрец. Неугасимая свеча. IX—X, 192.

К 160-летию со дня рождения Е. П. Блаватской

АХВЕРДЯН Р. Блаватская и Грузия. VI, 206.

Родники народного творчества

РЕХВИАШВИЛИ С. Символ мудрости и доброты VII, 215.

Из истории грузинской церкви

ПАЧКОРИА Г. «Истина восторжествует!», XI—XII, 199.

Писатель о писателе

ГЕЛАШВИЛИ Н. Мессия персонажей. VII, 184.

Полемика

ПАЙЧАДЗЕ Г. Открытое письмо Фазилю Искандеру. II, 174.

Дискуссия

Союз писателей: быть или не быть?! XI—XII, 171.

Хроника

I, 223; IV, 224; V, 224; VI, 224. XI—XII, 6, 12, 77, 81, 184, 185.

Книжные новинки

II, 179.

Некролог

БРАЙЛОВСКАЯ Л. И. II, 223.

ЧХЕИДЗЕ Н. Н. III, 224.
РЕВАЗ ИНАНИШВИЛИ. XI—XII, 185.

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор К. Котомина

Корректор Е. Сопромадзе

Сдано в набор 11.09.91 г. Подписано к печати 17.03.92 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0 Тираж. 3.400. Заказ 1720. Цена 1 р. 30 к.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в типографию Издательства «Самшобло», по вопросам подписки и доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Типография Издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.

1 რუბ. 30 კ.

643/24

ИНДЕКС 76117



საქართველოს
ხალხთა რესპუბლიკის
ქვეყნული ბიბლიოთეკა

საბჭოთა კავშირის დემოკრატიული-სოციალური და
სამეცნიერო-კულტურული განვითარების
„საბჭოთა კავშირისა“ ვაშლი
(საბჭოთა კავშირი)

საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის თბილისის
განყოფილება 1957 წლის იანვარი

საბჭოთა კავშირი

«Литературная Грузия» 1991, № 11—12, I—224.